

История
эмпирической
социологии

Л.Г.Ионин

**ФИЛОСОФИЯ
И МЕТОДОЛОГИЯ
ЭМПИРИЧЕСКОЙ
СОЦИОЛОГИИ**



**История
эмпирической
социологии**

Л.Г.Ионин

**ФИЛОСОФИЯ
И МЕТОДОЛОГИЯ
ЭМПИРИЧЕСКОЙ
СОЦИОЛОГИИ**

Учебное пособие



Издательский дом ГУ ВШЭ

Москва 2004

УДК 101.1:316
ББК 87.6
И 75



Подготовлено при финансовом содействии
Национального фонда подготовки кадров
в рамках Программы поддержки академических
инициатив в области социально-экономических наук

Руководитель проекта

**“Школы и направления эмпирических исследований в социологии”
доктор философских наук, профессор Л.Г. Ионин**

Рецензент

доктор философских наук, профессор В.М. Розин

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	9
Учебный курс	13
1. Становление социологического опыта	14
1.1. Социология как форма эмпирического знания	14
Рационализм и эмпиризм в науке Нового времени	14
О. Конт и возникновение социологии как эмпирической науки	16
1.2. Объективизм в социологии	20
Принципы объективистского взгляда на социальный мир	20
Учение Дюркгейма как социологический объективизм	21
Социологический метод Дюркгейма	22
Концепция социального факта и социальной реальности	24
1.3. Понимающая социология	27
Понимающая социология Макса Вебера	27
Понимающая социология как генерализирующая наука	32
Объективизм и понимание как методологические альтернативы	35
Развитие понимающей социологии: символический интеракционизм	37
1.4. Социальная феноменология	42
Опыт жизненного мира и опыт повседневности	42
Понимание как социологическая методология	46
1.5. Резюме	51
2. Позитивизм в методологии	54
2.1. Многообразие позитивизма	54
Конвенционализм и реализм	54

Двенадцать позитивизмов	54
Позитивизм-6 как практическая социологическая идеология	60
2.2. Позитивизм и социальный контекст науки	66
Нормативная организация академического сообщества (“республика ученых”)	66
Научная деятельность как “конечная область значений” (феноменологическое описание)	71
2.3. Постпозитивизм	78
Критический рационализм К. Поппера	78
Концепция парадигмального развития Т. Куна	84
Анархическая эпистемология П. Фейерабенда	85
Л. Флек о возникновении научного факта	91
2.4. Резюме	93
3. Социокультурное развитие и фрагментация социологического опыта	96
3.1. Рационалистический модерн	96
Модерн как культурно-историческая эпоха	96
Социологическая классика как обоснование модерна	99
Модерн и ступени рационализации социального мира	104
3.2. Модерн как вечное возвращение	108
Модерн как миф современной культуры по В. Беньямину ...	108
Повторяемость и воспроизводимость — жизненный нерв модерна	109
“Кризис опыта” в эпоху модерна	111
3.3. Концепции постмодерна	117
Отделение субъекта от объекта	117
Коды и “симулякры” у Ж. Бодрийяра	118
“Распад метаповествований” у Ж.-Ф. Лиотара	120
Языковая игра — наука	122
Сравнительные характеристики когнитивных стилей модерна и постмодерна	124
3.4. Фрагментация социологического опыта	127
Четыре направления интерпретации науки	127
Практическая рациональность вместо “научной рациональности”	132
Когнитивная микросоциология и “методологический ситуационизм”	137
3.5. Резюме	141

Избранная библиография	145
Хрестоматия	149
1. Философия и методология	150
<i>Н. Элиас. Что такое социология?</i>	150
<i>П. Уинч. Эпистемология и понимание общества</i>	166
<i>П. Бурдьё, Ж.-К. Шамборедон, Ж.-К. Пассерон. Эпистемология и методология</i>	173
<i>П. Лазарсфельд. Релевантность методологии</i>	184
<i>П. Фейерабенд. Допустимо все</i>	203
2. Классический период: Эмиль Дюркгейм и Макс Вебер	208
<i>Э. Дюркгейм. Социальные факты как вещи</i>	208
<i>Э. Дюркгейм. Черты социологического метода</i>	216
<i>Э. Дюркгейм. Ценностные суждения и “реальные” суждения</i>	220
<i>М. Вебер. Наука о действительности</i>	222
<i>М. Вебер. Идеальный тип</i>	230
<i>М. Вебер. Смысл “свободы от оценки”</i>	240
3. Позитивизм и антипозитивизм в социологической методологии	251
<i>Дж. Ландберг. Перспективы социологии как науки</i>	251
<i>К. Поппер. Предположения и опровержения</i>	263
<i>К. Поппер. Логика социальных наук</i>	267
<i>Т. Адорно. Логика социальных наук</i>	270
<i>П. Бурдьё. Зондаж: наука без ученого</i>	278
<i>Д. Уолш. Характерные черты природных и социальных явлений</i> ...	284
<i>М. Филипсон. Проблема обоснованности</i>	288
<i>Г. Гарфинкель. Рациональность научной и повседневной деятельности</i>	292
4. Перспективные методологические направления	309
<i>А. Траус. Качественный анализ для социальных наук</i>	309
<i>К. Кнор-Цетина. Наука как практическая рациональность</i>	318

<i>Х.-Г. Зёфнер.</i> Интерпретация повседневности — повседневность интерпретации	331
<i>Р. Хицлер.</i> Понимание: повседневная практика и научная программа	341
<i>К. Кнор-Цетина.</i> Микросоциология бросает вызов макросоциологии	349

ПРЕДИСЛОВИЕ

Социология является эмпирической наукой, и осознание того, что собой представляет опыт социологов, как он соотносится с опытом исследуемых ими людей, обеспечивают ли применяемые методологические инструменты адекватное воспроизведение этого опыта, и нужно ли вообще это адекватное воспроизведение или социолог придет к более объективному знанию, применяя собственный масштаб, обеспечиваемый рациональным суждением, — ответы на эти и многие другие подобные вопросы кардинально важны с точки зрения обеспечения объективного и надежного знания о социальных процессах. Однако в отечественной социологии и в социологическом образовании этой проблематике уделяется недостаточно внимания. Настоящий учебный курс ставит своей главной задачей проанализировать основные тенденции в понимании социологического опыта и соответственно природы социологической методологии с самого возникновения социологии как науки вплоть до наших дней.

Социальные науки и социология в том числе начали формироваться в XIX в. как “социальная физика”, “социальная физиология”, “социальная арифметика” и т.п., т.е. подражая естественно-научным моделям и методам познания. С тех самых пор строгость, точность, объективность, адекватность и надежность в социологическом знании измерялись тем, в какой степени социология следует идеалу естественно-научной методологии, отождествляемой в конечном счете со степенью усвоения социологией измерительных и статистических процедур. Такая ориентация в социологии, именуемая (в разных контекстах) то сциентистской, то натуралистической, то позитивистской, оказалась преобладающей в течение всего XX столетия.

Однако общественное и идейное развитие во второй половине XX столетия стало все более отчетливо демонстрировать тот факт, что указанные строгость и объективность сами по себе являются культурным продуктом, а потому не обладают той общезначимостью и универсальностью, на которую претендуют. Самые ради-

кальные из критиков науки указывали на то, что даже в рамках той самой культуры, в которой сформировался традиционный образ науки, наука не может рассматриваться как привилегированная познавательная инстанция, имеющая право последнего и безапелляционного суждения по всем вопросам познания. Она имеет право судить только в своей собственной области, т.е. ее голос весом только в сообществе индивидов, принимающих ее методы и способы аргументации.

Такая установка, аргументированная социологией знания в ее классическом варианте (по отношению к гуманитарным и социальным наукам) и релятивистской философией науки 70-х гг. прошедшего столетия, а также новейшей “микросоциологией” науки, по существу, стремится покончить с господствовавшей долгое время сциентизацией знания. В своем радикальном варианте она предполагает полную анархию в познавательной сфере и уравнивание социального статуса науки со статусом магии, мистики и т.д., в своем более трезвом и умеренном варианте она предполагает отказ от наивной веры в науку, в прогресс познания и неразрывно связанный с ним общественный прогресс, и необходимость постоянной рефлексии по поводу наших знаний о мире.

Это существенное изменение позиций по вопросу о роли науки и научного знания в обществе — и еще шире, по вопросу о природе нашего знания вообще, — стало одним из проявлений изменений в интеллектуальном и духовном климате эпохи, понимаемых чаще всего как переход от модерна к постмодерну. Поэтому в настоящем курсе рассмотрение собственно социологических концепций опыта и познания, как они формировались в течение двух последних столетий, ведется как бы на фоне более масштабных и широких интеллектуальных и духовных процессов. Разумеется, здесь не предпринимается попытка определить, как должен определяться социологический опыт и как должна выглядеть адекватная этому опыту методология. Скорее это историко-социологическое изложение, главная цель которого — продемонстрировать многообразные подходы в социологии, возникавшие в поисках ответа на сформулированные выше вопросы, показать как драматизм этих поисков, так и принципиальную обусловленность социологических вопросов и ответов общим социальным и интеллектуальным климатом времени.

* * *

Предлагаемое вниманию читателей пособие состоит из двух частей. Первая — учебный курс, задачи которого сформулированы выше. Вторая часть — хрестоматия-ридер, подготовленная автором курса. Цель этой хрестоматии — дать читателю информацию “из первых рук”, дать наглядное и яркое представление о бурных спорах и дискуссиях, в которых происходило становление методологий, нынешними исследователями часто рассматриваемых как нечто готовое, надежное и само собой разумеющимся образом ведущее к открытию социальных факторов.

Хрестоматия делится на четыре части. Первая посвящена общим проблемам соотношения философии (в частности, философии науки), социологической теории и методологии. Здесь представлены работы выдающихся философов социальных наук и методологов разных теоретических направлений, которым до сих пор в нашей литературе уделялось мало внимания. Вторая и третья части посвящены историческому процессу развертывания методологической рефлексии в западной социологии. Собственно говоря, весь этот процесс можно достаточно огрубленно свести к взаимной критике и побуждаемым этой критикой усовершенствованиям двух основных методологических направлений — позитивистского, с одной стороны, и понимающего, субъективистского, или интерпретативного — с другой. В истории социологии оба эти направления присутствуют постоянно, хотя в подчеркнута радикальной форме фигурируют довольно редко. В четвертой части уделяется внимание некоторым наиболее важным, с точки зрения автора, методологическим направлениям современной социологии.

В хрестоматии внимание составителя сосредоточено на текстах двойного рода. Первые — классические тексты по социологической методологии, без которых просто невозможно представить себе сколько-нибудь полное и последовательное освещение проблемы. К ним относятся работы и фрагменты из работ Макса Вебера, Эмиля Дюркгейма, Карла Поппера, Пола Лазарсфельда, Джорджа Ландберга, Норберта Элиаса, Гарольда Гарфинкеля, представляющие важнейшие аспекты их методологического творчества (названия фрагментов крупных работ даны составителем). При этом некоторые статьи, представляющие собой вехи в методологическом развитии, даны здесь в оригинальном и полном переводе, что сделано, насколько мне известно, впервые в отечественной литературе. Это работы Элиаса, Лазарсфельда, Гарфинкеля.

Вторая категория текстов хрестоматии — это либо комментаторские тексты, проясняющие некоторые аспекты “классических” методологий, например тексты Д. Силвермена и Ф. Уолша, либо продукция современных методологов (Х. Зёфнер, К. Кнор-Цетина и др.) Тексты последнего рода целиком составляют заключительную, четвертую часть книги.

Остается лишь добавить, что главная задача учебного пособия в целом — побудить изучающих к пониманию конвенциональной природы большинства социологических методологий, а тем самым пробудить и развить ощущение творческой свободы и способность к методологической и теоретической рефлексии.

Автор благодарит Национальный фонд подготовки кадров за поддержку этой работы.

УЧЕБНЫЙ КУРС

1

СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

1.1

Социология как форма эмпирического знания

Рационализм и эмпиризм в науке Нового времени

Современная наука зародилась в Европе XVII столетия. Она явилась главным орудием освобождения человека от власти религиозных предрассудков, магических суеверий, средством рационализации мира. Макс Вебер называл этот процесс онаучивания и рационализации “расколдовыванием” мира. “Прежде всего уясним, — писал он, — что собственно значит на практике эта интеллектуалистская рационализация посредством науки и научной техники... она означает, что человек... может увидеть, что нет больше принципиально непознаваемых таинственных сил, вмешивающихся в жизнь, что он может в принципе овладеть посредством рационального расчета всеми вещами. А это и значит расколдовывание мира”¹.

Вебер не случайно подчеркивал значение именно рационализма в научном “расчищении” картины мира. Освобождение во всех его формах — как освобождение от магически-религиозного мировоззрения, так и впоследствии освобождение от социального гнета — объяснялось прежде всего активностью разума. Наука на первых этапах ее становления воспринималась, в первую очередь,

¹ Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen: Mohr, 1968. S. 594.

как рациональное мероприятие, причем не как реализация разумом своих естественных способностей, а как рационализация на основе мудрости древних — античных философов, наследие которых на некоторое время оказалось забытым и подавленным религиозной схоластикой.

В период Возрождения еще нельзя было говорить о существовании науки в современном смысле слова. Тем, что можно назвать наукой, занимались свободные художники, врачи, инженеры, гуманисты и универсалисты типа Леонардо да Винчи, лишь медленно и постепенно обозначавшие принципиальное единство собственных занятий. Вплоть до XVI столетия существовал глубокий разрыв между систематическим интеллектуальным образованием, которое было привилегией высших слоев общества, и тем, что можно назвать экспериментированием, остававшимся уделом более или менее образованных низших слоев. Первое рождало “гуманистов” и “универсальных ученых”, второе — “ремесленников”. Разрыв был действительно глубок. Как отмечают авторы одного из новейших исследований по социологии науки, он коренился даже в языке: выдающиеся гуманисты того времени, как правило, абсолютно игнорировавшие революционные изменения в тогдашних технике и естествознании, писали свои трактаты по-латыни, а “ремесленники” — навигаторы, врачи, техники и т.д., — если писали вообще, то писали на родном языке¹. Этот культурный разрыв соответствовал теоретико-познавательному расколу, изолировавшему друг от друга рационалистов и эмпириков того времени.

Барьеры начали исчезать к концу XVI столетия. Академически образованные ученые стали осваивать экспериментальные методы, теория и эксперимент начали рассматриваться как неотъемлемые составные части научной деятельности. Уже Галилео Галилей воплощал в своей деятельности синтез теоретических размышлений и экспериментальной практики, хотя и он не был свободен от устаревающих на глазах предрассудков; так, парадоксальным образом вошедшие в состав его книги “Диалоги” (1634) теоретико-математические статьи написаны на латыни, а экспериментально-описательные — на итальянском языке.

Соединение теории и эксперимента не было полностью осуществлено даже в философии просвещения, апеллировавшей преж-

¹ Felt U., Novotny H., Taschwer K. Wissenschaftsforschung. Eine Einführung. Frankfurt a. M., 1996. S. 34.

де всего к рациональному познанию, хотя и ставившей авторитет самого разума на место античной древности как высшего авторитета познания. Разум в его просвещенческом варианте оказался силен в деле разрушения суеверий, предрассудков и устаревших конвенций, сыграл тем самым могучую освободительную роль. Достаточно упомянуть хотя бы Руссо, разделявшего социальные неравенства на два вида: первые — те, что обусловлены самой природой человека, вторые — побуждаемые привычными и никем не ставящимися под вопрос конвенциями. Именно последние неравенства разоблачаются разумом как условности и предрассудки, благодаря чему человек обретает свободу. В этом состоит освободительная роль разума. Именно разум обнаруживает, что “человек рожден свободным”, хотя “повсюду он в оковах”. Но в то же время рациональное просвещение, имевшее огромный разрушительный потенциал, оказалось неспособным к созданию позитивной программы освоения мира, для которой было необходимо использование потенциала развивающейся науки с ее методами наблюдения и экспериментирования. “Восемнадцатое столетие было критическим и революционным, девятнадцатое — будет изобретательным и конструктивным”¹, — писал в самом начале XIX в. К.А. Сен-Симон, увидевший в науке и промышленности важнейшие движущие силы современного мира. Он полагал, что современники имеют дело одновременно с тремя борющимися идеологиями: религиозной (применительно к Франции речь шла об идеологии Римской католической церкви), метафизической (она была представлена философией Просвещения) и позитивной, или научной. Именно за наукой — будущее. Сен-Симон ставил перед собой задачу разработки принципов научной идеологии, которая стала бы фундаментом современного развития, и создания на ее основе соответствующих институтов.

О. Конт и возникновение социологии как эмпирической науки

Многие из идей, выдвинутых Сен-Симоном, были развиты и систематизированы О. Контом, который стал основоположни-

¹ Цит. по: Bryant C. Positivism in Social Theory and Research. L.: Macmillan, 1985. P. 23.

ком идеи социологии как позитивной науки. Социология, таким образом, оказалась возникшей одновременно с зарождением того, что считается современным научным мировоззрением. Сен-Симон — ближайший предшественник социологии, скорее всего, был не ученым, а объединял в себе черты инженера, исследователя, социального прожектора-утописта. И лишь Конт — бывший секретарь Сен-Симона — сосредоточился на разработке системы научного изучения природы и общества в единстве теоретического и эмпирического подходов. В духе Сен-Симона, но гораздо более последовательно и систематично, он прослеживал борьбу трех мировоззрений и определял основные стадии развития общественного процесса. Основным содержанием его является, по Конту, “прогресс духа”. По существу, это прогресс форм человеческого познания мира, или, как говорил Конт, прогресс человеческого разума. Таких форм три (знаменитый контовский закон трех стадий): теологическая, метафизическая и научная. Их можно считать определяющими в общественном развитии, ибо, изменяясь сами по себе, они заставляют изменяться все прочие стороны общественной жизни. Каждому этапу развития разума соответствуют определенные формы хозяйства, политики, общественной организации.

Теологическую стадию, охватывающую древнюю историю и раннее Средневековье (до 1300 г.), Конт делил на три периода: фетишизм, политеизм и монотеизм. В период фетишизма люди приписывали жизнь внешним предметам и видели в них богов (позже соответствующую раннюю форму религиозности стали именовать анимизмом). При политеизме жизнью наделялись “фиктивные существа” (например, греческие и римские боги), вмешательством которых объяснялось все происходящее. Эпоха монотеизма — это христианская эпоха. Единобожие изменило все: образ мира, мораль, нравы и обычаи, хозяйство и политические учреждения. Метафизическая стадия (1300—1800 гг.) — стадия критической и скептической философии, для которой характерно разрушение старых верований и вообще старых порядков. Распространение наук, рост их общественного значения, повсеместное развитие ремесел и промышленности — свидетельство наступления научной, или позитивной, стадии развития духа, высшим выражением которой, согласно Конту, явилась его собственная концепция “позитивизма” (а “закон трех стадий” ее неотъемлемой частью).

Важно, что, отвергая теологическое и метафизическое мышление как свойственное прошедшим стадиям развития человечества, Конт отбрасывал как устаревшие и характерные для этих стадий вопросы о первой и конечной причинах, цели прогресса, предназначении человека и т.п. В его концепции позитивной стадии вопросы смысла и цели, т.е. телеология, не играют никакой роли. Вместо этого человеческий разум сосредоточивается на достижимом и на законах, управляющих этим достижимым. Применительно к социальным феноменам речь идет о “достижимом” двух видов: статике и динамике. Законы, управляющие первым, — законы сосуществования, а управляющие вторым — законы последовательности.

Конт утверждал, что позитивное знание может быть получено только путем применения позитивного метода. В основе этого метода — наблюдение, эксперимент и сравнение. Эмпирические методы изучения общественной жизни как таковые, уже начавшие разрабатываться современниками, его не интересовали. Не занимался он и конкретными методами естественных наук. Его занимал более общий вопрос, а именно: вопрос единства позитивного метода, как он применяется в разных науках. В этом смысле Конт оказался основоположником принципа единства науки, ставшего впоследствии одним из краеугольных камней позитивистского наукоучения, причем в его интерпретации единство науки заключалось в единстве метода, применяемого в разных науках, как естественных, так и общественных.

В своем знаменитом 5-томном “Курсе позитивной философии”, опубликованном в период с 1830 до 1842 г., Конт рассматривает пять наук: астрономию, физику, химию, физиологию (биологию) и социальную физику, или социологию. Эта последовательность есть последовательность исторического становления научного знания. Конт полагает, что чем проще явления по своей природе и чем отдаленнее они от человеческих дел и проблем, тем скорее человечеству удастся прийти к их позитивному, т.е. научному осмыслению. Именно поэтому первой наукой, т.е. первым знанием, освободившимся от религиозных догм и метафизических спекуляций, стала астрономия, имеющая дело с относительно простыми и отдаленными от человека проблемами. И наоборот, социология, имеющая дело с человеческим обществом с его невообра-

зимой сложностью и представляющая собой как бы взгляд человека, обращенный на самого себя, стала последней в ряду дисциплин позитивного знания. В то же время, замечает Конт, для того чтобы изучать более сложные феномены, нужно основываться на знании менее сложных, составляющих основу этого более сложного. Из сочетания этих двух особенностей познания и рождается контовская иерархия наук, в основе которой лежит астрономия, а на вершине — социология.

Мы не будем останавливаться здесь на контовской доктрине “позитивной политики”, хотя она и представляет собой любопытные выводы из “позитивной философии”. Здесь важно подчеркнуть, что социология как эмпирическая наука оказалась рожденной (или, может быть, лучше сказать, запроектированной) одновременно с рождением научного мировоззрения вообще. При этом, конечно, необходимо отметить, что эмпиризм Конта отнюдь не был столь последовательным и строгим, каким он сам его провозгласил. Концепция Конта содержала в себе и пыталась непротиворечивым образом соединить две в общем-то с трудом совместимые тенденции: спекулятивную философию истории, в формах которой неизбежно формировалось до сих пор любое знание об обществе, и эмпиризм, потребность в котором демонстрировали развивающиеся науки и индустрия. Его классификация наук тоже носит достаточно умозрительный характер.

Конт не был близко знаком с практикой современной ему науки, и его представления о ней были довольно приблизительными. Вместе с тем ему удалось в достаточно непротиворечивой форме сформулировать тезис о единстве науки, связав его с эмпирическим научным методом и объяснив эту связь потребностями современного общественного развития. Конт совершил грандиозный научно-социологическо-общественный синтез. В его философии социология оказалась вершиной, завершением и наиболее выразительным образцом научности, а также вершиной социального прогресса. Можно без особой натяжки утверждать, что социология стала символом позитивной эпохи в развитии человеческого разума. Точно так же и сама позитивная философия Конта оказалась манифестом научного мировоззрения, которое отныне почти всегда связывалось с позитивизмом, какие бы превращения ни испытывала эта философская доктрина.

1.2

Объективизм в социологии

Принципы объективистского взгляда на социальный мир

Английский исследователь К. Брайант выделяет следующие двенадцать характерных идей, которые содержались уже в концепции Конта, но оказались свойственными и большинству последующих социологических доктрин, претендующих на позитивное, научное освоение социального мира¹.

1. “Есть только один мир, и он обладает объективным существованием”. Это не столько формулируемая Контом и последующими философами, сколько принимаемая без аргументации исходная посылка всякого суждения о мире.

2. “Составляющие мир элементы и законы, управляющие их движением, могут быть открыты только наукой; наука есть единственная форма знания. Следовательно, то, что не может быть познано научно, не может быть познано вообще”. В этом смысле эпистемология в позитивизме должна совпадать с теорией науки, а в еще более строгом смысле, с методологией. В таком случае, методология не нуждается в дополнительном философском обосновании.

3. “Наука предполагает обязательное соединение разума и наблюдения”. Одно без другого невозможно, утверждал еще Конт, критикуя обе крайности.

4. “Наука не в состоянии открыть все элементы мира и все законы, ими управляющие, поскольку человеческие возможности рассуждения и наблюдения ограничены. Человеческое знание всегда остается соотношенным с уровнем достигнутого интеллектуального развития и с уровнем прогресса в социальной организации науки”.

5. “Все, что человек стремится открыть в мире, обычно объясняется его интересами и его ситуацией”.

¹ Bryant C. Op. cit. P. 12—22.

6. “Существуют законы исторического развития, открытие которых позволяет объяснить прошлое, понять настоящее и предсказать будущее”. Это суждение совпадает с тематикой контовской социальной динамики.

7. “Существуют социальные законы, управляющие взаимосвязями между различными институциональными и культурными формами”. Этот принцип соответствует социальной статике Конта.

8. Общество представляет собой реальность *sui generis* (особого рода). Это означает, что общество представляет собой “органическое” целое, которое не может быть понято на основе изучения составляющих его частей, т.е. индивидов и институтов.

9. “Социальный порядок есть естественное состояние общества”. То есть всякого рода конфликты и аномии суть преходящие стадии развития общества, которое полностью реализует соответствующий его уровню потенциал в стабильном состоянии.

10. “Моральный и политический выбор должен происходить исключительно на научной основе”. Этот тезис характерен для Сен-Симона, Конта, вообще для французской ветви позитивизма, но, как будет видно из дальнейшего, не характерен для британского позитивизма, да и вообще для позднейшей позитивистской традиции, декларирующей принципиальную несовместимость науки с политикой и моралью.

11. “Подчиненность человека естественным законам истории и общества делает невозможным оценивание институциональных и культурных форм с иной точки зрения, чем точка зрения соответствия или несоответствия этим законам”.

12. “Позитивное, конструктивное превосходит негативное, критическое. Позитивное, релятивное, следовательно, превосходит теологическое и метафизическое, абсолютное”.

Учение Дюркгейма как социологический объективизм

В большей или меньшей степени все эти тезисы поддерживались французской ветвью позитивизма, наиболее полно выраженной в работах одного из классиков социологии Эмиля Дюркгейма. Дюркгейм держался принципиальной установки на научность социологии и требовал рассматривать социальные факты

как вещи, т.е. как внешние по отношению к человеку и объективные явления. При этом он признавал существование общества как совокупности фактов сознания. По его мнению, эти факты сознания суть специфические представления, которые, хотя и побуждены внешней, социальной реальностью, воспринимаются людьми как их собственные, принадлежащие их сознанию. При этом они не произвольно “выбираются” индивидами, а имеют свойство обязательности и принудительности. Дюркгейм называл их коллективными представлениями (*representations collectives*), и именно из идеи коллективных представлений родились его вошедшие во всеобщее наследие социальной мысли концепции общественной солидарности, аномии, учение об общественном происхождении морали и религии.

Но, подчеркнем, Дюркгейм оставался при этом на объективистской и натуралистической позиции. Для него общество — вещь (*une chose*), а социальные факты состоят в строго детерминистской функциональной взаимосвязи и эволюционируют по собственным законам.

Социологический метод Дюркгейма

Дюркгейм следующим образом характеризовал черты своего метода.

Во-первых, он, этот метод, независим от всякой философии и идеологии. Так как социология возникла из философских доктрин, в частности, контовской, она “сохранила привычку” опираться на какую-нибудь систему, хотя по существу ни с какой из них не связана. Дюркгейм даже предпочитает не применять к своему методу термин “натурализм”, разве что в том смысле, что социальные явления нужно рассматривать как объяснимые естественными факторами. Социология требует только признания, что к социальным явлениям применим принцип причинности. Причем этот принцип выдвигается не как непреложный постулат разума, а как постулат эмпирический, результат правильной индукции. Так как закон причинности признан для других областей природного царства и признание его господства постепенно расширялось, распространялось от мира явлений физико-химических на явления биологические, от последних — на мир явлений психических, то вполне правомерно допустить этот принцип для мира социального.

Относительно политических учений метод Дюркгейма провозглашает нейтральность. Моя социология, говорит Дюркгейм, не является “ни индивидуалистической, ни коммунистической, ни социалистической в том значении, которое обыкновенно придается этим словам”. Она игнорирует эти теории как ненаучные, поскольку они стремятся не изучать реальность, а изменять ее. Если они и представляют интерес для социологии, то лишь как социальные факты, которые являются неотъемлемым элементом социальной реальности, подлежащей изучению. Это не означает, впрочем, что социология не интересуется практическими вопросами. Наоборот, она стремится их ставить. Но практические вопросы и проблемы возникают для социологии не в начале, а в конце исследования, и решаются ею на основе изучения фактов. Таким образом, практические вопросы для социологии возникают из знания, а не “из страстей”, так же, как и их решения

Во-вторых, говорит Дюркгейм, социологический метод объективен. Он определяется идеей о том, что социальные факты суть вещи и должны рассматриваться как таковые. Этот принцип, говорит Дюркгейм, лежит также в основе доктрин Конта и Спенсера. “Но эти великие мыслители скорее дали его теоретическую формулу, чем применили его на практике”. Применение же этого принципа на практике означает его методологически строгую реализацию на всех этапах социологического изучения, начиная с самого начального этапа, когда социолог только приступает к исследованию. Рассматривать факты как вещи в методологическом смысле означает устранять из сознания исследователя любого рода понятия, представления, идеи, предрассудки относительно фактов, имеющиеся в его сознании, т.е. очищать сознание, чтобы иметь возможность “стать лицом к лицу с самими фактами; как он должен находить их по их наиболее объективным признакам”. Такого рода рассмотрение социальных фактов как вещей должно сопровождать социолога на всем протяжении исследования вплоть до вырабатываемых им объяснений. Дюркгейм неоднократно возвращается к вопросу о социальном факте как вещи, подчеркивая именно методологический характер этого положения. “Мы не утверждаем, — говорит он, — что социальные факты — это материальные вещи; это вещи того же ранга, что и материальные вещи, хотя и на свой лад. Что такое в действительности вещь? Вещь противостоит идее, как то, что познается извне, тому, что познается

изнутри. Вещь — это всякий объект познания, который сам по себе непроницаем для ума; это все, о чем мы не можем сформулировать себе адекватного понятия простым приемом мысленного анализа; это все, что ум может понять только при условии выхода за пределы самого себя, путем наблюдений и экспериментов, последовательно переходя от наиболее внешних и непосредственно доступных признаков к менее видимым и более глубоким. Рассматривать факты определенного порядка как вещи — не значит зачислять их в ту или иную категорию реальности; это значит занимать по отношению к ним определенную мыслительную позицию”¹.

Третья характерная черта дюркгеймовского метода состоит в том, что он является исключительно социологическим. Это значит, что социологическое объяснение не предполагает редукции к какому-то иному виду реальности, биологической, например, или психологической. Наоборот, Дюркгейм настаивает на том, что социальные факты “можно изучать научно, не лишая их специфических свойств”. “Социальный факт можно объяснить только другим социальным фактом”. Именно это является для Дюркгейма основанием утверждать, что социология не есть подраздел какой-либо другой науки, а представляет собой автономную научную дисциплину, изучающую особый, не сводимый к другим сегмент реальности, именуемой социальной реальностью.

Концепция социального факта и социальной реальности

Характеристики этой реальности не очевидны, и Дюркгейм уделяет много внимания их разъяснению. “С нами теперь охотно соглашаются, — пишет он, — что факты индивидуальной и коллективной жизни в какой-то степени разнородны... Но поскольку общество состоит только из индивидов, то с позиции здравого смысла кажется, что социальная жизнь не может иметь иного субстрата, кроме индивидуального сознания; иначе она кажется висящей в воздухе и плывущей в пустоте. Однако то, что так легко считается невозможным, когда речь идет о социальных фактах,

¹ Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995. С. 8—9.

обычно допускается в отношении других природных сфер. Всякий раз, когда какие-либо элементы, комбинируясь, образуют новые явления фактом своей комбинации, нужно представлять себе, что эти явления располагаются уже не в элементах, а в целом, образованном их соединением... Если указанный синтез *sui generis*¹, образующий всякое общество, порождает новые явления, отличные от тех, что имеют место в отдельных сознаниях (и в этом с нами согласны), то нужно также допустить, что эти специфические факты заключаются в том самом обществе, которое их создает, а не в его частях, т.е. в его членах. В этом смысле, следовательно, они являются внешними по отношению к индивидуальным сознаниям, рассматриваемым как таковые, точно так же, как отличительные признаки жизни являются внешними по отношению к минеральным веществам, составляющим живое существо... Социальные факты не только качественно отличаются от фактов психических; у них *другой субстрат*, они развиваются в другой среде и зависят от других условий. Это не значит, что они также не являются некоторым образом психическими фактами, поскольку все они состоят в каких-то способах мышления и действия. Но состояния коллективного сознания по сути своей отличаются от состояний сознания индивидуального; это представления другого рода. Мышление групп иное, нежели отдельных людей; у него свои собственные законы. Обе науки поэтому настолько явно различны, насколько могут различаться науки вообще, какие бы связи между ними ни существовали”².

Отсюда как раз и следует представление о социальных фактах как отличных от явлений индивидуального сознания и оказывающих на последнее принудительное воздействие. Принудительность воздействия — это самое существенное в понятии социального факта. Суть ее в том, что коллективные способы действия или мышления существуют реально вне индивидов, которые постоянно к ним приспособляются. Это вещи, обладающие своим собственным существованием. Индивид находит их совершенно готовыми и не может сделать так, чтобы их не было или чтобы они были иными, чем они являются. Он вынужден поэтому учитывать

¹ *Sui generis* — своего рода, особого рода (лат.). — *Прим. ред.*

² Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. С. 13.

их существование, и ему трудно изменить их, потому что они проистекают из материального и морального превосходства общества над его членами. Несомненно, индивид играет определенную роль в их возникновении. «Но, — говорит Дюркгейм, — чтобы существовал социальный факт, нужно, чтобы, по крайней мере, несколько индивидов соединили свои действия и чтобы эта комбинация породила какой-то новый результат. А поскольку этот синтез имеет место вне каждого из нас, так как он образуется из множества сознаний, то он непременно имеет следствием закрепление, установление вне нас определенных способов действий и суждений, которые не зависят от каждой отдельно взятой воли... Есть слово, которое, если несколько расширить его обычное значение, довольно хорошо выражает этот весьма специфический способ бытия; это слово «институт». В самом деле, не искажая смысла этого выражения, можно назвать *институтом* все верования, все образцы поведения, установленные группой. Социологию тогда можно определить как науку об институтах, их генезисе и функционировании»¹.

Таковы в изложении, близком изложению самого Дюркгейма, основные черты его социологического подхода. Во многом они близки к позитивистскому мировоззрению Конта, хотя и отличаются от позднейшего подхода, свойственного позитивизму в социологии. Для позднейшего подхода, основанного на философии логического позитивизма (об этом пойдет речь ниже, во второй главе), характерны номинализм (т.е. отрицание реальности существования общих понятий), феноменализм и эмпиризм (т.е. ограничение познания опытом непосредственно данного), а также методологический индивидуализм. По всем этим параметрам Дюркгейм позитивистом не является. Но он является позитивистом в контовском смысле, он был бы согласен с большинством приведенных выше двенадцати тезисов Брайанта. Для характеристики такого подхода мы применяем более широкий термин — объективизм. Объективизм состоит в констатации объективного, т.е. независимого от воли и сознания индивида, существовании социальных феноменов, в несводимости их к характеристикам индивидуального сознания, в требовании применять для их изучения общенаучные методы и в признании базового единства науки.

¹ Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. С. 20.

Объективизм — это более широкая версия позитивизма, характерная для весьма существенной части социологической традиции. Именно в рамках объективизма развивались структурно-функционалистские концепции (Т. Парсонс, Р. Мертон и др.), основания которых были частично заложены еще Контом и Дюркгеймом.

Дюркгейм в своем учении о методе предложил своеобразную концепцию социологического опыта, состоящую в требовании наблюдать социальные факты как вещи в их “принудительности” и обязательности. Образец этой объективистской методологии был продемонстрирован им в работе “Самоубийство”, где социальные факты конструировались и объяснялись на основе статистических данных. В этом смысле он явился одним из ранних представителей подхода к социологии как естественной науке, пользующейся количественными методами для описания своего предмета, имеющего объективное существование.

1.3

Понимающая социология

Понимающая социология Макса Вебера

На ином подходе основывался Макс Вебер в своей конструкции социологии. Для Вебера социология — “наука о действительности”, т.е. эмпирическая наука, опирающаяся не на искусно отобранный, препарированный опыт исследователя, выраженный в терминах законов и каузальных зависимостей, а на прямой и непосредственный опыт реальных, действующих человеческих индивидов, выраженный и выражающийся в культурной значимости явлений. “Социальная наука, которой мы хотим заниматься, — пишет Вебер, — это наука о действительности. Мы стремимся понять окружающую нас действительную жизнь в ее своеобразии — взаимосвязь и культурную значимость отдельных ее явлений в их нынешнем облике, а также причины того, что они исторически сложились именно так, а не иначе”¹.

¹ Вебер М. Избранные произведения / Под ред. Ю.Н. Давыдова. М.: Прогресс, 1990. С. 369.

В отличие от Дюркгейма, особенность социального поведения заключается для Вебера не в том, что оно регулируемо “извне”, будь то вне его самого лежащие факторы общественной природы или неосознаваемые им самим инстинкты. Специфичность социального поведения — и в этом отличие человека от животных — состоит в наличии в нем субъективно подразумеваемого смысла. И именно субъективно подразумеваемый смысл становится ядром и отправной точкой его конструкции социального.

“Действием,— пишет Вебер,— мы называем действие человека (независимо от того, носит ли оно внешний или внутренний характер, сводится ли к невмешательству или терпеливому приятию), если и поскольку действующий индивид (или индивиды) связывают с ним субъективный *смысл*. Социальным мы называем такое действие, которое по предполагаемому действующим лицом (или действующими лицами) смыслу соотносится с действием других людей и ориентируется на него”¹.

Именно потому, что конституирующим признаком социального является субъективный смысл, подлежащий и доступный пониманию, Вебер называет свою социологию *понимающей*. Феномены понимающей социологии относятся к совсем иному, так сказать, плану реальности, по сравнению с дюркгеймовскими социальными фактами как вещами или контовским обществом как объективным феноменом. Они специфичны, поскольку произведены сознательно, опосредствованы определенным мотивом или намерением. Другими словами, между действием как эмпирическим фактом и его эмпирической средой имеется “прокладка” субъективного смысла, субъективной интерпретации, истолкования и понимания эмпирической реальности действия. Эта “прокладка” и есть главный конституирующий фактор социального.

Если это так, то социология, которая видится Макс Веберу, не может стоять в одном ряду, как это думал Конт, с физикой, биологией и другими естественно-научными дисциплинами. Она не может, как это считал Дюркгейм, *исходить* из предпосылки объективности социальных явлений. Ее задача — *объяснить* саму эту объективность, показать, как она возникает и формируется из действий, субъективно ориентированных по своей природе.

¹ Вебер М. Избранные произведения. С. 602—603.

Но тогда меняется и само понимание человеческого общества: его уже не следует рассматривать как продолжение природы, как объективную реальность, подобную той реальности, которую изучают естественные науки. Оно, общество — продукт человеческих действий, искусственное, созданное людьми явление, т.е., иначе говоря, культурный продукт.

Поэтому к изучению общества нужно подходить, как к изучению культурных продуктов. Для постижения любого культурного продукта можно использовать естественнонаучные методы. Как утверждал Дюркгейм, к этим методам нужно обращаться при анализе любого культурного продукта — от художественного произведения до технического устройства. Но нельзя забывать, что при этом мы не в состоянии вскрыть подлинного смысла этого продукта как именно культурного продукта. Акустический анализ симфонии или физико-химический анализ красок на полотне при всей их тонкости и изощренности не дадут представления о культурном смысле музыки или картины. Более того, даже чисто природные по своему происхождению явления и объекты, попадая в сферу социального действия, т.е. *mutatis mutandis* — в сферу культуры, обретают качества, не уловимые с помощью естественнонаучных методов. Ясно, что ни ботаника, ни география, ни почвоведение, ни какая-то другая наука не смогут объяснить, чем отличается лес как приют покоя и одиночества от леса как объекта хозяйственного использования. Именно это постоянно и старательно подчеркивает Вебер, говоря о том, что “в социальных науках речь идет о роли *духовных* процессов, «понять» которую в сопереживании — совсем иная по своей специфике задача, чем та, которая может быть разрешена (даже если исследователь к этому стремится) с помощью точных формул естественных наук”¹.

На том и основывается методологическая и “эмпирическая” специфика понимающей социологии Вебера и ее отличие от объективистского подхода Конта и Дюркгейма. При однозначно объективистском подходе к социологии утрачивается специфически культурный смысл человеческого общества, так как в этом случае оно может отождествляться с социальными объектами, изучаемыми биологическими науками: сообществами животных, кото-

¹ Вебер М. Избранные произведения. С. 371.

рые иногда достигают огромной степени сложности, как, например, муравейники, поселения термитов и т.п. С этой целью можно применять системный подход, функциональный анализ, изучать эволюцию животных сообществ и т.д., т.е. применять методы и подходы, рекомендуемые сторонниками изучения общества как естественного явления. Но такой подход неизбежно ограничен и вынуждает своих сторонников всегда подходить к изучаемым проблемам дуалистически, т.е. вводить два ряда факторов: естественные и культурные, объективные и субъективные. Так, по Конту, общество, с одной стороны, объективная реальность, вещь, система, эволюционирующая по собственным законам, а с другой — продукт эмоций, идей, мнений. В социологии у Дюркгейма социальные факты одновременно и вещи, и коллективные представления, факты психической реальности.

Вебер как исходную предпосылку социологии использует положение о том, что человек — культурное существо, и на основе именно этой предпосылки пытается построить здание объективной социологии. По Веберу, наряду с понятием субъективного смысла действия предметом социологического анализа является все многообразие идей, мнений, убеждений, представлений, образов мира, составляющих в совокупности то, что именуется культурой. Именно то, что содержится в культуре, составляет актуально или в потенции содержание человеческой мотивации, т.е. подразумеваемого смысла действий. В мотивации просто-напросто не может быть того, что отсутствует в культуре. Соответственно то, чего нет в культуре, не может стать предметом социологического изучения. Например, по словам Вебера, просто реактивные действия не являются предметом интереса социологов так же, как вообще действия, даже если они связаны с взаимодействием нескольких участников, но не имеют “подразумеваемого смысла”. “Столкновение двух велосипедистов, например, не более чем происшествие, подобное явлению природы. Однако попытка кого-нибудь из них избежать этого столкновения, последовавшая за столкновением брань, потасовка или мирное урегулирование конфликта является уже социальным действием”¹.

¹ Вебер М. Избранные произведения. С. 626.

Поэтому в веберовском анализе мотивов *социальных действий* учитываются все типы человеческой мотивации, и два из них выделяются как собственно культурные. “Социальное действие может быть:

1) *целерациональным*, если в основе его лежит ожидание определенного поведения предметов внешнего мира и других людей и использование этого ожидания в качестве «условий» или «средств» достижения своей рационально поставленной и продуманной *цели*;

2) *ценностно рациональным*, основанным на вере в безусловную — эстетическую, религиозную или любую другую — *самодовлеющую* ценность определенного поведения как такового, независимо от того, к чему оно приведет;

3) *аффективным*, прежде всего *эмоциональным*, то есть обусловленным аффектами или эмоциональным состоянием индивида;

4) *традиционным* — основанным на длительной привычке”¹.

Традиционное действие представляет собой пограничный случай между “осмысленно” ориентированным и чисто реактивным действием: как чисто реактивное оно не является социальным действием; как осмысленное оно тяготеет к ценностно рациональному типу. То же можно сказать об аффективном действии: оно может быть просто эмоциональной реакцией на раздражение. Если же действие, обусловленное аффектом, находит выражение в *сознательной* эмоциональной разрядке, то следует говорить о сублимации; тогда это действие близко либо к первому, либо ко второму типу и относится к разряду культурно мотивируемых действий.

Рассмотрим шаги построения социологии не “сверху” — от объективной данности общества как системы, а “снизу” — от субъективно осмысленных, т.е. культурно детерминированных человеческих действий. Следующая (за социальным действием) ступень — *социальные отношения*. “Социальным отношением должно называться поведение нескольких людей, каждый из которых соотносит свои действия с действиями остальных и ориентируется на эту соотнесенность. Следовательно, социальное отношение полностью и исключительно определяется возможностью того, что социальное поведение будет носить доступный осмысленному обсуждению характер”². Содер-

¹ Вебер М. Избранные произведения. С. 628.

² Там же. С. 630.

жательно социальное отношение может быть каким угодно: борьба, вражда, любовь, дружба, уважение, рыночный обмен, выполнение соглашения или уклонение от него, соперничество экономического, эротического или иного характера, национальная или классовая общность; социальное отношение может быть кратковременным или долговременным, составлять основу таких социальных образований, как государство, церковь, семья. В любом случае в его основе лежит осмысленное и доступное осмысленному определению поведение нескольких людей по отношению друг к другу. В случае долговременных и сложных по своей организации социальных отношений, при условии ориентации именно не на конкретность действий других людей, а на “взаимную соотнесенность” всех этих действий отношение приобретает некую “в себе” существующую целостность, которая как бы не зависит от конкретных деятелей, т.е. приобретает качество объективности.

В нашу задачу не входит детальный анализ построения Вебером системы социологии от простейшего социального действия до сложных крупномасштабных социальных структур и институтов. Важно показать, что веберовская социология не просто основывается на предпосылке о человеке как культурном существе, т.е. о существе, сознательно организующем свое поведение и среду своей деятельности. Здесь найдены средства последовательно реализовать эту предпосылку, проследив, как на основе субъективных смыслов происходит “становление” социальной объективности, которую делают сами люди, и в этом смысле она является человеческим, т.е. культурным, продуктом.

Понимающая социология как генерализирующая наука

Ориентирующуюся на человеческую субъективность веберовскую социологию тем не менее нельзя назвать гуманитарной дисциплиной в традиционном понимании, как, например, историю, которая изучает индивидуальные, обладающие культурной значимостью действия, институты и т.п. Социология как генерализирующая наука оперирует типическими явлениями, фактами, личностями, которые в ходе социологического образования понятий освобождаются от индивидуального содержания, но при

этом социологические абстракции — типы — не оторваны от субъективного смысла реальных человеческих действий. По Веберу, они должны удовлетворять требованию “смысловой адекватности”, причем адекватной смыслу он называет такую типическую конструкцию, в которой соотношение между ее компонентами “представляется с позиций нашего привычного мышления и эмоционального восприятия типичным (мы обычно говорим: правильным) смысловым единством”¹. Смысловая адекватность — главный критерий социологического понимания. Но это, конечно, не полное и не точное воспроизведение индивидуальной мотивации. Социологические типы дают “очищенный” по сравнению с мотивацией реального поведения смысл человеческих действий. В реальности этот смысл часто неосознан до конца, или полусознан, или не отделен от побочных соображений, не играющих роли в данном конкретном действии. Социологические типы дают его “чистый” смысл. Поэтому Вебер называл их “чистыми” или *идеальными типами*. Именно такая культурно нагруженная методология стала основой веберовского социологического анализа.

Вебер неоднократно и детально останавливается на вопросе совместимости естественно-научного подхода в терминах законов и причинных связей с “культурным” видением социальных явлений. “Для естественных наук, — пишет он, — важность и ценность «законов» прямо пропорциональна степени их *общезначимости*, для познания исторических явлений в их конкретных условиях *наиболее общие законы*, в наибольшей степени лишенные содержания, имеют, как правило, наименьшую ценность... В науках о культуре познание общего никогда не бывает ценным как таковое. Из сказанного следует, что «объективное» исследование явлений культуры, идеальная цель которого состоит в сведении эмпирических связей к «законам», бессмысленно. И совсем *не* потому, что, как часто приходится слышать, культурные или духовные процессы «объективно» протекают в менее строгом соответствии законам, а по совершенно иным причинам. Во-первых, знание социальных законов не есть знание социальной действительности, оно является лишь одним из целого ряда вспомогательных средств, необходимых нашему мышлению для этой цели. Во-вторых, познание культур-

¹ Вебер М. Избранные произведения. С. 611—612.

ных процессов возможно только в том случае, если оно исходит из *значения*, которое для нас всегда имеет действительность жизни, индивидуально структурированная в определенных *единичных* связях. В *каком* смысле и в *каких* связях обнаруживается такая значимость, нам не может открыть ни один закон, ибо это решается в зависимости от *ценностных идей*, под углом зрения которых мы в каждом отдельном случае рассматриваем «культуру»¹.

То же справедливо и по отношению к каузальному анализу. «Число и характер причин, определивших какое-либо индивидуальное событие, всегда *бесконечно*, а в самих вещах нет признака, который позволил бы вычленивать из них единственно важную часть... Порядок в этот хаос вносит *только* то обстоятельство, что интерес и *значение* имеет для нас в каждом случае лишь часть индивидуальной действительности, так как только она соотносится с *ценностными идеями культуры*, которые мы прилагаем к действительности... При этом только определенные стороны бесконечных в своем многообразии отдельных явлений, те, которым мы приписываем общее *культурное значение*, представляют для нас познавательную ценность, только они являются предметом каузального объяснения... Повсюду, где речь идет о каузальном объяснении «явления культуры», об «*историческом индивидууме*» (мы пользуемся здесь термином, который начинает входить в методологию нашей науки и в своей точной формулировке уже принят в логике), знание *законов* причинной обусловленности не может быть *целью* и является только *средством* исследования»².

Все сказанное выше приводит к выводу о коренной противоположности методологического подхода понимающей социологии Вебера и объективистской социологии, сформировавшейся в русле контовского позитивизма. Но в одном весьма важном пункте позиции этих двух направлений совпадают — в том, что касается методологического требования «свободы от ценностных суждений». Речь здесь идет, по словам Вебера, о том «тривиальном требовании», чтобы исследователь отчетливо разделял две группы относящихся к ценностям проблем: с одной стороны, проблемы установления эмпирических фактов, включая сюда ценностные мнения и суждения исследуемых людей, а также и ценностное

¹ Вебер М. Избранные произведения. С. 378.

² Там же. С. 376—377.

содержание изучаемых социальных феноменов, а с другой — свою собственную практическую оценку этих феноменов, т.е. свое собственное *суждение* об этих фактах, свою в этом смысле оценивающую позицию. Обращение к ценностям в первом смысле этого понятия настолько же, по Веберу, неизбежно и обязательно в социальных науках, насколько вредно и должно быть избегаемо во втором. Собственно, требование “свободы от оценочных суждений” в эмпирическом исследовании, на какую бы методологию оно ни опиралось и в рамках какой бы из социологических теорий ни проводилось, является обязательным в той мере, в какой речь идет именно об эмпирической науке, “науке о действительности”, как бы ни понималась эта действительность.

Объективизм и понимание как методологические альтернативы

Понимающая социология Макса Вебера стала родоначальницей альтернативной по отношению к объективизму традиции в социологическом мышлении. Вообще, если “очистить” социологические концепции, составляющие историю этой дисциплины, от многочисленных и многообразных наслоений, тончайших деталей, оговорок и уточнений, взаимных заимствований и выделить фундаментальные умозрения, лежащие в основе той или иной концепции, то все многообразие их явлений можно свести к двум направлениям: объективистскому, естественно-научно ориентированному, с одной стороны, и понимающему, или культурно-аналитическому — с другой. Их главное различие заключается в том, что в первом социальные явления — структуры, институты рассматриваются как объективные “вещи” (в этом смысле основоположником данного направления является Эмиль Дюркгейм), не зависящие от идей и мнений членов общества, в то время как во втором те же явления трактуются как существующие исключительно посредством этих самых идей и мнений. При этом сторонники обоих направлений анализируют одни и те же явления, в которых живет и действует нормальный общественный человек. Вследствие указанных различий представители первого направления занимают позиции “нормального общественного человека”, того, кого в социологии называют “человеком с улицы” (кого

можно было бы назвать первым встречным), принимая в принципе его взгляд и его восприятие объективности общественных явлений, а представители второго направления стремятся заглянуть за эту видимую объективность и понять, почему нормальный общественный человек воспринимает эти явления как объективные, хотя на самом деле они объективны и принудительны лишь в той мере, в какой люди в них верят и подтверждают эту веру своими действиями.

Иными словами, объективист рассматривает социальный мир таким, каким он является, и исследует закономерности взаимодействия структур и элементов в этом мире, тогда как культурный аналитик “заглядывает за подкладку” и хочет понять устройство “ткани” этого мира, понять, почему “с лица” он кажется объективным, т.е. несделанным и не зависящим от человека, его идей и мнений. Объективист принимает объективность социального мира на веру, понимающий социолог исследует эту объективность и только тогда, когда понята природа этой объективности, совсем не такой, как объективность естественных явлений, он может перейти к анализу самих социальных фактов. При этом и сами факты он воспринимает иначе, чем объективист: они являются для него артефактами в любом смысле этого слова.

Это различие исследовательских направлений не всегда прямо осознаваемо в конкретных социологических концепциях, однако носит достаточно принципиальный характер. Оно присутствует во всей истории наук об обществе с их возникновения и детально рассматривается такой дисциплиной, как философия общественных наук. Это различие стало основой различных классификаций наук, в которых в качестве специфической отрасли знания выделяются науки о духе (*Geisteswissenschaften*) или науки о культуре (*Kulturwissenschaften*), противопоставляемые наукам о природе (*Naturwissenschaften*). И в настоящее время, стремясь разграничить гуманитарные и социальные науки, мы также вряд ли сумеем обойтись без рассмотрения этого различия.

Повторим, что в социологии оно фиксируется как различие позитивистского натурализма и объективизма, с одной стороны, и понимающего подхода — с другой. Конечно, следует отметить определенную условность этого различия. Если говорить о конкретных социологических концепциях (а не об их философском обосновании), к понимающему направлению можно отнести концепции так называемых символического интеракционизма и социальной феноменологии.

Развитие понимающей социологии: символический интеракционизм

Прямой предшественник символического интеракционизма — американский социолог Чарльз Кули. Исходной предпосылкой его теории было утверждение о социальной природе человека, что мы без преувеличения можем назвать образом человека как культурного существа. По словам Кули, социальная природа человека “вырабатывается в человеке при помощи простых форм интимного взаимодействия или первичных групп, особенно семейных и соседских, которые существуют везде и всегда воздействуют на индивида одинаково”¹. Она представляет собой некий общий для всего человечества комплекс социальных чувств, установок, моральных норм, составляющий универсальную духовную среду человеческой деятельности.

Социальной природе человека соответствует особое социальное познание, “которое способно соединять видимое поведение с воображением соответствующих внутренних процессов сознания”. Макс Вебер назвал бы такое познание “пониманием”, предполагающим наличие субъективного смысла деятельности, а социологию, которую строил на этом основании Кули, — понимающей социологией.

Другой предшественник символического интеракционизма — Уильям Томас вошел в историю социальной мысли прежде всего своей концепцией “определения ситуации”. Томас выразил ее суть в известном афоризме, который его коллега Р. Мертон назвал теоремой Томаса: “Если ситуация определяется как реальная, она реальна по своим последствиям”². В качестве иллюстрации Томас приводит следующий пример: параноик, попавший впоследствии в одну из нью-йоркских больниц, убил несколько человек только за то, что они имели привычку бормотать что-то про себя. Гуляя по улице и наблюдая за этими несчастными, он предполагал, что они его всячески поносят, и вел себя так, будто это было в действительности, т.е. он определял ситуацию как реальную картину оскорбительного по отношению к нему поведения, и она оказывалась реальной по своим последствиям.

¹ Cooley Ch. Human Nature and the Social Order. N.Y.: Rinehart, 1964. P. 32.

² Social Behavior and Personality. W. Thomas' Contribution in Social Theory and Social Research / Ed. by E. Volkart. N.Y.: Social Science Research Council, 1951. P. 14.

Томас считал, что социологи должны анализировать социальный мир в двуедином контексте: так, как его видит социолог через посредство объективных научных понятий, и так, как его видят сами действующие индивиды, по-своему, сугубо индивидуально определяющие ситуацию деятельности, т.е. действуют согласно “субъективному смыслу”, который они привносят в объективную ситуацию. Впрочем, если опираться в своих суждениях на концепцию определения ситуации, довольно бессмысленно говорить об объективной ситуации деятельности; сама эта концепция есть попытка понять, как субъективный смысл превращается в объективные факты. Этот подход можно трактовать как культурный анализ на микроуровне.

Подлинным основоположником символического интеракционизма стал американский философ и социолог Джордж Мид (1863—1931). Центральное понятие теории Мида — понятие межличностного взаимодействия. По мысли Мида, именно в совокупности взаимодействий формируется общество и формируется индивидуальное сознание. Анализ взаимодействия Мид начинает с понятия жеста. Жест — это индивидуальное действие, начало и отправной пункт взаимодействия. Он является стимулом, на который реагируют другие участники взаимодействия. Жест предполагает наличие некоторого “референта”, т.е. “идеи”, на которую он указывает. Это означает, что жест выступает в качестве символа. В сознании человека, совершающего жест, и в сознании того, кто на этот жест реагирует, он вызывает один и тот же отклик, одну и ту же “идею”, которую можно определить как значение жеста. В понимании Мида, жест — не только и не столько физический жест, сколько “вербальный жест” — слово. Поэтому язык им рассматривается как главный конституирующий фактор сознания.

В терминах значений Мид объясняет не только индивидуальные аспекты опыта, но и общие понятия — универсалии. Благодаря тождественности восприятия голосового жеста и “принимающим”, и “передающим” становится возможным то, что Мид назвал принятием роли другого. В случае сложного взаимодействия, т.е. происходящего с участием многих индивидов, учитывается и обобщающее мнение группы относительно общего объекта взаимодействия, которое можно определить, следуя Миду, как “роль обобщенного другого”. Мид писал: “Действительная универсальность и безличность мысли и разума является результатом приня-

тия индивидом установок других людей по отношению к себе и последующей кристаллизации этих частных установок в единую установку или точку зрения, которая может быть названа установкой обобщенного другого”¹.

Мидовская программа социологии хотя и базируется на иных философско-методологических предпосылках по сравнению с аналогичной программой Макса Вебера во многом параллельна веберовской². (Значение жеста есть субъективный смысл действия. “Принятие роли другого” гарантирует социальный характер действия, а по Веберу, социальное действие — это действие, учитывающее установки других людей.) Программа Миды по замыслу шире, ибо включает в себя теоретико-познавательный анализ последствий социальных взаимодействий. Мид показывает, как в ходе формирования установки “обобщенного другого” возникают общие понятия, в которых, в частности, находит свое выражение “универсальность и безличность” социальных структур. Такой анализ представляет собой — *mutatis mutandis* — анализ формирования представлений о социальной объективности. В своих дальнейших рассуждениях, на которых мы здесь не будем останавливаться, в частности в ходе анализа взаимоотношений элементов структуры человеческой личности, а также в исследовании природы “социальности”, Мид отчетливо демонстрирует эмерджентный³ характер социального, которое возникает именно в ходе взаимодействий, а не существует “объективно” до этих взаимодействий и вне их.

¹ Mead G.-H. *Mind, Self and Society*. Chicago: University of Chicago Press, 1934. P. 90.

² Джордж Мид является одновременно одним из классиков философии американского прагматизма. Его концепция социальной психологии и социологии разрабатывалась во многом под влиянием Дж. Дьюи и прагматистской идеи практики, а также концепции социальной семантики Ч. Морриса. Но Мид учился в Германии и определенно знал работы М. Вебера. Возможно, частично этим объясняется упомянутая параллельность.

³ *Эмерджентность* (от англ. *emergence* — возникновение — в самом общем виде, возникновение при переходе с более низкого на более высокий уровень системы новых качеств, которые нельзя свести к свойствам элементов системы более низкого уровня. Например, в социологии это определенные качества групп или организаций (сплоченность, эффективность и т.п.), которые не могут быть объяснены через характеристики участников этих групп. Явление социальной объективности не может быть объяснено на основе индивидуальных качеств членов общества; оно есть эмерджентный феномен, складывающийся в ходе взаимодействий.

Именно в работах Мида — корни символического интеракционизма, который стал одним из влиятельных направлений сначала в американской, а потом и в мировой социологии. Обобщенное описание социального мира, каким он видится с позиции символического интеракционизма, дает авторитетный представитель этого направления Г. Бламер: “Человеческие существа живут в мире значимых объектов, а не в среде, состоящей из стимулов и самоконституирующихся сущностей. Этот мир имеет социальное происхождение, ибо значения возникают в процессе социального взаимодействия. Так, различные группы вырабатывают различные миры, и эти миры меняются, если объекты, их составляющие, меняют свои значения. Поскольку люди расположены действовать, ориентируясь на значения, которые имеют для них объекты, мир объектов группы представляет собой истинный смысл организации деятельности. Для того чтобы идентифицировать и понять жизнь группы, необходимо идентифицировать мир ее объектов; идентификация должна осуществляться в терминах значений, которые имеют объекты в глазах членов группы. Наконец, люди не прикованы к своим объектам, они вольны прекратить свою деятельность по отношению к ним и выработать новую линию поведения. Это обстоятельство вносит в жизнь группы новый источник трансформации”¹.

В случае такого видения исследователю приходится иметь дело не с объективным социальным миром, каким он представляется в терминах науки, а с различными “мирами”, какими они видятся разным группам, причем объекты, фигурирующие в этих мирах, постоянно заново определяются и переопределяются, меняют свои значения. Такой подвижный образ общества существенно отличается от жестких структурных представлений, характерных для объективистской натуралистической социологии.

К этому же направлению — символическому интеракционизму — относятся работы таких социологов, как Т. Лукман и И. Гофман. Лукман в написанной им совместно с П. Бергером книге “Социальная конструкция реальности” показывает, что мир, в котором живут и трудятся социальные индивиды и который они воспринимают как изначально и объективно данное, активно конст-

¹ Blumer H. Sociological Implications of the Thought of G.-H. Mead // American Journal of Sociology. 1956. N 5. P. 540.

руируется самими людьми в ходе их социальной деятельности, хотя это происходит неосознаваемо для них самих. Это диалектическая концепция: познавая мир, люди создают его и, создавая, познают. Упомянутое произведение носит, скорее, не социологический, а философский характер: здесь вскрываются и систематизируются философские предпосылки, на которых зиждется понимающая социология.

Известный американский социолог И. Гофман анализирует те же процессы конструирования социальной реальности, но на микроуровне, обращая при этом, что весьма важно, к нормальным и привычным контекстам повседневных взаимодействий, вскрывая приемы и методы, которыми пользуются обычные люди, анализируя ситуации своих встреч и столкновений с другими людьми и приводя их в соответствие с собственными представлениями об объективно должном, т.е. о том, в какой именно объективной ситуации они находятся. Если Бергер и Лукман дали философский анализ процессов конструирования реальности, то Гофман блестяще продемонстрировал, как объективная социальная реальность конструируется нами постоянно и непрерывно в процессе сегодняшних, сиюминутных встреч и столкновений с коллегами, врагами, друзьями и незнакомцами.

Подчеркивая органическую связь символического интеракционизма с понимающей социологией, следует все же учитывать, что целый ряд сторонников этого направления с успехом применяют методы, в частности, количественные, разработанные в рамках позитивистской традиции и характерные именно для нее. К этому можно еще добавить, что в символическом интеракционизме (по крайней мере, в некоторых его разновидностях) отчетливо прослеживаются мотивы социологического объективизма, в результате чего за внешне выразительными методологическими различиями (отказ интеракционистов от количественных методов в пользу качественных) оказывается скрытой глубокая методологическая конвергенция. Вообще понимающая социология после Макса Вебера отнюдь не отличается строгостью философско-методологического подхода и не уделяет особого внимания методологической рефлексии. Исключение составила лишь социальная феноменология, представлявшая собой развитие определенных сторон понимающей социологии Вебера.

1.4

Социальная феноменология

Опыт жизненного мира и опыт повседневности

Австрийский философ и социолог Альфред Шюц, многие годы работавший в США, целиком принял социологическую программу Макса Вебера. При этом он поставил перед собой цель “дополнить” Вебера — создать теоретико-познавательное обоснование веберовской понимающей социологии. Первая и, пожалуй, наиболее значительная книга Шюца так и называлась: “Смысловое строение социального мира: Введение в понимающую социологию”¹. Однако Шюцу не удалось подстроить фундамент “под” Вебера; его концепция стала иной (причем существенно иной) версией понимающей социологии, хотя и родственной веберовской.

Шюц в своих работах исходил из идей феноменологической философии Эдмунда Гуссерля, в частности, из его концепции “жизненного мира” как сферы дорефлексивного, непосредственно переживаемого опыта. Шюц, в соответствии с идеями Гуссерля, искал в жизненном мире истоки и основания всех стабильных систем взаимодействия, всех крупномасштабных социальных структур, которые традиционно являются предметом исследования социологов. Он так же, как и другие сторонники понимающей социологии, как Мид, Гофман и прежде всего как Вебер, не мог просто принять на веру представление об объективности этих структур; он стремился разобраться, как происходит становление этой объективности в ходе процессов, протекающих в жизненном мире, т.е. в ходе простейших человеческих взаимодействий.

Гуссерль рассматривал проблематику жизненного мира в рамках философской дисциплины, которую он называл феноменологической психологией и предмет которой определял как “человеческую самость во всей совокупности действительной и возможной жизни сознания, в том числе конкретной жизни вообще”. Он предполагал искать в конкретности жизни не только решение

¹ Schütz A. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Einleitung in der verstehende Soziologie. Wien, 1932.

актуальных теоретических проблем философии, но и разрешение обнаруженного им (и не только им: осознание ненадежности существования было лейтмотивом европейской мысли первых трех десятилетий XX в.) кризиса науки и жизни.

Как подойти к этой конкретности, как схватить ее в ее неуловимой жизненности? Согласно Гуссерлю, наука не дает возможности проникнуть в жизненный мир, наоборот, она подменяет живой человеческий мир миром объективированных абстракций. Следовательно, утверждает Гуссерль, необходимо произвести своего рода редукцию по отношению к науке, к значениям элементов мира, полученным от науки, по отношению к научной картине мира вообще. Осуществив подобную редукцию, мы повторим путь науки, но пройдем его в обратном направлении, т.е. вернемся к исходному пункту — к донаучным значениям мира. Таким образом восстанавливается чуждый науке мир повседневной жизни, или, в терминологии Гуссерля, жизненный мир. Изучение жизненного мира, представляющего собой совокупность первичных, фундирующих (термин Гуссерля) интенций, должно раскрыть процесс возникновения из него различных систем знания, в том числе объективных наук, объяснить отношение последних к жизненному миру и тем самым наделить их столь недостающим человеческим содержанием.

Для жизненного мира, по Гуссерлю, характерны непосредственная очевидность, интуитивная достоверность его феноменов, понимаемых и принимаемых индивидом как таковые, т.е. субъективная достоверность, причем субъективность жизненного мира — это “анонимная” субъективность. Ее содержание определяется не активностью субъекта, а наличествующими в сфере субъективности феноменами мира, как субъективными, так и интерсубъективными. Еще одно чрезвычайно важное свойство жизненного мира: он представляет собой целое, поскольку именно в целом он выступает как нечто самоочевидное, самодостверное. Это целое не имеет четкой архитектоники, его структура неопределенна, не эксплицирована.

По отношению к активности субъекта жизненный мир представляет собой “горизонт” всех его целей, проектов, интересов независимо от их временных, пространственных, ценностных и прочих масштабов. Но любая организующая, рефлектирующая деятельность (включая научную) ведет, считает Гуссерль, к сосре-

доточению на том или ином аспекте жизненного мира, к возникновению “закрытых” миров (примером может служить мир специалиста), опосредованных особой целью и недоступных прямому постижению. Поэтому Гуссерль пишет: “...Тематически присутствуя в нашем частном мире, «жизненный мир» остается нетематизированным”¹. “Нетематизированным” в данном случае означает — не ставшим предметом рефлексии. Однако из этого не следует, что жизненный мир не имеет отношения к организованной практической деятельности. Наоборот, “каждая цель предполагает его, даже универсальная цель — постижение мира в научной истине — предполагает его, и до работы, и в ходе работы предполагает вновь и вновь, как в своем роде сущее”². Жизненный мир представляет собой целостную структуру человеческой практики, и любая организованная деятельность по исследованию определенной части жизненного мира, изымая ее тем самым из совокупности очевидно понимаемого, продолжает существовать (и не может не существовать) в жизненном мире, опираясь на смутное, непроясненное, нерerefлектированное знание его.

Но, полагает Гуссерль, до сих пор жизненный мир как таковой не был предметом исследования, поскольку ученые, как, впрочем, все, кто руководствуется в своей жизни целью, проектом, интересом, кто организует свою деятельность, “слепы ко всему, кроме целей и горизонтов своего дела. И чем более обуславливает жизненный мир то, чем они живут, чему принадлежит вся их «теоретическая деятельность», чем более становится он средством их деятельности, «лежащим в основе» как теоретического обсуждения, так и обсуждаемого предмета, тем менее является он для них темой”³. Обращение к жизненному миру есть обращение к глубинной реальности социальной жизни. По мысли Гуссерля, оно должно снять свойственную объективной науке (прежде всего естественной) претензию на раскрытие реальности, открыв науке ее действительное место в мире, отношение к человеческой субъективности. Пафос философа направлен против якобы “чистого” познания, оторванного от непосредственности человеческой жизни.

¹ Husserl E. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendente Phänomenologie. Den Haag: Nijhof, 1954. S. 459.

² Ibid. S. 461.

³ Ibid. S. 462.

Ученик Гуссерля Шюц при изучении жизненного мира ставил те же цели, что и Гуссерль, хотя его интересы сосредоточивались прежде всего в области социальных наук. “Предметом всех эмпирических наук, — писал Шюц, излагая соответствующие положения теории Гуссерля, — является мир как предданное, но они, эти науки, как и их инструментарий, сами являются элементами этого мира”¹. Значит, науке, если она действительно желает быть “строгой”, необходима не столько формальная строгость, т.е. логическая формализация и так называемые объективные научные методы, сколько выяснение ее генезиса и обусловленности миром предданного, из которого оно рождается и в котором живет. Этот мир, предшествующий объективирующей научной рефлексии, мир человеческой непосредственности, феноменальный (в гуссерлевском смысле) мир чувствования, стремления, фантазирования, желания, сомнения, утверждения, воспоминания о прошлом и предвосхищения будущего и т.п., короче, это жизненный мир. Шюц определяет его как мир, в котором “мы, как человеческие существа среди себе подобных, живем в обществе и культуре, зависим от их объектов, которые воздействуют на нас и, в свою очередь, подвергаются нашему воздействию”². Но социология не должна принимать этот мир “на веру” как данное. Наоборот, ее задачей становится исследование природы этой данности.

В обыкновенной социологии эта проблема не возникает. То, что другие люди существуют и их действия имеют субъективный смысл, что люди ориентируют свои действия в соответствии с действиями других, что коммуникация и взаимопонимание возможны, — все это, по Шюцу, предполагается как данное. Предполагается, но не анализируется. В таком случае теория и методы социологии не могут быть адекватно обоснованы, а их строгость и научность оказываются столь же эфемерными, сколь и объективность любого нормального человека, который руководствуется интересами своего дела. Может ли в таком случае наука претендовать на объективность?!

Шюц предпринимает своеобразную философско-социологическую одиссею: он рассматривает становление социальной объективности начиная с элементарнейших процессов конституирования

¹ Schutz A. Collected Papers. Vol. 1. Hague: Nijhof, 1962. P. 79.

² Schutz F. Collected Papers. Vol. 3. Hague: Nijhof, 1966. P. 116.

ния, порождения смыслов в “потоке опыта”, обращаясь к конституированию “объектов опыта”, затем “значимых действий”, обладающих “субъективным смыслом” (в духе Вебера) и т.д. вплоть до конституирования объективных социальных структур во взаимодействии индивидов. Это, по мысли Шюца, и есть социология жизненного мира.

Независимо от того, как оценивать результаты шюцевского исследования, стремление ввести понятие жизненного мира в социологию оказалось весьма плодотворным, о чем свидетельствует последующее развитие дисциплины. Понятие жизненного мира стало общепринятым (хотя и потеряло ту строгость, которую имело в контексте феноменологической философии); во многих более поздних концепциях социологии жизненный мир как мир непосредственной человеческой жизнедеятельности стал противопоставляться “системе” как совокупности объективированных жестких структур, принудительно воздействующих на поведение людей. Это понятие применяется в социологии, как правило, интуитивно, ему недостает строгой определенности, иногда жизненный мир отождествляется с тем, что можно назвать обыденной жизнью, а иногда — с миром культуры. Но широкое применение этого понятия симптоматично, так как указывает на то, что используя только объективистский социально-структурный подход, невозможно объяснить процессы, протекающие в обществе. Можно сказать, что социология “тоскует” по жизненному миру, но до сих пор не в состоянии войти в него, хотя предложено достаточно много версий понимающей социологии, которая как раз и считает познание жизненного мира своей главной задачей и целью.

Понимание как социологическая методология

От изложения философских оснований социальной феноменологии Шюца перейдем к рассмотрению практиковавшихся в ней методологических принципов. Шюц ведь не только феноменолог, представляющей публике (прежде всего американской публике, ибо, эмигрировав из Австрии во время Второй мировой войны, он большую часть жизни проработал в США) несколько социологизированную версию темной германской философии. Он в то же время и социолог, четко осведомленный о специфике и задачах этой не философской, а позитивно-научной дисциплины

и об ее принципиальных отличиях от философии. Основная задача общественных наук, в частности, социологии, справедливо констатирует Шюц, — получать упорядоченное значение социальной реальности. “Под термином «социальная реальность», — пишет он, — я понимаю всю совокупность объектов и событий внутри социокультурного мира как опыта обыденного сознания людей, живущих своей повседневной жизнью среди себе подобных и связанных с ними разнообразными отношениями взаимодействия. Это мир культурных объектов и социальных институтов, в котором все мы родились, внутри которого мы должны найти себе точку опоры и с которым мы должны наладить взаимоотношения. С самого начала мы, действующие лица на социальной сцене, воспринимаем мир, в котором мы живем, — и мир природы, и мир культуры — не как субъективный, а как интерсубъективный мир, т.е. как мир, общий для всех нас, актуально данный или потенциально доступный каждому, а это влечет за собой интеркоммуникацию и язык”. Пока что Шюц не выходит за пределы констатаций, свойственных понимающей социологии Макса Вебера. Но далее уже звучат феноменологически окрашенные тезисы. Во-первых, говорит Шюц, все формы натурализма и логического эмпиризма просто принимают на веру эту социальную реальность, которая, собственно, и является предметом изучения в общественных науках. Интерсубъективность, взаимодействие, коммуникация и язык и обеспечиваемое ими взаимное понимание индивидов в конкретных социальных контекстах просто предполагаются как неявное основание этих теорий. Неявно предполагается, что социолог уже решил все эти фундаментальные проблемы до того, как начинается научное исследование. На самом же деле именно объяснение того, как возможно такое взаимопонимание людей, остается задачей обществоведа.

Для объяснения этого взаимопонимания Шюц и выдвигает идею “понимания” как “механизма” повседневного мышления и взаимодействия. “Тот факт, — говорит Шюц, — что в обыденном мышлении мы принимаем на веру наши актуальные или потенциальные знания о значении человеческих действий и их результатов, является, я думаю, именно тем, что ученые-обществоведы хотят выразить, когда говорят о понимании, или *Verstehen*, как технике, имеющей дело с человеческими действиями. Понимание — это не метод, используемый в общественных науках, а особая форма

опыта, в которой обыденное сознание получает знание о социальнокультурном мире... Более того, понимание — это, вне всяких сомнений, личное дело наблюдателя, который не может быть проконтролирован посредством опыта других наблюдателей. По крайней мере, он поддается контролю лишь в той степени, в какой личные чувственные восприятия индивида поддаются контролю любого другого индивида в определенных условиях. Например, при слушании дела в суде присяжных, где обвиняемый показал «злой умысел» или «намерение» убить человека, т.е. мог знать о последствиях своего поступка и т.д. Здесь мы имеем даже определенный «Устав судопроизводства», заканчивающийся «процедурными правилами» в юридическом смысле и своего рода верификацией полученных данных, которые являются результатами понимания Апелляционного суда и т.д. Более того, прогнозы, основанные на понимании, пользуются большим успехом в обыденном сознании. То, что должным образом проштампованное и адресованное письмо, опущенное в почтовом ящике в Нью-Йорке, будет получено адресатом в Чикаго, — нечто большее, чем просто счастливая случайность”¹.

Хотя Шюц и утверждает, что понимание — не метод естественных наук, он отнюдь не отвергает трактовки понимания именно как социологического метода. Он говорит о необходимости проводить четкое различие между пониманием, как 1) формой опыта в обыденном мире; 2) эпистемологической проблемой; 3) специфическим методом общественных наук.

То, что было процитировано двумя абзацами выше, есть описание понимания как формы повседневного опыта. Постановка же понимания как эпистемологической проблемы неизбежно ведет, с точки зрения Шюца, к гуссерлевской проблеме жизненного мира, в котором обнаруживаются многообразные мыслительные “механизмы” и конструкции, такие, как синтез, обобщение, формализация, идеализация и др., которые лежат в основе как обыденного мышления, так и науки. Естественно, говорит Шюц, что естествоиспытатели в своих исследованиях абстрагируются от жизненного мира, но именно он и оказывается той самой социаль-

¹ Шюц А. Социальная реальность и повседневная ситуация // Американская социологическая мысль: Тексты. М.: Международный университет бизнеса и управления, 1966. С. 533.

ной реальностью, которой не уделяют внимания общественные науки, но которая должна стать едва ли не центральным предметом их интереса.

Такое философское (эпистемологическое) решение позволяет по-новому взглянуть на методологические проблемы, специфичные именно для социальных наук. С одной стороны, понятно, что, как это показывал еще Макс Вебер, точное следование методологическим предписаниям естествознания не приводит к познанию социальной реальности как опыта повседневной жизни людей. С другой стороны, теория, направленная на объяснение социальной реальности, должна развивать особые, незнакомые естественным наукам схемы для того, чтобы согласовываться с повседневной практикой социального мира. Этим в действительности и занимаются все науки о человеке — от экономики до культурной антропологии. Они конструируют идеальные объекты, соответствующие специфическим смыслам и значениям, которые вложены в те или иные из исследуемых учеными социальных феноменов самими действующими в рамках этих феноменов человеческими индивидами. Ведь в отличие от объектов, которые изучает естествоиспытатель, эти феномены уже осмыслены и интерпретированы индивидами, в их головах уже есть, сконструирован идеальный образ этих самых объектов. Поэтому идеальные конструкции феноменов, создаваемые социологом, представляют, по выражению Шюца, конструкторы второго порядка, или конструкторы конструкторов, созданных действующими лицами на социальной сцене, чье поведение обществовед должен наблюдать и объяснять в соответствии с принципами своей науки.

Таким образом, исследование основных принципов, в соответствии с которыми человек в повседневной жизни организует свой опыт и, в частности, опыт социального мира, является первостепенной задачей методологии общественных наук. Одновременно это исследование оказывается и прояснением собственной методологии обществознания.

Шюц в своих работах дал множество образцов анализа типических конструкторов повседневного мышления, на которых мы здесь не имеем возможности остановиться. Важно лишь подчеркнуть, что, как показывает шюцевский анализ, большинство конструкторов повседневного мышления или типических описаний мотивов, ситуаций и структур поведения, которые употребляются

людьми в обыденной жизни для описания собственного поведения и поведения своих близких, вполне совместимы с соответствующими описаниями, применяемыми специалистами в науках об обществе. Эти конструкты обыденного мышления могут объяснить, по крайней мере частично, что обществовед имеет в виду, говоря о структурно-функциональном подходе к изучению человеческого поведения. Концепция функционализма, говорит Шюц, — по крайней мере в современных общественных науках — происходит не из биологической теории функционирования организма, как это обычно считается. “Она относится к социально классифицированным конструкциям моделей типичных мотивов, целей, личностных позиций, которые инвариантны и, следовательно, интерпретируются как функции структуры самой социальной системы. Большинство этих взаимосвязанных моделей поведения стандартизовано и институционализировано, т.е. их типичность социально оправдана законом, фольклором, нравами и обычаями, и большинство из них используются в обыденном и научном мышлении в качестве схем интерпретаций человеческого поведения”¹.

Здесь дан лишь самый общий очерк некоторых главных методологических положений социальной феноменологии Шюца. Но уже на этой основе можно сделать два важных вывода. Первый вывод состоит в том, что концепция Шюца, в определенном смысле, представляет собой развитие понимающей социологии Вебера. Шюц сам это однозначно демонстрирует, показывая, что, если структуры повседневного мышления представляют собой конструкты первого уровня, на которых должны надстраиваться конструкты второго уровня, конструкты общественных наук, и если общественные науки действительно направлены на объяснение социальной реальности, то научные конструкты второго уровня также должны включать в себя ссылку на субъективное значащее действие, т.е. на значение, которое имеет действие для самого действующего лица. Это и есть, говорит Шюц, то, что Макс Вебер подразумевал под своим знаменитым постулатом о субъективной интерпретации. Этот постулат подразумевает, что все научные объяснения социального мира могут и в определенном смысле

¹ Шюц А. Социальная реальность и повседневная ситуация. С. 538.

должны ссылаться на субъективное значение действий людей, которые, собственно и представляют собой основание социальной реальности.

Второй же вывод состоит в том, что концепция Шюца, сколь она ни кажется на первый взгляд опровержением современной социологии в том, что касается ее методологических оснований, на самом деле не является теоретической альтернативой современной социологии. Она лишь пытается объяснить — и объясняет зачастую более точно, чем традиционная методология, — происхождение социально-научных теорий и их изначальную глубинную связь с повседневной реальностью, т.е. с социокультурным миром, в котором живут и действуют практические социальные индивиды. Более того, она показывает, что сами ученые, изучающие общество, представляют собой в некоторой степени обыденных индивидов, не только практические действия, но и теории которых определяются в конечном счете их повседневными конструктами, зачастую в почти неизменном виде входящими в их теоретические объяснения. В этом последнем смысле методологическая концепция Шюца представляет собой прекрасное объяснение механизмов культурной обусловленности всякого научного познания. Как будет видно из следующей главы, на механизмах такого рода, хотя представления о них произошли совершенно из других теоретических источников, оказалось сосредоточенным внимание представителей постпозитивистской критики науки.

1.5

Резюме

В первой главе рассматриваются основные этапы развития социологического познания XIX—XX вв., истолкованные как этапы развития представлений о специфике социологического опыта, т.е. опыта социологии как науки. Социология возникла одновременно и, если можно так выразиться, в одном блоке с философией позитивизма. Она венчала собой классификационную пирамиду наук, построенную основателем позитивизма О. Контом и должна была воплотить в себе самый дух позитивизма как исследовательской и в то же время социально активной и социально

полезной идеологии. Социология с самого своего возникновения понимала себя как эмпирическая наука, или, если использовать выражение М. Вебера, наука о действительности. Эмпиризм у Конта, хотя и утверждался как принципиальная позиция, во многом оказался декларативным. Его главные интересы оказались лежащими в области умозрительных построений типа “религии человечества”. Лишь в работах классиков социологической мысли, прежде всего Э. Дюркгейма, социология, так же, как и ее метод, обрела черты, характерные для “позитивной науки”. В “Правилах социологического метода”, призвав исследовать социальные факты “как вещи”, Дюркгейм сформулировал первую последовательную социологическую методологию, одновременно эксплицировав особенности социологического опыта, специфического по своей природе и отличающегося от опыта других наук. Для дюркгеймовского понимания социологического опыта оказалось характерным абстрагирование от непосредственности опыта живущих в социальном мире индивидов, что делало возможным применение по отношению к нему статистических и вообще количественных методов изучения.

Социология Дюркгейма стала основой так называемого объективистского направления в социологической теории и методологии, которое впоследствии — на всем протяжении XX столетия — не только составило мейнстрим социологической мысли, но и обрело черты чего-то вроде социологического здравого смысла — неэксплицируемой, да и не нуждающейся в экспликации, часто просто неосознаваемой идеологии, лежащей в основе всякого эмпирического социального исследования. Парадоксально, что практически одновременно с дюркгеймовским вариантом в работах таких классиков социологии, как Макс Вебер и Георг Зиммель, сформировались альтернативные по отношению к дюркгеймовскому позитивизму и объективизму концепции социологии, опиравшиеся на совершенно иное представление о социологическом опыте.

Согласно Веберу, специфичность социологического опыта состоит в том, что основополагающим элементом исследуемой социологом реальности является “субъективно подразумеваемый смысл”, т.е. смысл, которым наделяют свои действия социальные индивиды. Другими словами, в основе социологического находится не видение социальных фактов как вещей, а непосредственный опыт самих действующих. Именно он и является конституи-

рующим элементом социального. Вебер назвал свой вариант социологии понимающей социологией, сделав ее главным методологическим орудием так называемое понимание (*Verstehen*), сочувствующее переживание, открывающее социологу доступ к “подразумеваемым смыслам” действия.

Социологическая концепция М. Вебера ознаменовала собой рождение альтернативной по отношению к объективистской традиции понимающей социологии, связанной с именами Дж. Мида, У. Томаса и др. Хотя многие из исследований в рамках этой традиции зиждились на иных философско-мировоззренческих основаниях, чем социология Вебера, они соединялись в своем антипозитивистском, антиобъективистском пафосе и в своей трактовке социологического опыта как непосредственного опыта социальных индивидов, деятельно, “творчески” интерпретирующих и тем самым создающих собственный социальный мир.

Существенным развитием и углублением позиций понимающей социологии стала социальная феноменология А. Шюца, поставившего на основе феноменологической философии вопрос о соответствии методологических орудий, применяемых в позитивистской социологии, социальному опыту самих действующих в обществе индивидов. Вообще понимающая социология с самого своего возникновения не ставила своей целью опровержение и “уничтожение” позитивистской альтернативы.

2

ПОЗИТИВИЗМ В МЕТОДОЛОГИИ

2.1

Многообразие позитивизма

Конвенциализм и реализм

Позитивизм — очень часто и неразборчиво употребляемый термин. Существует масса разновидностей позитивизма, укорененных, прежде всего, в философской традиции. Даже если согласиться с чисто технической интерпретацией позитивистских тезисов, например, с требованиями эмпирического обоснования гипотез и теорий, остается большой философский вопрос: является ли это требование чистой конвенцией, облегчающей ученым взаимопонимание и обеспечивающей совместимость выдвигаемых теорий (вопрос об объективной истинности познания в этом случае не ставится), или оно гарантирует объективное знание независимых от человеческого познания закономерностей природы и общества. Эти позиции именуются соответственно конвенциализмом и реализмом. В исследовательской практике социологов эти, а также и другие мировоззренческие вопросы, как правило, не ставятся. Но тем не менее именно философские вопросы о природе социального познания лежат в основе большинства современных методологических дискуссий.

Двенадцать позитивизмов

Англичанин П. Хафпенни насчитал целых двенадцать позитивизмов¹. Позитивизм-1 — это контовский закон трех стадий —

¹ Halfpenny P. Positivism and Sociology: Explaining Social Life. L.: George Allen and Unwin, 1982, P. 114—121.

философско-историческая концепция, рассматривающая знание как двигатель прогресса и источник социальной стабильности. Позитивизм-2 — это также контовская теория познания, согласно которой единственным источником подлинного знания является наука, основанная на наблюдении. Позитивизм-3 — это концепция единства науки, по которой, согласно Конту, все науки должны быть соединены в единую естественную систему. Позитивизм-4 — это контовская секулярная религия человечества, главной целью в которой является служение обществу. Следующим после Конта представителем философии позитивизма стал Г. Спенсер. Позитивизм-5 — это спенсеровская теория истории, согласно которой двигателем и основой прогресса, гарантом возникновения высших общественных форм является конкурентная борьба все более и более дифференцирующихся индивидов. Позитивизм-6 — это теория познания, согласно которой, по идее Дюркгейма, естественная наука социология состоит в сборе и статистическом анализе количественных данных о жизни общества. Позитивизм-7 — это теория значения, соединяющая в себе феноменализм и логический метод, объединяемые принципом верификации, согласно которому, как утверждает философия логического позитивизма, значение высказывания состоит в методе его верификации. Затем следует позитивизм-8 — также разрабатывавшаяся в философии логического позитивизма программа объединения наук на основе синтаксиса и семантики. Позитивизм-9 — это разрабатывавшаяся К. Гемпелем теория познания, согласно которой наука представляет собой корпус взаимосвязанных, истинных, простых, точных и широкоохватных универсальных законов, лежащих в основе любого объяснения и предсказания. Позитивизм-10 — это теория познания, по которой наука представляет собой совокупность каузальных закономерностей, служащих для объяснения и предсказания феноменов. Позитивизм-11 — теория научного метода, согласно которой развитие науки происходит путем индуктивования законов на основе наблюдения и свидетельств эксперимента. Основоположником такого взгляда был Ф. Бэкон. Позитивизм-12 — это выдвинутая К. Поппером теория научного метода, согласно которой наука развивается, выдвигая гипотезы и стремясь к их опровержению, благодаря чему опровергнутые гипотезы элиминируются, а неопровергнутые сохраняются в науке. В разное время разные группы и индивиды поддерживали позитивизм в каком-либо из указанных вариантов.

Некоторые из позитивизмов, говорит Хафпенни, кажутся сейчас архаичными и вышедшими из моды, например, религиозный позитивизм-4. Исторические теории (позитивизм-1, иногда именуемый сциентизмом, и позитивизм-5, известный как социальный эволюционизм) не имеют отношения к проблемам эпистемологии и методологии. Позитивизм-2 тождествен традиционному эмпиризму. Согласно Конту, а также множеству последующих позитивистов, позитивное знание (в противоположность теологическому и метафизическому) — это эмпирическое знание, которое является единственно надежным, или единственно научным видом знания, поскольку основывается на наблюдении, или, в широком смысле слова, на эксперименте. Этому характерному для позитивизма взгляду противостояли точки зрения тех, кто полагал, что имеются альтернативные источники надежного знания. Это, во-первых, традиционные рационалисты, считающие, что разум дает нам неоспоримые истины о мире, во-вторых, марксисты, полагающие, что единственно надежные знания — те, что опосредствованы практикой, действием, благодаря которым мы получаем истинное знание о мире и возможность изменить мир.

Эпистемологический позитивизм-2 был развит логическими позитивистами, согласно взглядам которых, наука состоит не только из эмпирических данных, а включает в себя также аналитические суждения, что дает место в науке математике и логике. Позитивизм-7 с его принципом верифицируемости стремится таким образом оправдать свое расширение позитивизма-2: все научные суждения являются осмысленными суждениями, верифицируемыми логическим либо эмпирическим путем.

Позитивизм-2 как в традиционном эмпиристском облике, так и в адаптированном логико-позитивистском обличьи непременно включал и социальные науки. Это означает, что любое надежное социальное знание является эмпирическим (или, с точки зрения логических позитивистов, эмпирическим и аналитическим). Таким образом, в позитивизме-2 содержалась основа концепции единства науки, обозначенной выше как позитивизм-3. Эта концепция именуется также натурализмом. Позитивизм-8 оказывается, следовательно, лингвистической версией концепции единства науки, которая, хотя на первый взгляд кажется далеко ушедшей от первоначальных интенций эмпиризма (позитивизма-2), на самом деле оказывается его новой формулировкой: все науки ис-

пользуют один и тот же словарь наблюдения, обращаясь с его единицами по одним и тем же формальным правилам. Именно эта эмпиристская (или расширенная, логико-эмпиристская) версия позитивизма вызывает больше всего критики в социальных науках. Критики либо утверждают, что имеются другие, кроме логико-эмпирического, основания для единства науки, либо идут дальше, говоря, что наука вовсе не является единой, хотя бы потому, что в социальных науках, в отличие от естественных, налицо совсем другие источники познания, такие, как интроспекция и понимание (*Verstehen*). Собственно говоря, такого рода разделение и оказывается основой выделения двух ветвей в развитии социологической методологии, о чем уже говорилось в гл. 1. Позитивисты-эмпиристы в качестве контраргументов выдвигают либо соображения о том, что даже эти альтернативные источники познания дают нам в конечном счете те же чувственные восприятия, с которыми можно обращаться по тем же самым правилам, что сформулированы в теории познания эмпиризма (позитивизм-2) или логического эмпиризма (позитивизм-7), либо заявляют, что эти другие источники знаний, даже если признать их альтернативную природу, все равно дают нам лишь гипотетическое знание, которое, для того чтобы стать надежным знанием, должно быть подвергнуто стандартной для эмпиризма процедуре эмпирической верификации¹.

Позитивизм-11 (индуктивизм) и позитивизм-12 (гипотетико-дедуктивистский подход) могут рассматриваться как разновидности позитивизма-2, описывающие два различных способа получения научных законов и теорий на основе опыта. Позитивизм-6 представляет собой разработку способа, каким позитивизм-2 (в форме позитивизма-11 либо позитивизма-12) должен быть применен к социальным наукам. Он предполагает, что эмпирическая база должна состоять в количественных описаниях, а гипотетические закономерности должны верифицироваться с использованием статистических процедур. Но такое соотношение позитивизма-2 и позитивизма-6 не является необходимым. Социологи, не являющиеся сторонниками статистики и количественных методов, но симпатизирующие эмпиризму (позитивизм-2) — ка-

¹ Abel Th. The Operation Called *Verstehen* // American Journal of Sociology. Vol. 59. P. 211—218.

ковы, например, многие из символических интеракционистов — выдвигают иные, не соответствующие предписаниям позитивизма-6 способы соотнесения социологических теорий с данными.

Позитивизм-9 и позитивизм-10, хотя и представляют собой распространенные характеристики позитивизма, могут быть восприняты как разновидности позитивизма, только если принять дополнительные концепции закона и причинности. Позитивизм-9 и позитивизм-10 оспариваются теми из социологов, кто утверждает, что социальные феномены должны объясняться телеологически, т.е. с точки зрения намерений и целей, лежащих в их основе. Под этим суждением подписываются функционалисты, считающие, что социология должна быть отделена от естественных наук, поскольку предметом последних являются естественные феномены, не имеющие целей в том же смысле, что феномены социальные. Позитивисты-9 и позитивисты-10 отвечают на эту критику либо отвергая идею цели как метафизическую (что делал еще Кант), либо стараясь показать, что телеологическое объяснение представляет собой не что иное как концептуализацию системы каузальных связей, для которой характерно наличие негативной обратной связи. В таком случае функциональные закономерности становятся разновидностью каузальных закономерностей, телеологическое объяснение оказывается формой каузального объяснения, а функционализм — формой позитивизма, а именно: позитивизма-9.

Закljučая краткое рассмотрение предложенной П. Хафпенни классификации позитивизмов, отметим, что социологи используют самый широкий спектр позитивистских подходов. Далеко не всегда это использование сопровождается достаточной философской рефлексией. Наиболее распространенным подходом в среде социологов является использование количественных методов сбора и обработки данных, когда как сами методы, так и получаемые при их посредстве результаты априори рассматриваются как надежные и не подвергающиеся сомнению. Более того, часто они рассматриваются как единственно существующие и единственно возможные методы и результаты социологического изучения. Это чисто ремесленный подход, когда социология трактуется просто как набор приемов, дающих искомый результат. Для философского рассуждения о том, соответствуют ли применяемые методы специфике познаваемого объекта, могут ли полученные результаты быть транслированы в непосредственный контекст человечес-

ких целей и ценностей и т.д. и т.п., здесь просто не остается места. Если в процессе такого изучения все же возникают проблемы, они трактуются как технические ошибки, которые принято решать путем уточнения операциональных понятий и дальнейшей отработки количественных техник и статистических процедур. Более продвинутым вариантом того же подхода может быть сознательное намерение строить социологию как естественную науку с использованием естественно-научных по своему происхождению принципов и методологий.

Можно сказать, что в обоих рассмотренных случаях мы имеем дело с крайностью, происходящей, может быть, из-за недостаточного внимания к развитию философско-методологических дискуссий относительно природы и характеристик социального знания. Другой крайностью оказывается стремление по философским основаниям полностью отвергнуть позитивистский (как бы ни понимался позитивизм) образ социальной науки и лечь на курс, предлагаемый антипозитивистскими программами социологии, как они, например, описаны в предыдущей главе. Эти программы отвергают позитивизм на том основании, что предписываемый им образ социальной науки, строящейся по модели естественных наук, не соответствует человеческой природе и природе общества. Каждый раз, когда эти программы возникали (например, формирование феноменологической социологии, или новейшей современной микросоциологии знания), они обещали революционный переворот в науках об обществе. До сих пор, однако, этого переворота не произошло. Объяснением здесь может служить предположение о том, что сами эти альтернативные концепции недостаточно глубоко разработаны, чтобы с успехом противостоять позитивистской социологии, имеющей долгую и глубокую традицию, в результате чего позитивизму удастся с большим или меньшим успехом освоить, адаптировать эти попытки и включить их в собственную программу. Во всяком случае, любая альтернативная программа социологического познания и исследования всегда оказывалась антипозитивистской и всегда была нацелена против позитивизма как преобладающего и центрального направления в социологии, как социологического истеблишмента.

Новое развитие в социокультурной сфере позволяет увидеть некоторую иную перспективу в развитии социологической философии и методологии, когда альтернативные концепции будут

рассматривать себя не как антипозитивистские, т.е. предлагающие себя как бы вместо позитивизма в качестве главной социологической методологии, а как просто еще одну из методологий, существующих наряду с позитивизмом и имеющую собственное основание в пестром и многофасеточном человеческом обществе. Такой подход обещает распространяющееся мировоззрение постмодернизма, предполагающее, в частности, дробление и “фрагментацию” социологического опыта. Подробнее об этом будет сказано в гл. 3.

Позитивизм-6 как практическая социологическая идеология

По классификации П. Хафпенни, позитивизм-6 — это идеология количественных исследований в социальных науках, в частности в социологии. На самом деле эта идеология соединяет в себе многие черты и других описанных выше позитивизмов.

Во-первых, она предполагает уверенность в том, что методы и процедуры естественных наук полностью и по праву применимы в социальных науках. Эта уверенность сопровождается убеждением в том, что специфика объектов социально-научного познания, т.е. людей, которые мыслят, общаются, приписывают смысл объектам среды и т.д., т.е. обладают характеристиками, которыми не обладают природные объекты, — эта специфика не является основанием для отказа применять для их изучения естественно-научные методы.

Один из самых выразительных сторонников применения естественно-научных методов к изучению социальных явлений Дж. Ландберг писал: “Когда мы создаем методики отчета о «субъективных» явлениях таким образом, чтобы наблюдения можно было сообщать и подтверждать, они представляют собой такие же объекты научного изучения, как и любые другие данные. «Объективное» и «субъективное» поэтому оказываются не внутренне присущими качествами различных типов явлений, а скорее обозначением достигнутого уровня развития проверяемых средств сообщения наших наблюдений. Таким образом различие между данными социологии и данными физических наук оказывается скорее кажущимся, нежели реальным. Мы не получаем физические данные

сколь-нибудь более непосредственно или объективно, чем информацию социальную — за исключением случаев, когда нами разработаны более адекватные приборы и символы для записи физических данных. Единообразие физических данных, составляющее основу физических наук, наблюдается также и в отношении социальных данных...

Научные законы определяют конкретные простые и часто искусственные условия, при которых явление ведет себя определенным образом. В этих условиях поведение можно прогнозировать с высокой степенью точности. Аналогичным образом мы можем предсказать с высокой степенью точности, сколько людей в конкретном городе родится, умрет, покончит жизнь самоубийством, либо вступит в брак в предстоящий год *исходя из того, что существенные условия, на которых основаны наши наблюдения, остаются неизменными*. Эти условия всегда должны быть точно определены в нашем прогнозе и могут быть довольно многочисленными и сложными. Прежде чем мы сможем точно определить все существенные условия, потребуется длительное и тщательное изучение окружающей среды. Однако это — *sine qua non* для всех без исключения научных законов. *Таким образом, трудности, которые, как представляется, могут препятствовать превращению знаний об обществе в подлинную науку, проистекают не столько из различий, внутренне присущих самим данным, сколько из нашей несовершенной методики и методологии исследования и вытекающего отсюда нашего незнания*¹.

Во-вторых, неотъемлемой чертой позитивизма-б, или, может, лучше сказать “практического социологического позитивизма”, является уверенность в том, что познаны могут быть лишь явления, доступные наблюдению, т.е. доступные нашему чувственному восприятию. Причем доступность может быть как прямой, т.е. явления могут наблюдаться, так сказать, невооруженным глазом, так и косвенной, когда явления наблюдаются при посредстве инструментов. Будучи сформулированной на философском уровне, такая позиция выступает под именем феноменализма. В рамках феноменализма всякого рода субъективные состояния типа “чувств”, “намерений” и т.п. отвергаются как метафизические сущ-

¹ Lundberg G. Social Research. N.Y.: Longmans: Green and Co, 1942. P. 426.

ности, обоснованное знание о которых, по сути, невозможно. Феноменализм не тождествен эмпиризму, хотя эти две философские доктрины часто отождествляются. В то же время феноменализм как учение об ограниченности познания данными опыта является логическим следствием эмпиризма как учения о необходимости основания знания на эмпирическом фундаменте.

В практическом мировоззрении позитивизма-6 обе эти доктрины находят свое выражение в методологическом требовании принимать в качестве переменных только феномены, доступные эмпирической фиксации. Это не есть принципиальное ограничение познавательных возможностей социологии, как об этом иногда говорят. Наоборот, этим постулируется необходимость развития инструментов социологического познания, открывающих для социологии все более широкие горизонты опыта. Здесь можно повторить слова Дж. Ландберга о том, что трудности в познании субъективных состояний проистекают не столько из особенностей природы этих состояний, якобы недоступных наблюдению, сколько из несовершенства методики и методологии наблюдений.

Современные методики, такие, как каузальный анализ, методы, почерпнутые из матричной алгебры, теории графов и др., существенно расширяют имеющиеся возможности и делают доступным для количественного исследования огромный спектр "субъективных состояний". Другое дело, что в ходе такого прогресса оказывается нерешенным огромное количество методологических проблем, поскольку речь здесь всегда идет об интерпретации как самих этих "субъективных состояний", так и используемых для их экспликации эмпирических индикаторов, а в этом деле активно участвуют невыявляемые предпосылки, коренящиеся в повседневном опыте исследователя. В результате часто то, что мыслится в качестве объективного индикатора таких индивидуальных или коллективных состояний, как, например, тревожность, сплоченность или намерение, оказывается лишь метафорой, которая, в отличие от метафор, применяемых в должном контексте, т.е. в поэтическом произведении, не столько проясняет, сколько затемняет истинное положение дел, хотя (также в отличие от поэтического употребления метафор) создает ощущение научной строгости.

В-третьих (речь по-прежнему идет о практической социологической идеологии в рамках так называемого позитивизма-6),

предполагается, что научное знание складывается в результате накопления верифицированных фактов, относящихся к той или иной области науки. Получение достаточно большого количества фактов приводит к формированию эмпирических закономерностей, сочетание которых, в свою очередь, ведет к формированию теории, описывающей ту или иную область реальности (в науках об обществе — социальной жизни). Доктрина, состоящая в том, что научное знание прогрессирует путем накопления эмпирических фактов, именуется индуктивизмом. Индуктивизм относится к числу традиционных философских концепций, сыгравших огромную роль в формировании эмпирической науки. Однако в XX в. доктрина индуктивизма была подвергнута серьезной критике на том основании, что “факты” не бывают “чистыми”, а всегда теоретически нагружены и оказываются продуктом часто неосознанного применения интерпретационных процедур, причем в этих интерпретациях играют большую роль не только ошибки и иллюзии, порождаемые нашими органами чувств, но и индивидуальные и групповые идиосинкразии и интересы. Кроме того, с самого момента возникновения концепций индуктивизма подчеркивались логические проблемы индуктивного обобщения, по самой своей природе не дающего логически необходимого знания. Другими словами, индукция, на каком бы гигантском наборе фактов она ни основывалась, всегда говорит о том, что было, но по самой своей природе не способна сформулировать высказывание о том, что будет или должно быть. Такая ситуация, с одной стороны, ведет к здоровому самоограничению науки в том, что касается ее претензий на познание мира (“наука говорит о том, что есть, а не предсказывает будущее”), но, с другой стороны, приводит саму науку к логическому противоречию: открываемые ею законы имеют универсальный и обязательный характер, хотя они строятся на необязательном индуктивном основании. Поэтому индуктивизм дополняется дедуктивизмом, о котором говорится далее.

В-четвертых, к позитивистскому видению науки вообще и социологии в частности относится представление о наличии, так сказать, обратной связи между теорией и эмпирическими фактами. Всегда существует возможность на основе теории сформулировать дедуктивную гипотезу относительно, скажем, связи между двумя переменными, которую затем можно подвергнуть эмпирической проверке. Если гипотеза доказана, теория считается под-

твержденной (corroborated), хотя это и не означает суждения об ее истинности. Если же гипотеза не находит эмпирического подтверждения, теория считается ложной и отвергается (элиминируется). Эта концепция именуется дедуктивизмом. Если индуктивизм — это доктрина, подчеркивающая роль позитивных подтверждений (ее развитием применительно к философии науки является верификационизм), то дедуктивизм — доктрина, подчеркивающая роль негативных фактов, т.е. опровержений (ей соответствует так называемый фальсификационизм). Если ученый исповедует индуктивизм, он ориентирован на поиск подтверждений своей теории, если он исповедует дедуктивизм (соответственно фальсификационизм), он ориентирован на поиск опровержений, т.е. на более строгое испытание своей теории. Он стремится не просто доказать, что он прав, а продолжает испытать свою правоту. Его конечная цель — *exregimentum crucis*. Дедуктивизм, или гипотетико-дедуктивистский метод, как он был сформулирован К. Поппером, придал истории науки более драматический облик по сравнению с тем, как она выглядела в рамках “плоского” индуктивизма. Подробнее об этом будет сказано в этой главе при изложении концепции К. Поппера. Но одновременно дедуктивно-гипотетическая модель развития науки, предложенная Поппером, открыла “ящик Пандоры”, т.е. породила целый ряд концепций критики науки от теории парадигм Т. Куна до анархической эпистемологии П. Фейерабенда, которые подвергли сомнению вопрос об объективности и надежности научного познания и даже само право науки считать себя привилегированной инстанцией в вопросе познания. Об этом речь пойдет в следующей главе.

И наконец, *в-пятых*, позитивизму в социологии свойственна особая позиция по вопросу о ценностях. Как указывает А. Браймен, позитивисты считают необходимым прояснить свою позицию по вопросу о ценностях в двух отношениях¹. С одной стороны, считается необходимым, чтобы социолог в процессе исследования стремился в максимально возможной степени очиститься от ценностных суждений, предпочтений, предрассудков и т.п., которые могут воспрепятствовать объективности познания и, следовательно, негативно отразиться на надежности и обоснованно-

¹ Bryman A. *Quantity and Quality in Social Research*. L.: Unwin and Hyman, 1988. P. 15.

сти выводов. С другой стороны, позитивистски ориентированные ученые стремятся с максимально возможной точностью проводить различие между научными и нормативными проблемами и суждениями. Фактически это оказывается проведением границ между наукой и не-наукой. Научные суждения — это те, которые поддаются эмпирической проверке. Нормативные суждения эмпирической проверке не поддаются. В этом различии одновременно и выразительно проявляются как теоретико-познавательная, так и социально-ценностная природа позитивизма. С точки зрения теории познания, позитивистский подход к науке — это эмпирический подход. Научные суждения основаны на опыте и проверяются опытом. С социально-ценностной точки зрения позитивизм нейтрален. Разумеется, позитивизм может подвергнуть изучению любую ценностную позицию в соответствии с собственными методологическими предписаниями и выявить ее возможное воздействие на разные стороны социальной жизни, но он никогда не сможет, да и не стремится подтвердить или опровергнуть какую бы то ни было ценностную позицию.

Позитивизм-6 в этих его пяти признаках, в кратком виде сформулированных упомянутым выше А. Брайманом, представляет собой как бы обобщенный образ научности в социологии: желание соответствовать идеалу (в смысле приверженности естественно-научной модели познания), принципиальная опора на опыт, стремление избегать неверифицируемых спекуляций, строгая и неукоснительная проверка собственных идей, идеологическая нейтральность и неподкупность в высшем смысле слова, т.е. отсутствие идеологических предрассудков, политических привязанностей и т.д. В определенном смысле, позитивистский идеал науки, в том числе социальной науки — это идеал познания ради познания. Надо сказать, что последняя констатация противоречит представлениям самих позитивистов о социальной роли науки. Начиная с Конта научное познание рассматривается ими как движитель и гарант социального прогресса. Собственно, сам контовский закон трех стадий отождествляет социальный прогресс с прогрессом знания, вершиной которого является наука. Парадоксальным образом, с точки зрения позитивистской методологии именно незаинтересованное научное познание является гарантом реализации главных социальных интересов — овладения природой, социальной стабильности и растущего удовлетворения всех челове-

ческих потребностей, причем с точки зрения той же самой методологии позитивизм не имеет права и возможности обосновать эти интересы как важные и первостепенные. Там, где это обоснование все же имело место — у самого Конта в законе трех стадий или в близком в определенном отношении к позитивизму марксизме, — там оно оказывалось выходом за пределы позитивистского образа научности в область идеологии, в область нормативного и “метафизического”.

2.2

Позитивизм и социальный контекст науки

Нормативная организация академического сообщества (“республика ученых”)

Немецкий философ Г. Шпинер выдвинул идею о существовании в современном мире, наряду с экономическими и политическими институтами, институционального порядка распределения и сохранения знаний. Шпинер анализирует следующие “порядки знаний”:

- академический порядок знания, где реализуются классические принципы свободы знания и преподавания;
- архивно-библиотечный порядок знания для сохранения задокументированного знания;
- конституционно-правовой порядок знания, ориентированный на обеспечение свободы мнения, информационных и прочих, связанных со знаниями, прав личности;
- экономический порядок знания, где знания коммерциализованы и рассматриваются в качестве товара;
- технологический порядок знания, где обеспечивается техника изготовления и “процессирования” знаний;
- бюрократический порядок знания, где сосредоточены документы и данные, управляемые в согласии с определенными принципами, которые локализованы где-то “между служебной тайной и демократической открытостью”;

- военно-полицейский порядок знания для особого рода знания, связанного с проблемами безопасности, — техническое, бюрократическое, политическое тайное знание для потребностей правительства, военных ведомств, секретных служб;

- интернациональный порядок знания, обеспечивающий внутригосударственный и соответственно международный поток новостей, с одной стороны, и развлекательной информации — с другой, прежде всего через посредство массмедиа¹.

Не вдаваясь в анализ концепции Шпинера как таковой, обратимся к его представлениям об академическом порядке знаний, который, с нашей точки зрения, можно рассматривать одновременно и как идеальный образ науки, и как описание места науки в обществе с идеально-позитивистской точки зрения. Академический порядок знания, по Шпинеру, охватывает свободное исследование и преподавание. Задачей “актеров”, действующих в рамках этого порядка, является изготовление и распространение знания, что осуществляется путем исследований и публикации их результатов. В этой сфере производится почти исключительно “чистое” теоретическое знание, элементы эмпирической информации почерпываются как бы извне самого этого порядка, и служат они целям “внешней” проверки теоретических достижений. На названные цели ориентируется, по существу, вся внутренняя структура этого порядка (совокупность ценностей и норм, регулирующих поведение индивидуумов). Это нормы и ценности улучшения, распространения и постоянной критики получаемых знаний невзирая на наличие чуждых науке интересов, практические затруднения деятельности, воздействия власти. Эти нормы и ценности как раз и являются конститутивными принципами классического порядка знаний, основанного на идее “коммунизма знаний”, господствующего в рамках научного сообщества. Руководящей ценностью сообщества является прогресс познания, состоящий в достижении максимально всеобщего, истинного, как можно более точного и надежного знания. “Отделения”, характерные для классического порядка знания (науки от собственности, знания от интересов и т.д.), мыслятся и здесь в качестве конституирующих. В качестве основных институтов этого порядка знаний выс-

¹ Spinner H. Die Wissensordnung. Ein Leitkonzept für die dritte Grundordnung des Informationszeitalters. Opladen: Leske, 1994. S. 16—17.

тупают академические учреждения (университеты, исследовательские институты и лаборатории, частично научные отделы промышленных корпораций, занимающиеся фундаментальными исследованиями). Институциональные роли: эксперт, исследователь, ученый.

Если говорить в терминах парадигм, то парадигма “научности” в данном случае включает классические нормы научной этики (мотивация на познание, преследование истины, честность в представлении научных результатов, открытость по отношению к критике и т.п.), нормы научного метода (объективность, проверяемость), а в отношении с внешним миром — исполнение функции научного консультирования как независимой экспертизы.

Огромным преимуществом этого порядка знаний по сравнению с другими порядками является наличие исторически сложившейся “инфраструктуры критики для целей систематической коррекции ошибок”. Собственно говоря, сама критика науки в целом (в частности критика науки с позиций социологии знания, как она была представлена в предыдущей главе), а также механизм смены научных парадигм могут рассматриваться как один из элементов “встроенной” инфраструктуры критики. Поэтому можно предположить, что академический порядок знания является одним из самых защищенных от ошибок и сознательной дезинформации когнитивных секторов общества. Если так, то академическая сфера — та сфера, где царит наибольшая справедливость, ибо главной предпосылкой последней являются открытость для критики и равенство шансов.

Разумеется, нельзя считать, что эти ценности реализуются в академической среде в абсолютно чистом виде. Речь идет об идеально-нормативной структуре научного сообщества, а если подойти к делу методологически, то об идеально-типическом его образе. Реальные процессы во многом не совпадают с идеальным типом. Кроме того, сама парадигма академического сообщества претерпевает изменения как с точки зрения ее функциональных отношений с широким обществом, так и в своем внутреннем строении. Оба этих направления изменений взаимосвязаны. Выше говорилось, что характерное для эпохи модерна “онаучивание” общества реализовывалось не только в научно-техническом и индустриальном развитии как таковом, но прежде всего в том, что парадигма “республики ученых” явилась своего рода образцом, на который ориентировалось как понимание роли “гражданина”, так

и создание демократических политических учреждений. Можно сказать в духе классических концепций модерна, что академическое сообщество было парадигматическим образцом общества вообще. По мере дальнейшего развития его место и роль в обществе изменились. Оно превратилось из всеобщей парадигмы в один из элементов — и нельзя сказать, что самый значимый, — плюралистического порядка знаний. Академическое сообщество со всеми его нормами, институтами и структурами (академический порядок знаний вообще), если и не маргинализировалось, то во всяком случае стало одним из многих “сообществ знания” и не может претендовать на прежнее исключительное место в мире.

Параллельно процессу изменения места академического порядка в обществе идет процесс размывания его стабильных прежде норм. Во-первых, по мере роста масштабов исследований и превращения научных лабораторий в грандиозные “фабрики” по производству знания прежняя парадигматическая “республика ученых” превращается в современную высокоорганизованную корпорацию с бюрократическими структурами, четкой иерархией, разделением функций и секторов ответственности. Это ведет к изменению нормативной среды, прежде всего к подавлению критики, которая не только затрудняется в силу возникновения жестких бюрократических иерархий, но и фактически становится почти невозможной по причине глубокого разделения функций в ходе исследований. “Соседние” аспекты исследования становятся непрозрачными для коллег.

Во-вторых, главный персонаж классической модели академического порядка — ученый, исследователь, университетский профессор, творящий одиноко и свободно, исчезает со сцены; на его место приходит энергичный и деловитый, включенный в сеть властных, экономических и прочих интересов научный менеджер. Согласно шюцевской концепции науки как конечной области значений (об этом речь пойдет в настоящей главе), ученый, входя в свой кабинет, как бы стряхивает с ног своих прах повседневного мира, полного практических забот и интересов, и остается свободным наедине с вечностью, которую воплощает в себе наука; это образ ученого, отвечающий классическому периоду академического порядка знаний. Этот классический ученый — космополит, как космополитична и наука вообще, ибо научные пробле-

мы всеобщи и не знают национальных границ. Современный научный менеджер, вплетенный в сеть властных отношений, не может не принимать в расчет как национальной, так и локальной политики, в результате чего его сознание становится ареной конфликта между высшими интересами науки и локальными интересами общественных сил.

То же самое происходит и в отношении экономических интересов. Коммерциализация науки и ее связь с промышленностью превращают результаты исследования в товар. Знание перестает быть общественным достоянием — достоянием всего человечества, как в классической “республике ученых”, а становится частной собственностью (автора, заказчика, государства), что практически выводит его за рамки академического порядка знаний, который в результате начинает, конечно, разрушаться.

В итоге ученый оказывается перед лицом трудно разрешимой дилеммы, которая, как это ни парадоксально звучит, не является дилеммой в рамках норм академического порядка: ориентироваться ему в своей научной деятельности на свободный рынок или на бюрократические иерархии? Возникает и другая дилемма: чем является для него наука — призванием или службой?

Параллельно вопросам, которые возникают перед отдельным ученым, самому академическому сообществу, а также регулирующим и планирующим науку организациям приходится разрешать такие же дилеммы: развивать академическое самоуправление или, наоборот, переводить науку под управление бюрократических государственных организаций? Как определять стратегию исследований: исходя из целей чистого познания или из интересов лиц и инстанций, финансирующих исследования? Публиковать все, как того требует научная этика, или “секретить” данные по политическим, да и экономическим соображениям?

Как бы ни решались эти вопросы в каждом конкретном случае, тенденция состоит во все более активном проникновении в академический порядок знаний норм и принципов, характерных для совсем иных порядков. В лучшем случае речь идет об усложнении отношений между академическим и другими (бюрократическим, военным, экономическим, правовым и пр.) порядками знаний. В худшем — о разрушении классического академического порядка знаний и формировании на его месте какого-то нового порядка, или о замещении академического порядка другими, например, названными порядками знаний.

Академический порядок знания охарактеризован столь подробно потому, что именно в нем воплотилась характерная для позитивизма когнитивная традиция онаучивания общества и редукции знания к научному знанию. Сперва маргинализация, а затем и тенденция к разложению академического порядка под натиском других порядков знания стали одним из знаков наступления новой социокультурной эпохи — постмодерна, характеризующегося, помимо прочего, когнитивным плюрализмом. Подробнее об этом будет сказано в гл. 3.

Научная деятельность как “конечная область значений” (феноменологическое описание)

Анализ академического порядка знаний нуждается в прояснении места индивидуума в рамках этого порядка. Собственно говоря, институциональная структура академического порядка и определяет собой социальную роль ученого в те или иные моменты исторического развития, а также и когнитивный стиль, характерный для этой эпохи. В данном случае речь идет о позитивизме как когнитивном стиле, присущем равно и естественным и социальным наукам. Для характеристики его мы обратимся к концепции А. Шюца, представившего научную деятельность как конечную область значений.

Здесь необходимо сказать несколько слов в объяснение этого термина.

Основатель социальной феноменологии А. Шюц в предметно-телесной закреплённости видел “преимущества” повседневности по сравнению с другими сферами человеческого опыта, которые он называл конечными областями значений (*finite provinces of meaning*). Наряду с повседневностью это такие сферы, как религия, сон, игра, научное теоретизирование, художественное творчество, мир душевной болезни и т.п. Он определял эти области как конечные, потому что они замкнуты в себе и переход из одной области в другую не только невозможен, но и требует определенного усилия и предполагает своего рода смысловой скачок. Например, переход от увлекательного романа или захватывающего кинофильма к реалиям повседневной жизни требует некоторого усилия, заключающегося в переориентации нашего восприятия на “иную” реальность. Религиозный опыт также резко отличается

от опыта повседневности, и переход от одного к другому требует определенной душевной и эмоциональной перестройки. То же можно сказать и о других случаях.

Значения фактов, вещей, явлений в каждой из этих сфер опыта образуют целостную систему. Одна и та же вещь, например, лепешка из пресного теста, имеет разные значения в религии, науке, повседневной жизни. В каждой из названных сфер ее значение входит в целостную, относительно замкнутую систему значений. Эти системы сравнительно мало пересекаются, поэтому соответствующие сферы опыта и названы конечными областями значений. Но я бы предпочел именовать их *мирами опыта*: мир сна, мир игры, мир науки, мир повседневности и т.д.

Возникает вопрос: как можно сопоставить, скажем, сон и повседневность? В жизни все реально, мы имеем дело с настоящими предметами, а во сне все ирреально. Или: как сопоставить сказку и повседневность? В сказке есть и Кощей Бессмертный, и Конек-Горбунок, и ковер-самолет — фиктивные, воображенные существа и предметы, а в повседневности нас окружают реальные, объективные вещи. Так чем же нужно руководствоваться, сопоставляя эти конечные области значений?

Дело в том, что, рассуждая о конечных областях значений, мы не затрагиваем вопрос об объективном существовании фактов и явлений в данных областях. И у нас есть на это полное право. В этом и состоит специфика феноменологического подхода. Ведь речь идет не о том, что объективно, а что не объективно; и в одном, и в другом, и в третьем, и в пятом случае мы имеем дело со сферами *опыта*. А все, что нам известно о мире, мы знаем из нашего опыта. Но в качестве содержания нашего опыта Конек-Горбунок существует так же, как стул, хотя и не так же. И в конечном счете невозможно доказать, что на самом деле стул существует, а Конек — нет. Если я скажу, что видел и трогал стул, и даже сидел на нем, а Конька не видел и не трогал, то это глупо: мало ли чего я не видел и не трогал, каракатицу, например, я тоже не видел, но ведь не утверждаю, что каракатица не существует.

Эти “философские тонкости” помогают нам понять, как отличить мир повседневности от других миров опыта. Во всех случаях человек имеет дело с опытом, но как неотъемлемая часть опыта повседневности выступает переживание объективного существования вещей и явлений — то, чего, как правило, нет в других

мирах опыта: в сказке и мифе, во сне, в игре, в науке (например, идеальной прямой в реальности не существует), в искусстве и т.д. По мнению Шюца, именно это качество опыта повседневности — телесно-предметное переживание реальности, ее вещей и предметов — и составляет ее преимущество по сравнению с другими конечными областями значений. Поэтому, говорил он, повседневность является “верховой реальностью”. Человек живет и трудится по преимуществу в ней, но, отлетая мыслью в те или иные сферы, всегда и неизбежно возвращается в мир повседневности¹.

Теперь — о науке, или о “научном теоретизировании”, как говорит Шюц, как о “конечной области значений” или “конечной сфере опыта”. Шюц не принимает во внимание экспериментальную, “деятельностную” сторону науки, справедливо полагая, что научное экспериментирование остается по сию сторону повседневной жизни, оно представляет собой одну из областей трудовой повседневности, когнитивный стиль которой определен наличием в ней практических целей, составлением проектов и реализацией деятельности для их достижения.

Научное теоретизирование, полагает он, не практическая трудовая деятельность, а созерцание, предполагающее принятие особой созерцательной, или теоретической установки. Но надо отделить научное теоретизирование от теоретизирования иного рода. В нашей повседневной жизни мы много размышляем, составляем всякого рода проекты, сравниваем в уме возможности их разрешения, продумываем разные направления деятельности. Все это можно с полным правом назвать теоретизированием, но это еще не научное теоретизирование, ибо здесь мы размышляем с практическими целями, будь то воспитание детей, устройство на работу, выбор банка и т.д. и т.п. Это, говорит Шюц, просто теоретический “анклав” в мире повседневности, а не конечная область значений.

Научное теоретизирование или научная теория в строгом смысле слова — это теоретизирование, которое “не служит практическим целям. Его цель — не овладение миром, а наблюдение и понимание его”². Такой подход вполне обоснован с точки зрения социологии повседневности, ибо, если можно вообще говорить о науке

¹ Подробнее о конечных областях значений и о концепции повседневности А. Шюца см.: Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М.: Логос, 2000. Гл. 2.

² Schutz A. Collected Papers. Vol. 1. P. 245.

как определенной специфической сфере опыта, то это будет именно научное теоретизирование. Ибо прикладная наука, как это следует из самого этого названия, есть приложение, применение научных результатов к потребностям жизни, т.е. к целям, рождающимся и живущим в повседневном мире. В свою очередь, эксперимент в науке — также целеориентированная деятельность, ее цели лежат вне ее самой, они задаются научной теорией. Получается, что с точки зрения учения о конечных областях значений теоретическая наука и есть собственно наука, ибо она не преследует никаких целей, коренящихся в мире практической трудовой деятельности. Так же, как мы отличаем науку от повседневной жизни, можно отличать ученого как обыкновенного человека, руководствующегося целями повседневной жизни, от ученого именно как ученого, не ставящего перед собой цели овладения миром или изменения мира, но стремящегося обрести знание о мире путем его наблюдения.

Эта, как говорит Шюц, установка “незаинтересованного наблюдателя” характеризуется особым родом жизненной активности (*attention a la vie*). Она состоит в разрушении всей системы релевантностей, которая определяет деятельность в практической сфере — в сфере так называемой естественной установки, и в создании новой специфичной системы релевантностей. Основой системы релевантностей в естественной установке, говорит Шюц, является “фундаментальная тревога”, т.е. боязнь или стремление избежать смерти, каковая и регулирует, и определяет все сложнейшие и разветвленнейшие системы важного и неважного, значимого и незначимого, все системы жизненных целей и мотивов индивидуумов. В теоретической установке фундаментальная тревога отсутствует. Если с точки зрения практической установки релевантно, т.е. должно приниматься в расчет, все, что может каким-либо образом повлиять на достижение стоящих перед индивидуумом практических целей, то с точки зрения теоретической установки совершенно безразлично, повлияет ли идея на жизненную практику, важно лишь, выдержит ли она проверку опытом. Такая установка предполагает некоторую отвлеченность от интересов жизни, т.е. некоторое ослабление жизненной активности, свойственной трудовой практической сфере.

Поскольку теоретическая мысль не действует активно во внешнем мире, ее результаты обратимы. Результаты практических действий необратимы. Можно, конечно, предпринять определенные

усилия и вернуть ситуацию, возникшую в результате некоторой деятельности, в исходное состояние. Но нельзя сделать бывшее небывшим. Этот факт отражается и в морали, и в законодательстве — судят не за умысел, а за действия. Факт обратимости теоретической деятельности предполагает, что ее результаты могут быть пересмотрены, отменены, изменены безо всяких последствий для реального мира.

Отсюда выводится важное следствие: для теоретика несуществен, нерелевантен факт физической достижимости или недостижимости того аспекта мира, который является предметом его мысли. Для нормального человека, планирующего деятельность в рамках естественной установки, существует, как говорит Шюц, “точка 0” — собственное тело, рассматриваемое как центр, по отношению к которому располагается весь остальной мир. Для теоретика такой точки нет. “Переходя в сферу теоретического мышления, человек «заключает в скобки» свое физическое существование, а с ним и собственное тело, и всю систему ориентаций, для которой его тело является центром и источником”¹. Это значит, что все приватные и личные проблемы, возникающие естественным образом в повседневном мире и в значительной мере определяющие в нем содержание человеческой деятельности, в мире теоретической установки не имеют значения. Получается, что теоретик осмысливает мир не прагматически, с точки зрения собственных партикулярных интересов, а универсально, так, что его решения проблем значимы везде, всегда и для каждого человека. Вместе с собственным телом он “заключает в скобки” свою субъективную позицию и точку зрения.

Можно говорить о специфическом *epoche* теоретической установки. По Шюцу, в ней “берется в скобки”: а) субъективность мыслящего, т.е. он сам как психофизическое существо, как телесное существование в мире; б) система ориентаций, связанная с телесностью мыслящего, т.е. вся система категоризации мира в терминах “близкий — далекий”, “достижимый — недостижимый”, “действительный — воображаемый” и т.д.; в) фундаментальная тревога и вся система коренящихся в ней личных и прагматических интересов и целей.

Но это не означает, что деятельность теоретика совершенно произвольна и ничем не регулируема, что мир его бесструктурен,

¹ Schutz A. Collected Papers. Vol. 1. P. 248.

т.е. в нем отсутствует система релевантностей как система регуляторов важного и неважного, необходимого и случайного и т.д. Эта система, говорит Шюц, вводится первым актом выбора исследовательской проблемы. Именно *проблема* предопределяет структуру мира теоретика, которая в свою очередь диктует как стратегию, так и тактику теоретической деятельности.

Но не следует думать, что сам этот акт выбора проблемы — свободный, произвольный акт. Конечно, большую роль в этом выборе играет индивидуальная склонность, но, выбирая, он ограничен тем, что предоставляет ему историческая традиция науки, точнее, той ветви знания, в которой он работает. Уже в момент выбора он несвободен в том смысле, что набор имеющихся проблем, так же, впрочем, как и предполагаемых методов их решения, имеющихся данных, способов достижения результатов и т.д. и т.п., определен другими — теми, кто работал в науке до него. Шюц даже считает возможным говорить о специфическом когнитивном стиле, присущем каждой отрасли науки. В этот стиль фактически включается то, что Т. Кун вкладывает в понятие научной парадигмы¹. Поэтому можно сказать, что выбор проблемы уже есть выбор парадигмы, который достаточно жестко предопределяет всю дальнейшую деятельность теоретика, строит, так сказать, всю систему его релевантностей вплоть до самого широкого представления о мире и его познании, т.е. до методологии и эпистемологии.

Итак, выбор проблемы свободен, но он предполагает отсутствие свободы в выборе парадигмы или когнитивного стиля, в котором работает данная наука. Как сказал Гете, “свободен первый шаг, но мы рабы второго...” Очень важна природа этой несвободы второго шага, природа необходимости парадигмы или когнитивного стиля. Очень часто ученый, работающий в рамках определенной парадигмы, представляется природным релятивистом либо некритичным подражателем, который работает именно так, как все остальные, только лишь потому, что так работают все остальные. Если следовать Шюцу, такая точка зрения ошибочна. Ученый работает в определенной парадигме не потому, что ему все равно, как работать, или потому, что так делают все остальные, а потому, что только в рамках имеющейся парадигмы или когнитивного стиля проблемы, которыми он занимается, обрета-

¹ О концепции научных парадигм Т. Куна см. далее в настоящей главе.

ют статус реальных проблем, а вся исследуемая область — статус реальности. Благодаря парадигме проблемы соотносятся с реальным объективным миром, в котором действуют реальные люди, в котором имеются реальные объекты и который является “верховой реальностью” — по отношению к ней только и обретают реальность все прочие “конечные области значений”.

Когнитивный стиль (или парадигма, по Куну) оказывается, таким образом, связующим звеном между деятельностью теоретика и реальным миром, обеспечивающим обязательность и необходимость продуктам его созерцательной деятельности и тем самым позволяющим провести различие между научным теоретизированием и простым фантазированием. Последнее лишено обязательных правил, и потому его продукты лишены качества необходимости.

Обретая статус реальности, объекты теоретического созерцания одновременно обретают четко фиксированное место в порядке объективного (космического) времени. Это, подчеркнем, относится к *объектам* научного теоретизирования, но не к *процессу* самого теоретизирования и не к теоретизирующему индивидууму. Последний, согласно Шюцу, располагает своим собственным ощущением временности, длительности, *duree*. Оно, это ощущение, следует не из его причастности как человеческого существа к “живому настоящему” человеческих взаимодействий. Как теоретик он “изъят” из этого настоящего, так же, как и из “стандартного” времени, организующего жизнь социальных взаимодействий, структур и институтов. В той мере, в какой ученый соучаствует в этом стандартном времени (его рабочие часы, расписание дел и т.п.), он выступает не как теоретик, а как повседневный деятель и имеет дело с наукой как институтом, а не чистым теоретизированием. Его же собственное, имеющееся в рамках теоретизирования ощущение времени складывается из восприятия накопленного теоретического опыта и открытого горизонта будущих проблем и их решений.

Если систематически просмотреть все, что говорит Шюц о теоретизирующем “я”, то оказывается, что оно лишено телесного, физического существования, не имеет прагматичного личностного “я”, но также не имеет и ощущения живого настоящего социальных взаимодействий, в которых участвуют люди в рамках естественной установки повседневной жизни. Не будучи сам полно-

ценным человеческим существом, пребывая, по сути дела, в мире абстракций, теоретизирующий индивидуум оказывается неспособным к восприятию других индивидуумов как полноценных человеческих существ. Шюц резюмирует все сказанное в одном, довольно неожиданно звучащем положении: “Теоретизирующий индивидуум одинок: у него нет социальной среды, он стоит вне социальных отношений”¹.

И описание Г. Шпинером академического порядка знаний, и шюцевский анализ научного теоретизирования как конечной области значений демонстрируют, по существу, идеальный образ науки и ученого, как он сложился в ходе исторического развития и был воспринят и концептуализирован в самой влиятельной и распространенной философии науки — в позитивизме. Выше мы говорили о “незаинтересованности” как о принципиальной позиции ученого, единственная цель и единственный интерес которого состоят лишь в получении знания ради знания, и говорили о парадоксальности такой позиции с точки зрения понимания позитивизмом собственной роли в социальном развитии. Решающую роль в преодолении этого парадокса сыграла концепция философии науки Карла Поппера. Однако сама она, в свою очередь, привела к последствиям, поистине разрушительным для позитивистского образа науки.

2.3

Постпозитивизм

Критический рационализм К. Поппера

К основным достижениям К. Поппера в области философии науки относят:

- открытие принципа фальсификации и замену им принципа верификации, характерного для предшествующего этапа — этапа логического позитивизма;
- разделение контекста открытия и контекста обоснования в деле формулирования научных теорий.

¹ Schutz A. *Collected Papers*. Vol. 1. P. 243.

Попытаемся охарактеризовать подробнее оба этих попперовских нововведения в философии науки. Принцип фальсификационизма сформулирован самим Поппером в нескольких фундаментальных положениях¹:

“(1) Легко получить подтверждения, или верификации, почти для каждой теории, если мы ищем подтверждений.

(2) Подтверждения должны приниматься во внимание только в том случае, если они являются результатом *рискованных предсказаний*, то есть когда мы, не будучи осведомленными о некоторой теории, ожидали бы события, несовместимого с этой теорией,— события, опровергающего данную теорию.

(3) Каждая «хорошая» научная теория является некоторым запрещением: она запрещает появление определенных событий. Чем больше теория запрещает, тем она лучше.

(4) Теория, не опровержимая никаким мыслимым событием, является ненаучной. Неопровержимость представляет собой не достоинство теории (как часто думают), а ее порок.

(5) Каждая настоящая *проверка* теории является попыткой ее фальсифицировать, то есть опровергнуть. Проверимость есть фальсифицируемость; при этом существуют степени проверяемости: одни теории более проверяемы, в большей степени опровержимы, чем другие; такие теории подвержены, так сказать, большему риску.

(6) Подтверждающее свидетельство не должно приниматься в расчет за *исключением тех случаев, когда оно является результатом подлинной проверки теории*. Это означает, что его следует понимать как результат серьезной, но безуспешной попытки фальсифицировать теорию.

(7) Некоторые подлинно проверяемые теории после того, как обнаружена их ложность, все-таки поддерживаются их сторонниками, например, с помощью введения таких вспомогательных допущений *ad hoc* или с помощью такой переинтерпретации *ad hoc* теории, которые избавляют ее от опровержения. Такая процедура всегда возможна, но она спасает теорию от опровержения только ценой уничтожения или по крайней мере уменьшения ее научного статуса. (Позднее такая спасательная операция стала называться «*конвенционалистской стратегией*» или «*конвенционалистской уловкой*».)

¹ Der Positivismustreit in der deutschen Soziologie / Adorno Th.W., Albert H., Dahrendorf R. u.a. Neuwied; Berlin: Luchterhand Verlag, 1970. S. 351; см. с. 266 наст. изд.

Все сказанное можно суммировать в следующем утверждении: *критерием научного статуса теории является ее фальсифицируемость, опровержимость, или проверяемость*”.

Эти семь положений, составившие суть попперовской работы “Логика исследования”¹ (хотя в цитируемом здесь виде они были сформулированы гораздо позднее), можно сказать, произвели революцию в философии науки. На смену верификационистской идеологии, характерной для логического позитивизма, пришла идеология фальсификационизма. Верификационизм и индуктивизм считали теорию научной, если было получено ее подтверждение, а Поппер (на том основании, что подтверждение “легко получить, если мы ищем подтверждений”) счел верификацию недостаточной для того, чтобы теория обрела статус научной теории. Если ее нечем опровергнуть, значит она далека от опыта и представляет собой “метафизику” и “спекуляцию”, что не плохо само по себе, но имеет отношение не к науке, а к философии или идеологии. Фальсифицируемость теории, следовательно, оказалась критерием разделения науки и не-науки. Так что, с одной стороны, концепция Поппера усилила мотив эмпиризма, коренной для позитивизма вообще, и в еще большей степени приблизила науку к опыту. Но, с другой стороны, она лишила научные суждения их статуса вечных и неоспоримых истин, превратив их во “временно истинные” и в определенном смысле контекстуально обусловленные. Научные истины, по Попперу, не вечны, наоборот, они живут под постоянной угрозой опровержения, больше того, они тем более научны, чем более опровержимы, и наоборот. Это внесло в научное познание мощную волну релятивизма, что, как мы увидим ниже, для некоторых мыслителей оказалось слишком сильным соблазном и привело их к нигилизму в отношении научного познания вообще.

То же, что было отнесено Поппером к науке вообще, он считал в еще большей степени относящимся к социальным наукам. Так, в одном из выступлений он выдвинул следующие тезисы применительно к социальным наукам²:

¹ Popper K. Logik der Forschung. Wien: Springer, 1934.

² Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. S. 354; см. с. 269 наст. изд.

а) метод социальных наук, так же как и естественных наук, состоит в том, чтобы проверять попытки решения их проблем — проблем, из которых он исходит. Решения предлагаются и подвергаются критике. Если попытка решения недоступна для деловой критики, то она исключается именно из-за этого как ненаучная, хотя бы и лишь временно;

б) если она доступна для деловой критики, то мы пытаемся ее опровергнуть, поскольку любая критика состоит в попытках опровержения;

в) если попытка решения нашей критикой опровергается, то мы пытаемся прибегнуть к другой;

г) если она выдерживает критику, то мы ее предварительно принимаем — т.е. мы принимаем ее прежде всего как заслуживающую дальнейшего обсуждения и критики;

д) итак, методом науки служит проверяемая (*tentativ*) попытка решения (или идея), контролируемая самой острой критикой. Это критическое развитие метода попытки и ошибки (“*trial and error*”);

е) так называемая объективность науки состоит в объективности критического метода. Но это означает прежде всего то, что никакая теория не свободна от критики, а также и то, что логические вспомогательные средства критики — категория логического противоречия — объективны.

При этом Поппер четко противопоставлял свои рекомендации для социальных наук традиционному позитивистскому требованию единства науки, критикуя то, что называется “методологическим натурализмом или сциентизмом”, согласно которому главное достоинство социальных наук состоит в приближении их к методам наук естественных. Это означает, говорит Поппер, предписание для социолога начинать с наблюдений и измерений, т.е. со сбора статистических данных, а затем двигаться индуктивно к обобщениям и созданию теории. Таким образом гарантируется приближение к идеалу научной объективности, насколько это вообще возможно в социальных науках. Поппер считает такие рекомендации сомнительными и ненадежными, так как в социальных науках объективность, если и возможна вообще, то крайне трудно достижима, поскольку объективность означает свободу от оценки, а представитель социальных наук может лишь в очень редких

случаях настолько освободиться от оценок своего собственного общественного слоя, чтобы хоть мало-мальски продвинуться к свободе от оценок и объективности.

Вторым важным достижением Поппера, наряду с фальсификационизмом, стало разделение “контекста открытия” и “контекста обоснования”. Как мы уяснили из социологических описаний научной деятельности в предыдущем разделе (академический порядок знаний и научное теоретизирование как конечная область значений) вся деятельность ученого в традиционном позитивизме мыслилась как отвечающая нормам научной деятельности. Поэтому социология и психология, безусловно, дающие важные знания о повседневной жизни, считались мало что объясняющими в деятельности ученого. Ему нужно было лишь соблюдать методологические предписания, чтобы получать важные научные результаты. Его научная деятельность была как бы “не от мира сего”. Поппер же четко отделил процесс научного открытия от процесса его обоснования. Открытие происходит “в миру”, где на ученого влияют его настроения, социальная среда, предрассудки, случайности и т.д. Из истории науки хорошо известно, что теория может явиться как озарение, присниться и т.п. И здесь открывается обширное поле для психологического, социологического и любого возможного вида исследования. В отличие от широкого и неупорядоченного контекста открытия, контекст обоснования, наоборот, четко нормирован и подвержен строгим методологическим правилам и предписаниям. Именно к контексту обоснования и относятся все приведенные выше методологические предписания, составляющие в целом фальсификационистскую научную идеологию.

Задачей Поппера при разделении контекстов обоснования и открытия отнюдь не являлась релятивизация научного знания. Наоборот, он стремился “вынести за скобки” все неупорядоченное и не поддающееся упорядочению, “загрязняющее” область научной деятельности как таковой. В результате должен был возникнуть гораздо более реалистический, чем в традиционном позитивизме, образ науки. Традиционный образ не выдерживал столкновения с реальностью, был, как мы видели, сильно идеализирован. Такого идеального ученого и таких идеальных научных институтов в реальности не существовало. Поппер же предложил сузить сферу, в которой должны реализовываться методологичес-

кие предписания (и изменить само содержание этих предписаний) и тем самым сделать картину научной деятельности более соответствующей тому, что происходит в реальности.

Попперовская философия науки, называемая также критическим рационализмом, привела к целому ряду последствий, которые оказались неожиданными даже для самого ее создателя. В 60—80-е гг. XX в. именно в рамках критического рационализма стали формироваться концепции, развивающие тенденции релятивизма, содержащиеся в самих попперовских трудах. Это относится, в первую очередь, к концепции научных революций известного историка науки и науковеда Т. Куна, а также к крайне радикальной в отношении выводов из фактов истории науки так называемой анархической эпистемологии П. Фейерабенда. Оба этих направления возникли, разумеется, не только на основе попперовских идей. Они стали в определенном смысле воплощением духа времени, свидетельством наступления новой социокультурной эпохи, названной постмодерном. Подробнее об этом будет сказано в гл. 3. Пока лишь отметим, что названные концепции (так же, как и некоторые другие, на которых мы не можем здесь остановиться) стали — через посредство критического рационализма Поппера — развитием позитивистского наукоучения. Позитивизм и эмпиризм, главной своей задачей видевшие прояснение опыта и экспликацию научной методологии, в лице названных теоретиков пришли в конечном счете сначала к релятивизации результатов научного познания (Кун), а затем к отказу от признания за наукой роли главного источника познания и к отрицанию ее позитивной роли в развитии современного общества (Фейерабэнд). Применительно же к теме настоящей работы важно отметить, что постпозитивистское развитие ознаменовалось резкой социологизацией философии науки. Это отчетливо видно у Куна, показавшего, что критерием успеха научных теорий оказывается не их истинность, как бы она ни понималась, а признание со стороны научного сообщества, т.е. место критерия истины оказалось перенесенным у него из эпистемологии в социологию. Еще более отчетливо это проявляется у Фейерабенда, вообще отказавшегося от рассмотрения научного познания с точки зрения истинности или ложности и превратившего науку в одну из стратегий социального успеха, играющей к тому же весьма двусмысленную роль в социальном развитии.

Концепция парадигмального развития Т. Куна

Суть концепции Куна (по его знаменитой книге “Структура научных революций”, вышедшей в свет в 1962 г.¹) заключается в следующем. В развитии науки чередуются бурные, но сравнительно краткие периоды научных революций и сравнительно протяженные спокойные, стабильные периоды существования так называемой нормальной науки. Нормальная наука зиждется на великих образцах — парадигмах. Как правило, в качестве парадигм выступают эпохальные исследования, или серии исследований, или исследовательские проекты, становящиеся образцом для работы многих других ученых, может быть, даже поколений ученых. Теоретически и методологически все исследования строятся в согласии с этим образцом — парадигмой. Эксперименты организуются так же, как они были организованы в образцовом исследовании. Факты, на которые направляется внимание ученых, — те же или того же рода, на которых строилось парадигмальное исследование. “Нормальная наука”, т.е. наука стабильного, спокойного течения, представляет собой, по существу, воспроизведение того, что было сделано когда-то в образцовом исследовании.

Но постепенно накапливаются факты, не укладывающиеся в парадигму, т.е. противоречащие общепринятому представлению о том, как все устроено и должно происходить. Кун говорит в этой связи об “аномальных явлениях”. Кем-то осуществляется то, что Кун называет экстраординарным исследованием — исследованием, разрушающим старые парадигмальные каноны и закладывающим основы новой парадигмы. С этого момента в ломку старой парадигмы включается все больше ученых. Начинается период научной революции — крушения авторитетов, школ, институтов, моделей и методологий, теорий, мировоззрений, образов мира. Одновременно усиливается влияние новой парадигмы, возникшей на основе экстраординарного научного достижения. Вокруг новых авторитетов собираются сторонники, формируются школы, и научное развитие вступает постепенно в следующую стадию нормальной науки, но уже на новой парадигмальной основе.

¹ Рус. пер. см.: Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975.

Из куновской концепции следуют два важных для нас вывода. Первый: наличие парадигм указывает на исторический, т.е. относительный характер научных теорий и методологических концепций. Старая и новая парадигмы, по Куну, несоотносимы друг с другом и, так сказать, несоизмеримы, что ведет фактически к отрицанию идеи прогресса науки. В традиционных представлениях о науке каждый шаг познания есть добавление к познанному ранее. Движение науки — поступательное движение. С точки зрения теории парадигм развитие науки — это серия кризисов, каждый из которых по-новому организует всю систему знания.

Второй вывод состоит в том, что развитие науки — это по преимуществу социальный процесс. Парадигма формируется как система норм, организующих научное сообщество (нормы организации экспериментов, отбора и интерпретации важных фактов, элиминации не важных и не существенных, написания научных отчетов и т.д. и т.п.) и существует постольку, поскольку научное сообщество следует этим нормам. Развитие науки можно истолковать как совокупность долговременных процессов интеграции и дезинтеграции групп исследователей.

Анархическая эпистемология П. Фейерабенда

Фейерабенд в явном виде сформулировал ряд концепций, подрывающих традиционное наукоучение, в частности, концепцию “недетерминированности” теории эмпирическими данными. Суть ее состоит в том, что эмпирические данные не определяют однозначно истинность или неистинность теории. Всегда возможны несколько теоретических интерпретаций исходных эмпирических данных. На одних и тех же данных могут базироваться несколько даже несовместимых друг с другом теорий.

Другой ревизионистской концепцией стала концепция теоретической “нагруженности” эмпирических данных. Ею предполагается, что суждения научного наблюдателя всегда формулируются в определенном теоретическом и культурном контексте, к тому же наблюдатель использует инструменты и приборы, построенные с учетом определенных теоретических предпосылок и рассчитанные на определенный результат. Если строго придерживаться логики

этой концепции, то нужно будет признать, что эмпирическая реальность или “природа” не может служить объективным критерием истинности наших теорий. Само наше восприятие этой реальности предопределено нашими теориями.

Сам Фейерабенд сделал вполне радикальные выводы из этих и прочих своих теоретических соображений, в частности, выдвинул идею “анархической эпистемологии”, согласно которой наука не есть истинное познание объективного мира, уравнивал науку с прочими способами человеческого познания: магией, мистикой, мифом, искусством и др. “Сегодня наука господствует не в силу ее сравнительных достоинств, а благодаря организованному для нее пропагандистским и рекламным акциям”¹. Наука, говорил он, есть одна из форм идеологии, и ее следует отделить от государства, как это уже сделано в отношении религии.

Он утверждает, что идея строгого эмпиризма или строгой теории рациональности основана на слишком наивном видении человека и его социальной среды. “Для тех, кто наблюдает богатый исторический материал и не стремится обеднить его, дабы удовлетворить свои низкие инстинкты, свое стремление к интеллектуальной безопасности в форме ясности, точности, «объективности», «истинности», — для тех ясно, что есть лишь один принцип, работающий при всех обстоятельствах и на всех стадиях человеческого развития. Этот принцип: все пойдет”².

Как это должно выглядеть на практике? Ученый должен сравнивать идеи с другими идеями, а не идеи с фактами, он должен стремиться улучшить, а не отбросить идеи, не выдерживающие сравнения. Например, он может сравнивать представления о человеке и космосе, содержащиеся в Книге Бытия, с современной теорией эволюции и обнаружить, что теория эволюции не столь совершенна, как об этом обычно думают, и должна быть дополнена (или целиком заменена) усовершенствованным вариантом Книги Бытия.

Надо, кроме того, выдвигать гипотезы, противоречащие надежно подтвержденным фактам, наблюдениям, экспериментальным результатам. Полезность такого подхода, пишет он, не нуж-

¹ Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986. С. 513.

² Там же. С. 159.

дается в особых доказательствах, ибо не существует ни одной интересной теории, которая согласовывалась бы со всеми известными фактами в этой области. Речь, следовательно, идет не о том, должны ли быть признаны в науке противоиנדуктивные теории, а о том, следует ли увеличивать, уменьшать или вообще, что следует делать с существующим рассогласованием теорий и фактов.

Природа “факта” сама по себе двусмысленна в силу, во-первых, изначальной теоретичности факта; во-вторых, обусловленности факта условиями чувственного познания; в-третьих, обремененности факта нашими обыденными предрассудками. Надо стремиться вскрывать эти обычно не замечаемые и не анализируемые самими учеными предпосылки, что может привести к опровержению считающихся ныне наиболее обоснованными результатов наблюдения, поставить под вопрос кажущиеся наиболее приемлемыми теоретические принципы, ввести в обиход восприятия, не имеющиеся в привычном нам перцептуальном мире.

“Не существует идеи, сколь бы древней и абсурдной она ни казалась, которая не могла бы служить совершенствованию наших знаний. Вся история мысли запечатлена в науке и используется для улучшения каждой отдельно взятой теории. Нельзя отвергать также и политическое вмешательство. Оно может быть необходимым для того, чтобы преодолеть шовинизм науки, сопротивляющейся изменениям в *status quo*”¹. Ни одна идея никогда не успевает полностью исчерпать все свои возможности, заменяясь другой, модной идеей, а потому всегда имеются основания для ее возрождения. Прогресс часто достигался “критикой из прошлого”. Пифагорейская идея о том, что земля движется, воспринималась после Птолемея и Аристотеля как “древняя, странная и смешная”. Китайская народная медицина (травы и иглоукалывание и т.д.) долгое время старательно истреблялась как пережиток и шарлатанство и заменялась западной “научной” медициной. Однако она была возрождена по политическим мотивам, по причине “борьбы с буржуазными элементами” (западная наука отождествлялась с буржуазной наукой), и это возрождение привело к неожиданным и совершенно поразительным открытиям как в Китае, так и на Западе, показало неполноту и ограниченность “научной” медицины.

¹ Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. С. 179.

Фейерабенд приводит еще целый ряд примеров, иллюстрирующих, как “сегодняшнее «знание» завтра становится «мифом», а самый смехотворный миф вдруг превращается в краеугольный камень науки”. При этом он подчеркивает: умножение идей часто не может быть осуществлено силами самой науки. Для этого требуются вненаучные средства, обладающие мощью, превосходящей мощь научных институтов: церковь, государство, политические партии, социальная неудовлетворенность, деньги.

Рассмотрев вопрос о необходимости признания теорий, не согласующихся с общепринятыми взглядами, Фейерабенд переходит к вопросу об использовании теорий, не согласующихся с экспериментами, фактами, наблюдениями.

Существует два рода несогласия теорий с фактами: количественное и качественное. Первое обычно не влияет на судьбу теории; просто делаются попытки усовершенствовать наблюдения и добиться “лучших цифр”. Второе гораздо более интересно; здесь речь идет не о малоизвестных несоответствиях, знакомых только специалистам и могущих быть обнаруженными лишь с помощью сложных приборов, а о расхождениях, непосредственно наблюдаемых и широко известных.

Очевидным примером такого несоответствия можно считать теорию Парменида о неизменном и однородном Едином, противоречащую почти всем фактам нашего опыта, но использовавшуюся на протяжении тысячелетий от Анаксимандра до Гейзенберга. Затем следует ньютоновская теория цвета, вопиющие несогласия которой с фактами преодолевались посредством введения гипотез *ad hoc*. Далее Фейерабенд рассматривает классическую электродинамику Максвелла — Лоренца, приводит целый ряд примеров из области квантовой механики, когда для спасения теории, очевидным образом не согласующейся с фактами, вводятся гипотезы и приближения *ad hoc*. Вывод: “Современная математическая физика изобилует приближениями *ad hoc*”. Но если это так, говорит Фейерабенд, то как поступать с методологическим требованием, гласящим, что о теориях следует судить с точки зрения опыта и что они должны быть отвергнуты, если противоречат принятым базовым положениям? Как относиться к различным концепциям подтверждения и корроборации, которые зиждутся на представлении о том, что теории должны полностью согласовываться с известными фактами, и которые используют степень этого согла-

сия как критерий оценки теорий? Это требование, эти концепции оказываются совершенно бесполезными. Они бесполезны, как лекарство, излечивающее больных только в том случае, если те освободились от бактерий. На практике им никто не следует.

Внимательно рассмотрев все эти обстоятельства, можно заключить, что теория может быть не согласной с фактами не потому, что она неверна, а потому, что факты могут быть искажены. Они могут содержать непроанализированные восприятия, лишь частью восходящие к внешним процессам, они могут быть представлены в терминах устаревших концепций или истолкованы при помощи отсталых вспомогательных дисциплин. (Коперникова теория, как будет показано далее, страдала от всех этих причин, вместе взятых.)

Что же остается? На каких основаниях можно в таком случае производить сравнение и выбор теорий? Каковы практические выводы, которые должны следовать из такого видения науки? “Остаются, — отвечает Фейерабенд, — эстетические суждения, суждения вкуса, метафизические предрассудки, религиозные влечения, короче, остаются наши субъективные устремления. Наука в ее наиболее передовой и абстрактной форме возвращает индивиду свободу, которую он, казалось бы, теряет, вступая в ее более устоявшиеся, более привычные сферы”¹.

“Таким образом, наука оказывается гораздо ближе к мифу, чем это готова признать научная философия. Это одна из многих форм мышления, выработанных человеком, и не обязательно лучшая из них. Она шумна, криклива, нескромна, однако ее врожденное превосходство по отношению к другим формам очевидно только для тех, кто заранее приготовился решать в пользу некоторой идеологии, или для тех, кто принимает ее, не задумываясь даже о ее возможностях и границах. Поскольку же принятие или отказ от принятия какой-либо идеологии должно быть личным делом индивида, то отделение государства от церкви должно быть дополнено отделением государства от науки — этого самого нового, самого агрессивного и самого догматичного религиозного института. Такое отделение дает нам шанс, может быть единственный, достигнуть подлинно человеческого состояния, которое свойственно нам потенциально, но никогда не было реализовано полностью”².

¹ Feyerabend P. *Against Method. Outline of the Anarchistic Theory of Knowledge*. L.: Verso, 1972. P. 295.

² *Ibid.* P. 296.

Государство и наука ныне тесно взаимосвязаны, и особенно это сказывается в сфере образования. “Родители шестилетнего ребенка могут решать, обучать ли его основам протестантизма, еврейской веры или вообще пренебречь религиозным обучением; применительно же к наукам они лишены выбора — физика, астрономия, история обязательны. Их нельзя заменить изучением магии, астрологии, легенд”¹. Более того, в ходе обучения факты и принципы науки подаются не в историческом аспекте. “Не говорят: некоторые полагают, что Земля крутится вокруг Солнца, тогда как другие считают, что... Говорят так: Земля крутится вокруг Солнца; все остальное — идиотские выдумки”².

Особенный метод, которым якобы обладает наука, это миф. Он скрывает свободу принятия решений, которой обладают, даже в пределах самых жестких и самых прогрессивных областей науки, как творческие ученые, так и широкая публика. Воспевание “объективных критериев” служит для того, чтобы “большие шишки” в науке (нобелевские лауреаты, руководители лабораторий, научных организаций, школ, деятели на ниве образования и т.д.) чувствовали себя в безопасности и были изолированы от масс (дилетанты, специалисты во вненаучных сферах, эксперты в других областях науки)... Так ученые обманывают самих себя и других, и не без прямой выгоды: у них больше денег, больше власти, больше sex арреал, чем они заслуживают, самые глупые процедуры и самые нелепые результаты в их области окружены аурой величия. “Пора, — заключает Фейерабенд, — их урезать, пора дать им более скромное место в обществе”³.

Книга Фейерабенда “Против метода” по своей значимости оказалась сравнимой с работой Т. Куна “Структура научных революций”, которая, впрочем, получила гораздо более широкое признание. Возможно, ученых устраивал имплицитный релятивизм Куна, но не устраивала прямая атака Фейерабенда на самые основы научного мировоззрения. Ибо Фейерабенд шел дальше Куна. Там, где Кун давал феноменологию научных революций, Фейерабенд стремился перейти к социологическому объяснению, там, где Кун ограничивался абстрактными науковедческими суждения-

¹ Feyerabend P. Against Method. P. 301.

² Ibid.

³ Ibid.

ми, Фейерабенд находил конкретный социальный интерес. В общем, то, что у Куна было спрятано в подтексте и не обязательно даже подразумевалось им самим, Фейерабенд извлек на свет дня и сформулировал с полемической и политической остротой.

Л. Флек о возникновении научного факта

В предисловии к своей вышедшей первым изданием в 1962 г. книге “Структура научных революций” Т. Кун в качестве одного из источников своих идей указал “почти неизвестную” монографию Л. Флека “Возникновение и развитие научного факта”¹, опубликованную в Базеле в 1935 г. Действительно, польский медик и бактериолог Людвик Флек гораздо раньше, чем Кун, пришел к практически тем же самым вполне революционным выводам². В основу его подхода легли два понятия, аналогичные основным понятиям концепции Куна. Там, где Кун говорит “парадигма”, Флек употребляет понятие “стиль мышления”, там, где у Куна фигурирует сложившееся уже в послевоенное время понятие “научное сообщество”, Флек употребляет термин, который можно перевести как “мыслительный коллектив”, или “коллектив мышления” (Denkkollektiv). Эти понятия он вырабатывает на основе пристального изучения истории медицины, а точнее, изучения истории представлений о сифилисе, начиная от Средневековья и до первой трети нынешнего столетия. Он приходит к выводу о том, что даже самые, казалось бы объективные и четкие описания болезненных явлений и человеческой анатомии являются социально сконструированными.

¹ Fleck L. Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Frankfurt a. M., 1994 (рус. пер.: Флек Л. Возникновение и развитие научного факта. М.: ДИК, 1999).

² Людвик Флек родился в 1886 г. в австро-венгерском Львове, где окончил университет и занял место ассистента, затем доцента по кафедре биологии. В 1939 г., когда Львов стал советским, медицинский факультет университета был преобразован в Украинский медицинский институт, где Флек продолжил работать в качестве доцента и заведующего отделом микробиологии. С захватом Львова гитлеровцами Флек потерял работу, был вывезен с семьей в Львовское гетто, а затем в Освенцим и Бухенвальд. После войны работал в Польше, затем в Израиле, где и умер в 1961 г. Его революционная по идеям книга, опубликованная в 1935 г., осталась практически незамеченной по причине разразившейся вскоре после ее выхода Второй мировой войны.

В зависимости от теоретических предпосылок, которых врачи и биологи придерживаются, они видят в одном и том же явлении совершенно разные вещи в зависимости от того, что соответствует практикуемому ими стилю мышления, и не видят то, что этому стилю мышления не соответствует. На основе собственных бактериологических штудий Флек заключает, что беспредпосылочного наблюдения не существует; наблюдение проходит две фазы: сначала первоначальное “неясное видение”, а затем непосредственное “формовидение” (*entwickelte Gestaltsehen*), когда воспринимается и видится именно то, что может и должно быть воспринято в соответствии со стилем мышления, практикуемым наблюдателем¹. “Неясное видение”, говорит Флек, “бесстильно”, т.е. спутано, хаотично, в нем не воспринимается фактическое, стабильное, фиксированное, наблюдатель не “наталкивается” на нечто жесткое — на “факт”. “Формовидение”, наоборот, есть прямое и непосредственное восприятие факта, формы, замкнутой целостности. Здесь важны два момента. Первый: формовидение не есть логическое умозаключение; Флек в нескольких местах подчеркивает, что это прямое, непосредственное усмотрение факта. Второй: “формовидение” предполагает наличие предшествующего опыта наблюдения в соответствующей области. Это тренированное научное видение; подразумевается тренировка в рамках определенного “стиля мышления”. Но, научившись видеть нечто, ученый одновременно утрачивает способность видеть формы, противоречащие избранному стилю мышления. В результате оказывается: что бы ни наблюдал ученый, результаты его наблюдения неизбежно будут подтверждать ранее принятую им теорию. Флек формулирует это следующим образом: “Каждое эмпирическое открытие... может рассматриваться как дополнение, развитие, преобразование принятого стиля мышления”².

Ясно, что мы имеем здесь дело с имплицитной критикой идеи прогресса науки. Развитие науки, по Флеку, это развитие определенного стиля мышления коллективом ученых или мыслительным коллективом, который придерживается определенных представлений о предмете исследования. При этом нет критерия для определения сравнительных достоинств различных комплексов пред-

¹ Fleck L. Op. cit. S. 121.

² Ibid. S. 122.

посылок, различных стилей, поскольку речь не идет о более или менее тождественном предмете познания. Каждый “стиль мышления” более или менее замкнут в себе и дополняется, развивается, преобразуется сам по себе независимо от прочих стилей. Если принять во внимание, что каждый из них имеет дело с разными наблюдаемыми “формами”, т.е. в конечном счете с разными предметами познания (Флек неоднократно говорит о “несоизмеримости точек зрения мышления” в рамках разных стилей), то станет ясно, что о прогрессе науки как целостного знания о мире здесь говорить бессмысленно.

У Флека имеется множество интересных и ценных соображений о процессах, протекающих в рамках “мыслительного коллектива”, о социологических и историко-культурных детерминантах научных открытий. В целом его подход релятивизирует не только различные позиции в рамках науки, но и формы знания вообще, ставя под вопрос как самоидентификацию науки в качестве рациональной формы знания, так и ее привилегированную познавательную позицию в сравнении с другими формами знания¹. Флек практически предвосхитил все идеи релятивистской философии науки 1960-х—1970-х гг.

2.4 Резюме

В данной главе рассматривается развитие позитивистской философии XX столетия с точки зрения формирования ее основных мировоззренческих принципов и в связи с методологией социологического исследования, Многообразие концепций и направлений позитивизма сводится к трем основным: 1) логический позитивизм, сформулировавший основные идеи философии науки, ставшей идеологией эмпирического исследования; 2) так называемый критический рационализм К. Поппера, обосновавший новую, фальсификационистскую методологию науки, дра-

¹ См.: Schnelle T., Baldamus W. Mystic Modern Science? Sociological reflections on the Strange Survival of the Occult within the Rational Mechanistic Worldview // Zeitschrift für Soziologie. 1987. N 7.

матизировавший процесс формирования научной картины мира; 3) так называемый постпозитивизм, связанный с именами Т. Куна, П. Фейерабенда и других теоретиков, которые, отталкиваясь от основных положений попперовского критического рационализма, пришли к релятивистским выводам относительно роли и места науки в обществе.

Т. Кун пошел по пути социологизации теории науки, сделав критерием его истинности не объективность познания, а соответствие неким предписаниям, господствующим в сообществе ученых. Естественным развитием такой позиции должна была стать подмена эпистемологии социологией науки, что и осуществилось позже в концепции так называемой когнитивной микросоциологии, о чем будет сказано в гл. 3.

Фейерабенд оказался радикальнее Куна, в своей “анархической эпистемологии” прямо отказав науке как в праве претендовать на объективное общеобязательное познание, так и в позитивной оценке ее роли в общественном развитии. В концепциях постпозитивизма (прежде всего у Фейерабенда) позитивистская философия науки, можно сказать, превратилась в свою противоположность, сосредоточившись на последовательной и жестокой критике науки, став философией “антинауки”. В этом она оказалась соответствующей духу эпохи, понимающей себя как эпоха разложения модерна и наступления постмодерна. Из содержания следующей главы станет ясным место постпозитивизма в развитии и преобразовании духа современности.

Хотя постпозитивизм играет двусмысленную роль в развитии современных представлений о науке, поддерживая и обосновывая позиции воинствующего антисциентизма, он внес много нового в развитие представлений о сложной и многоплановой реальности функционирования науки в обществе. В определенной степени его выводы, с одной стороны, стали опровержением довольно плоской идеализированной картины научной деятельности, рисуемой традиционной идеологией науки (анализ такого идеализированного образа научного сообщества также дан в настоящей главе), с другой, стали подтверждением теоретических положений социальной феноменологии (рассмотрены в гл. 1), свидетельствовавших о глубокой противоречивости традиционного образа науки и научной методологии.

Кроме того, постпозитивизм сыграл определенную роль в расширении представлений об опыте науки, он раздвинул его рамки, “впустив” в науку многое из того, что раньше из нее старательно изгонялось. Правда, обратной стороной такого расширения рамок научного опыта оказалась его релятивизация, грозящая утратой специфики научного опыта и вообще науки как определенной формы познания мира. Поэтому неудивительным стало выдвинутое Фейерабендом требование отказать науке в статусе привилегированной инстанции познания, отделить ее от государства и образования и “уравнять в правах” с такими формами познания, как религия, магия, астрология и т.п. В конечном счете это означает самоотрицание духа модерна, неразрывно связанного с наукой как источником надежного знания о мире и двигателем прогресса. Движение “от позитивизма к постпозитивизму” оказалось соответствующим развитию когнитивного стиля современности в целом.

3

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И ФРАГМЕНТАЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

3.1

Рационалистический модерн

Модерн как культурно-историческая эпоха

Когда произносят слова “современность”, “современный”, “модерн” (англ. modernity), даже самые малообразованные люди подразумевают, а образованные люди осознанно имеют в виду некий комплекс характеристик, отличающий наше время от всех предшествующих времен, делающий его особенной эпохой в культуре и истории человечества. Если же мы учтем, что понятие “современность”, “модерн” применялось и, что самое важное, продолжает применяться не только по отношению к нашей сегодняшней современности — концу XX — началу XXI вв., но и по отношению к 20-м гг. прошлого столетия, по отношению к концу XIX в., по отношению к периоду романтики и т.д., то мы можем сделать отчетливый вывод о том, что это самое “наше время” гораздо длительнее, чем может представляться на первый взгляд. Сразу возникает вопрос, что объединяет эти достаточно разные времена и формы обществ и позволяет подвести их под одно категориальное обозначение. Ответ на него и должен стать ответом на актуальный вопрос: что такое модерн?

Каким образом произошел этот сдвиг в значении слова, когда простая характеристика одновременности субстантивировалась и стала обозначать определенную культурно-историческую эпоху? Первоначально это отмеченное в литературе в конце V в. слово

(лат. *modernus*, от *modo* — сейчас, сразу, мгновенно) представляло собой “чисто временное понятие без всякого вмещающего содержания”¹. В отличие от других временных понятий оно выражало историческое “теперь”, самый момент протекания времени. В этом смысле оно и употреблялось на протяжении многих веков: для противопоставления каждого настоящего момента прошедшему или шире — для противопоставления каждой настоящей эпохи эпохе античности. Однако детальный анализ понятия позволил выделить несколько смыслов его употребления. Э. Гумбрехт обнаружил три варианта употребления термина: 1) современное просто противопоставляется предшествующему; 2) современное как “новое” противопоставляется “старому”, и в этом смысле слово обозначает современность, переживаемую как эпоху, характеризующуюся определенными отличиями от прошедших эпох (это как раз то значение, которое подсознательно актуализируется сегодня даже в обыденном языке); 3) современное как “преходящее” противопоставляется “вечному”: здесь новое и современное всегда воспринимается как нечто такое, что будет незамедлительно превзойдено новой новостью и современностью. Гумбрехт поясняет: “Это значение слова «современный» возникает только тогда, когда настоящее и связанные с ним представления современниками осмысливаются как «прошлое завтрашнего настоящего». Оно реализуется, когда настоящее кажется совершающимся так быстро, что «современному» можно противопоставить не качественно иное прошлое (что предполагается вторым значением), а только лишь вечное как пребывающий ориентир”².

Возникновение этого третьего значения слова в 30-е гг. прошлого века — вернее, переход от употребления слова в преимущественно втором к употреблению его преимущественно в третьем значении — Гумбрехт объясняет специфическими характеристиками общественного сознания Европы того времени и прежде всего — “ощущением всеобщего ускорения”, что относилось не только к протеканию политических процессов, но и к повседневной жизни, техническим нововведениям, моде и т.д.

¹ Wehling P. *Die Moderne als Sozialmythos*. Frankfurt a. M.; N.Y., 1992. S. 60.

² Gumbrecht H.-U. *Modern, Modemität, Moderne. Geschichtliche Grundbegriffe* / O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck (Hrsg.). Bd. 4. Stuttgart, 1978. S. 96.

Но следует, очевидно, в этом последнем из отмеченных Гумбрехтом значении выделить два достаточно самостоятельных варианта. Многое зависит от того, на каком именно полюсе — на полюсе подвижного и быстротекущего или на полюсе вечного и неизменного — сосредоточивает свое внимание наблюдатель событий. И тогда в первом случае оказывается, как это и происходило, в основном, в интеллигентной среде того времени, что подвижное и быстротечное настоящее рассматривается как момент прорыва и превращения настоящего в будущее¹. Такое понимание настоящего сопрягалось с просвещенческими идеями социального и научно-технического прогресса и надеждами на освобождение от традиционных феодальных структур и институтов. Будущее в настоящем воплощал собой “дух времени”. Современным, принадлежащим к модерну оказывалось то, что “...обещало движение, изменение, прогресс, освобождение от всякого рода оков; под духом времени подразумевалось все, что в изменчивой и подвижной общественной и духовной среде было ориентировано революционным образом, устремлялось вперед, в будущее. Понятие модерна обретало просвещенческое значение” (Р. Мартини)². Забегая вперед, отметим, что именно это, ориентированное на будущее, прогрессистское и освободительное понимание модерна, хотя и в более трезвом, лишенном революционной нервозности виде, стало основанием большинства последующих концепций модерна.

Но возможно, было и другое понимание третьего из отмеченных Гумбрехтом значений, и оно не замедлило обнаружиться. отождествление опыта современности с просвещением и историческим прогрессом пошатнулось одновременно с поражением европейских революций 1848 г. Тогда же, прежде всего в эстетической сфере, стала остро осознаваться противоположность текущего и изменчивого вечному, пребывающему. Взгляд перемещался на полюс вечного. Шарль Бодлер характеризовал современное как “преходящее, исчезающее, случайное”, оно “составляет лишь часть искусства, другая его часть — вечное и неизменное”. Не только эстетический, но и общественный опыт он стремился охватить в эстетической теории. “Прекрасное, — писал Бодлер, — состоит из

¹ Gumbrecht H.-U. Op. cit. S. 110.

² Цит. по: Wehling P. Die Moderne als Sozialmythos. S. 18.

вечного и неизменного элемента... и из относительного, условного элемента, ...воспринимаемого в моментах времени, моде, духовной жизни и страстях”¹. Понимание современности у Бодлера и у других поэтов и философов, разделявших или близких его видению, вовсе уже не несло с собой ни освободительных, социально-критических импульсов, ни веры в будущее совершенствование общественной жизни.

В этом пункте обнаруживается раздвоение идеи модерна. С одной стороны оказывается эстетический опыт модерна, противопоставляющий переменчивое вечному и свободный от социально-освободительных и прогрессистских мотивов, с другой — остающийся актуальным опыт современности как момента в прогрессивном движении в сторону освобождения от всякого рода гнета, понимавшегося прежде всего как гнет традиционных установлений, и в сторону усовершенствования человеческого будущего. В противоположность социальному скептицизму, а иногда даже пессимизму первого, для второго был характерен оптимистический, прогрессистский пафос.

Но этот прогрессистский пафос первоначального модерна, взятого не в его эстетическом, а в социальном аспекте, пошатнулся в конце XIX в. одновременно с широким распространением сомнения и разочарования в прогрессе. Было бы неуместно здесь пытаться дать широкую панораму европейских, да и российских, духовных движений, приведших к сомнению в прогрессивности и перспективности текущего европейского развития; достаточно упомянуть об обострении экономических, культурных, социальных противоречий как следствии капиталистической индустриализации.

Социологическая классика как обоснование модерна

Эти сомнения разделяли и “классики” социологии: Зиммель, Тённис, Вебер, Дюркгейм. Каждого из них стремление прояснить природу и перспективы современности побуждало к выработке своеобразной дихотомической модели социально-культурного развития, долженствующей как эксплицировать суть модерна, так

¹ Цит. по: Wehling P. Die Moderne als Sozialmythos. S. 62.

и продемонстрировать его перспективы, а заодно и способствовать формулированию отчетливой морально-этической позиции членов общества по отношению к происходящему. Тённис сформулировал свою знаменитую дихотомию “общины” и “общества”. Вебер противопоставил тип “традиционных” социокультурных образований современному западному рационализму или “западному капитализму”. Дюркгейм выделил типы обществ, базирующихся на “органической” и соответственно “механической” солидарности. Наконец Зиммель противопоставил “до-денежные” общества обществу, основанному на современной денежной экономике.

Несколько слов о каждой из этих концепций. Тённис, отличая общину от общества, выделял два типа общественных отношений, на которых базируются соответствующие общественные системы. Отношения первого типа — “общинные” отношения — коренятся в бессознательной связи индивида с общественным целым, которое выражается в эмоциях, дружеских и кровных связях, в употреблении общего языка и т.п. Эти отношения характерны для таких общностей, как семья, соседство, род, а на более высокой ступени — этнос и даже нация. Главное здесь — органичность, конкретность отношений и их укорененность в традиции.

В основе отношений второго типа — отношений в рамках “общества” — лежит рациональный обмен, смена находящихся во владении вещей. Эти взаимосвязи характеризуются противоположно направленными (как в случае каждого обмена, каждой рациональной сделки), т.е. эгоистическими устремлениями участников. Они имеют целиком рациональную структуру, причем их субъектами могут быть не только индивидуумы, но и группы, коллективы, даже общества и государства, рассматриваемые как формальные лица¹.

Тённис полагал, что современное развитие ведет от “общины” к “обществу”, что предполагает нарастание элемента рациональности и отчужденности в социальных отношениях. Параллельно с этим все более разрушаются традиционные, “общинные” связи.

Макс Вебер противопоставлял “традиционному” типу обществ, характеризующемуся стабильной и неизменной социальной структурой, низкой социальной мобильностью, преобладанием аграр-

¹ Tönnies F. *Gemeinschaft und Gesellschaft*. 5. Aufl. Stuttgart, 1896.

ного труда, традиционным, т.е. основанным на бессознательном подражании издавна данным образцам типом мотивации, а в культурной сфере религиозным или магическим мировоззрением, — этому типу Вебер противопоставил современный западный капитализм с его динамикой и стремлением к преобразованию обстоятельств жизни, основанному на рациональном познании мира. Рационализация (и интеллектуализация) мира — девиз веберовской концепции и, согласно этой концепции, — волшебное слово модерна, изгоняющее все призраки прошлого и открывающее двери будущего.

“Возрастающая интеллектуализация и рационализация не означают, — писал Вебер, — возрастания всеобщего знания человеком своих жизненных условий. Они означают нечто другое: знание о том или веру в то, что человек, если он *желает*, в любое время *может* обрести это знание, что в принципе не существует влияющих на его жизнь таинственных непознаваемых сил и что в принципе путем *рационального расчета* он может овладеть всем, чем угодно. Это также означает расколдованность мира. Теперь людям не нужно, как дикарям, для которых эти силы существуют, прибегать к магии, чтобы обезвредить или подчинить себе духов, — для этого имеются орудия техники”¹.

Именно в рациональном отношении к жизни и миру, в использовании с рациональными целями технических орудий, основанных на рациональном познании и расчете и заключается специфическая характеристика “западного капитализма”, делающая его, по Веберу, принципиально новым типом общественной организации.

Георг Зиммель похожим образом концептуализировал различия традиционного и современного общества. Для него решающими процессами, определившими облик современности, стали два тесно связанных друг с другом процесса: интеллектуализация мира и формирование денежного хозяйства. Это два процесса, протекающие как бы параллельно, — один в “духовной”, другой в “материальной” сфере. Интеллектуализация предполагает переход от образного и целостного восприятия мира к его рациональному, логическому анализу. Формирование денежного хозяйства предполагает рациональный расчет при владении и управлении вещами.

¹ Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. 5. Aufl. Stuttgart, 1986. S. 594.

В обоих случаях последствия одинаковы. Правила логики обезличивают духовный мир: содержание мышления становится неважным, лишь бы оно, мышление, было формально правильным. В свою очередь, деньги “обезличивают” материальные предметы, лишая их качества личности, предпочтительности, разрывая тесную, в определенном смысле интимную связь вещи и владельца, характерную для прошедших эпох истории, требуя лишь “правильности”, т.е. эквивалентности совершаемых транзакций. Налицо оказывается безличный всеобщий посредник (в одном случае — формулы логики, в другом — деньги), обретающий как бы собственное, более весомое, более значимое существование по сравнению с содержаниями (духовными и материальными), между которыми он посредничает. Деньги становятся целью в себе, так же, как целью в себе становится логическая, формальная правильность мышления.

Неудивительно, считает Зиммель, что такого рода интеллектуальное и хозяйственное развитие ведет к обеднению духовной жизни, к снижению качества человеческого переживания, к многообразным формам отчуждения, хотя в то же время приводит к возрастанию свободы человеческого индивидуума. Но это “негативная”, “пустая” свобода, не возвышающая человека, но вызывающая многообразные патологии, характерные для современной жизни. Вслед за вещами люди теряют качества личности, переходят в “одномерность”, перестают быть предпочитаемыми и предпочитаемыми. Символом межлических отношений становится проституция. Природа проституции и природа денег аналогичны, считал Зиммель: “Безразличие, с которым они предаются всякому новому употреблению, легкость, с которой они покидают любого субъекта, ибо поистине не связаны ни с одним, исключая всякое сердечное движение, вещьность, свойственная им как чистым средствам, — все это заставляет провести роковую аналогию между деньгами и проституцией”¹.

У Дюркгейма как теоретические, так и моральные акценты расставлены во многом иначе, чем у Зиммеля. Дюркгейм разделял современное и “архаичное” общества согласно типу “общественной солидарности”, формирующемуся в обоих этих случаях. Тип общественной солидарности — это не что иное, как господствующая форма общественных отношений. Если в архаических обще-

¹ Simmel G. Philosophie des Geldes. Berlin, 1953. S. 414.

ствах социальная солидарность основывается на практически полном растворении индивидуальных сознаний в “коллективном сознании”, т.е. практически на поглощении личности обществом, то в более современных общественных системах она основывается на автономии индивидов, разделении функций, функциональной зависимости и взаимообмене. В первом случае мы имеем дело с “механической”, во втором — с “органической” солидарностью. Главным фактором, обуславливающим переход от одного к другому типу общества, является разделение труда, понимаемое не в узкоэкономическом, а в широком социальном смысле слова.

Дюркгеймовская дихотомия сформировалась, в частности, под влиянием тённисовского разделения типов обществ. Но если Тённис с печалью наблюдал прогрессирующее разложение “общины” и воцарение нового типа отношений, полагая, что безвозвратно утрачиваются элементы необходимого человечеству духовного богатства, то Дюркгейм подходил к оценке соответствующих процессов более оптимистически, или, может быть, нужно сказать, более трезво, считая острые современные моральные проблемы временными, обусловленными распадом традиционной морали и еще не сформированностью новой. “Наш первейший долг в настоящее время, — писал он, — создать себе нравственность. Такое дело невозможно осуществить путем импровизации в тиши кабинета; она может возникнуть только самопроизвольно, под давлением внутренних причин, благодаря которым она становится необходимой. Рефлексия же может и должна послужить тому, чтобы наметить цель, которой надо достигнуть”¹.

Соответствующие теории “классиков” социологии — Тённиса, Вебера, Зиммеля и Дюркгейма — принято рассматривать в качестве теорий модерна, и в этом смысле их работы представляют собой не только социологическую аналитику, но и попытки ретроспективного самоопределения и саморефлексии буржуазного общества на рубеже XIX—XX вв. При этом локализируются глубокие проблемы, стоящие перед этим обществом и грозящие обостриться далее. Хотя “классики” вовсе не были слепыми оптимистами, безоговорочно верующими в прогресс и счастье на путях современного общества, в общем и целом динамика социальных

¹ Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991. С. 380.

изменений в эпоху модерна воспринималась ими с положительным знаком. Вебер, видевший сущность развития в возрастающей рационализации поведения, полагал, что, “расколдовав” силы природы и свою собственную сущность, человек более прочно и уверенно утвердится в собственном мире. Дюркгейм видел перспективы моральной интеграции современных обществ в ходе растущего разделения труда. Зиммель, у которого часто встречаются консервативные мотивы, тем не менее подчеркивал освобождающее воздействие главных, проявляющихся в эпоху модерна тенденций. Все они защищали современный им капиталистический модерн против консерваторов и традиционалистов¹.

Именно через “классиков” социологии, прежде всего «через» Вебера, пролегла, так сказать, столбовая дорога понимания модерна, связывающая модерн с эпохой Просвещения. Свойственные Просвещению культ разума и стремление переорганизовать социальный мир согласно естественным требованиям разума, разрушив устарелые, не отвечающие этим требованиям и держащиеся только силой традиции институты и установления, нашли свое выражение у Вебера, сделавшего рационализацию и интеллектуализацию мира ядром современного развития.

Модерн и ступени рационализации социального мира

Разум — довольно неопределенная категория, да и понятия рационализации и интеллектуализации нуждались в уточнениях. Позднейшие теоретики, в частности, немецкий философ Ю. Хабермас, продемонстрировали, как в ходе становления современности происходила дифференциация целостности социальной жизни, из которой выделялись и наделялись собственной динамикой ценностные и функциональные сферы: “мораль”, “искусство”, “наука”, и именно сфера науки стала играть в современности ведущую роль².

¹ Rammstedt O. Die Attitüden der Klassiker und unsere soziologische Selbstverständlichkeiten // Simmel und die frühen Soziologen / O. Rammstedt (Hrsg.). Frankfurt a. M., 1988. S. 294.

² Habermas J. Die Moderne — ein unvollendetes Projekt // Habermas J. Kleine politische Schriften. Bd. 1—4. Frankfurt a. M., 1981.

На этом пути современность постепенно отождествлялась с рациональностью, которая, в свою очередь, оказалась отождествленной с наукой. Как показывает П. Веллинг, в конечном счете отождествление разума с наукой через посредство рациональности открыло возможность институционализации разума в форме науки. Тогда же традиционные формы знания были враз отвергнуты, получив, однако, возможность возродиться и существовать благодаря санкции науки, воплощающей в себе новую, высшую форму рациональности. “Это означает, что просвещенческий «проект модерна» тесно соединился с процессом общественной рационализации, превратившись в проект *онаучивания* социальных отношений и отношений между обществом и природой”¹.

Разумеется, онаучивание мира произошло не только в теории. Хабермас нашел форму описания глобального процесса научно-технического овладения миром, которое, по сути, и является ныне ядром все еще не завершенного, согласно Хабермасу и многим другим, проекта модерна. Именно это, идущее от Просвещения, через Вебера и Хабермаса, нашедшее много других сторонников понимание слова “модерн” и стало преобладающим в современной философии, истории, социологии и других общественных науках.

Если отвлечься от истории термина и понятийных тонкостей, то можно сказать, что под модерном понимается культурно-историческая эпоха, начало которой приблизительно совпадает с началом Нового времени и которая длится до сих пор. Эта культурно-историческая эпоха характеризуется определенным специфическим набором черт, наиболее четко и определенно представленных в современных западных обществах. Общества эпохи модерна имеют обыкновенно индустриальную капиталистическую экономику, демократическую политическую организацию, классовую социальную структуру. Все это отражается в специфике образа жизни: индустриализация общества, усиление социальной мобильности, рыночная экономика, всеобщая грамотность, бюрократизация, консолидация национальных государств.

Но наиболее выразительны культурные принципы эпохи модерна. Собственно говоря, модерн и определяется чаще всего как некое культурное единство. В качестве основополагающих куль-

¹ Wehling P. Die Moderne als Sozialmythos. S. 70. “Проект модерна”, заключенный в кавычки в данной цитате, — термин Хабермаса.

турных характеристик модерна чаще всего подчеркиваются индивидуализм и рационализм. Под индивидуализмом понимается концепция свободной, автономной, саморегулирующейся личности как основы совместного социального бытия людей. Под рационализмом понимается стремление людей и социальных групп основывать свое поведение исключительно на принципах разума и отказ от следования истинам, диктуемым религией, традицией, авторитетом и т.п.

Согласно словарному определению, ориентирующемуся не на онтологию, а, так сказать, на феноменологию модерна, модерн (англ. *modernity*), в противоположность традиционным формам жизни и мышления “может пониматься как способ социального и индивидуального опыта, становящийся общим для людей во всем мире благодаря экспансии и росту престижа научного познания, техническим нововведениям, политической модели демократии и субъективному стремлению к самореализации”¹. Там же добавляется важная оговорка (смысл которой мы подробно рассмотрим в этой главе), подчеркивающая универалистское стремление и универсальную природу модерна: “Модерн по сути своей предполагает глобализацию”².

Модерн рассматривается в противопоставлении до-модерну, т.е. современное общество — в противопоставлении досовременному, традиционному. Для досовременных обществ характерны докапиталистическое ремесленное производство и аграрная экономика, абсолютистская власть, сословная социальная организация. В культурном отношении индивидуализму противостоит ориентация на целостность социальной жизни, а рационализму — следование традиции.

Это самые общие определения и характеристики модерна. Если взглянуть в дело пристальнее, сразу обнаруживается множество проблем. Во-первых, проблематизируется время наступления эпохи модерна. Одни исследователи связывают модерн (или современность) с возникновением и развитием капиталистической экономики и культуры в период с XIV по XVIII в., другие — с изменениями в религиозной жизни, начавшимися в XV в. и достигшими кульминации в эпоху Реформации, третьи — с периодом

¹ The Social Science Encyclopedia / Ed. by A. Kuper, J. Kuper. L.; N.Y., 1996. P. 546.

² Ibid.

Просвещения, провозгласившим примат Разума над Традицией, четвертые — с культурным феноменом модернизма, возникшим в прошлом столетии. В спорах о хронологии модерна выражаются глубокие различия в понимании самой сути эпохи.

Вряд ли вообще можно точно определить хронологические рамки модерна. Во всяком случае, можно утверждать, что современная эпоха, или эпоха модерна, наступила тогда, когда европейское человечество осознало, что мир необязательно должен быть таким, каким он был и традиционно является, но что он может и должен быть реорганизован на разумной основе, в согласии с требованиями человеческого разума. Тогда и возникла современная эпоха, плоды которой окружают нас повсюду, — они в достижениях науки и техники, в организации политики и повседневной жизни, в самом способе нашего видения мира и мышления.

Этот подход как раз и связывает возникновение модерна с периодом Просвещения. Но этому подходу отнюдь не противоречит стремление отыскать корни модерна в более ранних эпохах — периодах возникновения капиталистического производства или религиозной Реформации. В обоих последних случаях речь идет о процессах рационализации, происходящих как в экономике, так и в религиозной, и в мирской, повседневной жизни. Но эти ростки модерна, если можно так выразиться, оставались недостаточно отрефлексируемыми. Прорастая на почве средневековой и ренессансной жизни, они не осознавали еще степени собственной новизны и особости. Именно в эпоху Просвещения произошло самоосознание разума, открытие им собственных возможностей понимания и изменения мира. Именно это время и можно считать временем самоконституирования модерна.

Таково наиболее общее, соответствующее точке зрения большинства авторов статей в энциклопедических словарях, да и вообще (с большими или меньшими вариациями и оговорками) большинства современных исследователей, представление об эпохе модерна. Время формирования этого представления, разумеется, не совпадает с периодом возникновения самой эпохи модерна. Концепция модерна — рефлексивная концепция. Понадобилось много десятилетий, прежде чем основные черты эпохи были осознаны и нашли свое выражение в философских и социально-научных представлениях. Концепция модерна во многих ее разновидностях стала как бы автопортретом современного западного обще-

ства. Но одновременно этот автопортрет оказался представленным в качестве всеобщей нормы, которой с исторической неизбежностью следуют или должны будут последовать и другие общества и культуры. Если модерн по сути своей предполагает глобализацию, т.е. распространение своих характерных черт на все пространство человеческой цивилизации, то этот автопортрет оказывается неизбежно портретом всего будущего человечества или будущего всего человечества.

Теперь о втором понимании модерна, о котором придется говорить более детально хотя бы потому, что оно гораздо менее распространено и признано. Если на первом понимании модерна основаны как теории модернизации (являющиеся главной теоретической моделью преобразований, протекающих ныне, в частности, в России и странах Восточной Европы), так и вообще глобальная стратегия стран и международных организаций — лидеров современного мира, то второе понимание, второй смысл модерна долгое время оставался достоянием скорее интеллектуальных кругов и лишь в последнее время актуализировался в связи с критикой недостаточной состоятельности концепций модернизации и усилением внимания к проблемам так называемого постмодерна.

3.2

Модерн как вечное возвращение

Модерн как миф современной культуры по В. Беньямину

Вспомним Бодлера, в середине XIX столетия увидевшего в современности не столько преддверие в каком-либо смысле “лучшего” будущего, а нестабильность, текучесть, обрывочность жизни, на фоне которой проступают черты вечного. Собственно говоря, с Бодлера ведется начало второй традиции в понимании модерна — “диалектики нового и вечно того же”, — отождествляемой прежде всего с именем Вальтера Беньямина.

Истоки модерна Беньямин ищет не в Просвещении, а в XIX в., и связаны они непосредственно с распространением индустриального капитализма и товарного производства. Но подходит он к

столетию совсем “с иного конца”, чем, например, Макс Вебер. Если Вебер был зачарован “механизмом и машинизмом” XIX в., в которых наиболее ярко и непосредственно отражалась тенденция рационализации, то Беньямин, наоборот, считал, что столетие “заколдовано”, и виноват в этом капитализм, погрузивший его в сон. Явившийся капитализм окутал себя “снами, мифами, фантазмагориями”, которые и составили все вместе духовный облик модерна. Эти “сны, мифы и фантазмагории” — не только и не столько теоретические конструкции, сколько трудноуловимые и неустойчивые культурные образования, определяющие культурный фон эпохи, проявляющиеся в “моде, рекламе, политике, архитектуре”, в самом стиле жизни. Как мыслитель Беньямин сам в определенном смысле продукт модерна, стиль его резко отличается от стиля того же Вебера; он редко прибегает к “большим формам” творческой работы, пишет эссе, очерки, брошюры, стараясь именно в беглых впечатлениях жизни обнаружить основные мотивы эпохи. Его социологию не случайно сравнивают с импрессионистской социологией Зиммеля.

Но мифы модерна — не только сны и фантазмагории повседневной культуры, — это и теории модерна; тот модерн, каким он является его проповедникам и каким он возвещается ими, есть миф, и задача понимания модерна есть задача разоблачения этого мифа. Таким образом, в 20-е гг. XX в. Беньямин сформулировал понимание модерна (и понимание капитализма) как мифологического и даже религиозного феномена в противоположность Веберу, который видел суть капиталистического развития именно в преодолении мифов. В этом свете буржуазные, как правило, оптимистические или даже сдержанно оптимистические теории модерна как раз и представляли собой, наряду с “маскарадом” мчащейся культурной жизни, концентрированное выражение тех самых, подлежащих разоблачению мифов модерна.

Повторяемость и воспроизводимость — жизненный нерв модерна

“Нервом” модерна, по Беньямину, становится явление многократной повторяемости и воспроизводимости, заложенное в самой сути массового капиталистического производства и побуждае-

мых им культурных форм. Едва ли не важнейшей из них оказывается мода, парадоксально характеризующаяся Беньямином как “вечное возвращение нового”¹. Новый продукт посредством моды стимулирует спрос. Новизна приобретает решающее значение. В новизне как таковой в конечном счете сосредоточиваются все интересы эпохи. Весь темп и ритм современной жизни ориентирован на исчезновение одного товара и возникновение взамен него нового — на “возвращение нового”. Этим изменяются сами представления о прогрессе: прогресс ориентируется не на человека, а на постоянное обновление окружающего его мира посредством технических усовершенствований. Не лучшее даже (с точки зрения человеческих интересов и целей), а новое (хотя этим и предполагается технический перфекционизм) становится критерием прогресса. Прогресс оказывается состоящим в постоянном возвращении одного и того же — нового. “...Вечное возвращение — пишет Беньямин, — пробудила именно «плоско рационалистическая» вера в прогресс”². Отсюда и трактовка модерна как “вечного возвращения одного и того же”. Идею вечного возвращения, ожившую в современном мышлении под влиянием Ницше, Беньямин считает основной формой мифологического сознания, и поэтому модерн, базирующийся на идее рационального прогресса, сводящейся к мифологической структуре вечного возвращения, и рассматривается им как эпоха, одержимая мифом, как “мир под властью фантазмагорий”.

Социальная природа этого явления формулируется вполне в духе марксистской социологии знания: сама идея вечного возвращения, выступающая под маской рационального прогресса, появилась тогда, когда буржуазия увидела, что она не в состоянии понять и оценить перспектив развития освобожденных ею производительных сил. На место непроясненного будущего стал миф о вечном обновлении (индустриально-технический перфекционизм), и сама структура жизни оказалась замкнутой в заколдованном круге по видимости рационального движения по видимости вперед.

¹ Benjamin W. Gesammelte Schriften. Bd. 2. Frankfurt a. M., 1972. S. 677.

² Цит. по: Wehling P. Die Moderne als Sozialmythos. S. 80.

“Кризис опыта” в эпоху модерна

Внутренне, на уровне человеческой субъективности “фантазмагорический” модерн отразился в явлении, которое Беньямин обозначил как кризис опыта. Начало кризиса совпало с возникновением товарного производства. Суть кризиса состоит в том, что опыт (Erfahrung) оказался замещенным переживанием (Erlebnis). Опыт надо отличать от переживания. Для опыта характерна преемственность; последовательность его элементов неразрывна. Опыт коренится в традиции как коллективной, так и индивидуальной жизни. Переживания же существуют по отдельности; они вырваны из смысловых связей. Высшая форма переживания — шок. Для повседневности эпохи модерна характерно преобладание шоковых переживаний.

Разрушению традиций в модерне как раз и соответствует обеднение опыта и нарастание количества переживаний, прежде всего шоковых переживаний. Вытеснению опыта переживанием соответствует замена повествования, рассказа *информацией*. Информация удовлетворяет совсем иные потребности, чем рассказ, более того, она ведет к конструированию совсем иного мира, где человек оказывается вырванным из взаимосвязей традиционного опыта и вступающим якобы в непосредственные отношения с миром, который по видимости близок и доступен¹.

Трактовка модерна Беньямином совпадает с преобладающей “классической” трактовкой в том, что модерн неразрывно связан с приходом современного капитализма, наступлением эры массового производства и технизацией жизни. Но она резко отличается от “классической” трактовки прежде всего тем, что модерн здесь рассматривается не как эпоха освобождения от мифов и прогрессирующей рационализации жизни, а как именно мифологическая, до предела мифологизированная эпоха. Миф в модерне вплетен в самую структуру повседневной жизни, она им буквально пронизана. Причем именно идеи рациональности и прогресса являются основными мифами модерна. В этом смысле сама концептуализация модерна в трудах классиков социологии является одним из элементов продуцирования мифов, проще сказать, она

¹ См.: Wehling P. Die Moderne als Sozialmythos. S. 83—85.

есть мифотворчество. Тогда концепция рационализации, концепция “расколдовывания” мира Вебера, которую, как показывает история модерна от тех далеких времен до новейших концепций модернизации (которые ныне Россия переживает на собственном опыте), можно считать ядром самопонимания модерна — это мифологическая идейная структура.

Концепция модерна Беньямина, как это уже частично видно из вышесказанного, идет “снизу” — от непосредственного культурного опыта эпохи. Этот опыт проявляется в популярных, массовых явлениях *par excellence*, в частности, в массовых видах искусства, порожденных техническим развитием. Эти новые (для эпохи Беньямина) виды искусства (фотография, кино), а также развитие технических средств репродуцирования традиционного искусства в принципе изменили онтологический статус художественного произведения. Анализ произведения искусства в новую эпоху — в “эпоху его технической воспроизводимости” — стал у Беньямина как бы моделью социального и философского анализа модерна вообще.

Фотографический негатив, например, гарантирует производство неопределенного количества копий, абсолютно идентичных “оригиналу”. Разница между оригиналом и копией здесь по существу стирается. Непонятно, что — оригинал, а что — репродукция. И этот, казалось бы, банальный факт ведет Беньямина к далеко идущим выводам.

“Даже в самой совершенной репродукции, — пишет он, — отсутствует *один момент*: здесь и сейчас произведения искусства — его уникальное бытие в том месте, в котором оно находится. На этой уникальности и ни на чем ином держалась история, в которую произведение было вовлечено в своем бытовании. Сюда включаются как изменения, которые с течением времени претерпевала его физическая структура, так и смена имущественных отношений, в которые оно оказывалось вовлеченным. Следы физических изменений можно обнаружить только с помощью химического или физического анализа, который не может быть применен к репродукции; что же касается следов второго рода, то они являются предметом традиции, в изучении которой за исходную точку следует принимать местонахождение оригинала”¹.

¹ Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе. М.: Медиум, 1996. С. 19—20.

“Здесь и сейчас оригинала определяют понятие его подлинности”¹. Подлинность можно определить путем химического анализа патины, а также путем исторических и искусствоведческих изысканий, которые проясняют, например, что рукопись происходит из собрания, скажем, XV в. Все, что связано с подлинностью, говорит Беньямин, недоступно технической, да и не только технической репродукции. Но если по отношению к ручной репродукции, которая в этом случае квалифицируется как подделка, подлинное сохраняет свой авторитет, то по отношению к технической репродукции этого не происходит. Этому две причины. Во-первых, техническая репродукция более самостоятельна по отношению к оригиналу, чем ручная, т.е. она в состоянии более точно и многосторонне воспроизвести оригинал, чем человеческий глаз или рука, а также благодаря развитым технологиям открыть в оригинале качества, недоступные невооруженному техникой человеку. Во-вторых, техника может перенести подобие оригинала в ситуацию, для самого оригинала недоступную. Произведение искусства движется, так сказать, навстречу публике. Беньямин приводит примеры: фотография (“собор покидает площадь, на которой он находится, чтобы попасть в кабинет ценителя искусства”), граммофонная пластинка (хор, который звучал в зале или под открытым небом, можно слушать в комнате).

Эти обстоятельства, в которых оказывается репродукция, могут даже не затрагивать всех других качеств произведения, но одно они меняют неизбежно — его, произведения, “здесь и сейчас”. А это, как сказано выше, и есть его подлинность.

“Подлинность какой-либо вещи — это совокупность всего, что она способна нести в себе с момента возникновения, от материального возраста до исторической ценности. Поскольку первое составляет основу второго, то в репродукции, где материальный возраст становится неуловимым, поколебленной оказывается и историческая ценность. И хотя затронута только она, поколебленным оказывается и авторитет вещи”².

Беньямин предлагает прибегнуть к понятию ауры. Оно суммирует то, что и исчезает в ходе репродуцирования. “В эпоху техни-

¹ Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. С. 20.

² Там же. С. 22.

ческой воспроизводимости, — пишет он, — произведение искусства лишается своей ауры. Этот процесс симптоматичен, его значение выходит за пределы области искусства. *Репродукционная техника, так это можно было бы выразить в общем виде, выводит репродуцируемый предмет из сферы традиции. Тиражируя репродукцию, она заменяет его уникальное проявление массовым*¹.

В репродуцируемости произведений искусства, таким образом, как в капельке воды, отразились основные изменения в культуре и жизни, характеризующие эпоху модерна. Это, во-первых, развитие техники. Производство и воспроизводство, продуцирование и репродуцирование суть *технические* (вос)производство и (ре)продуцирование. Технические возможности обеспечивают идентичность производимых предметов и точность репродукций произведений искусства. Во-вторых, это массовое производство (продуцирование). Своей массовостью оно также обязано капитализму. И наконец, в-третьих, массовое репродуцирование, свойственное как капиталистическому производству, так и капиталистической культуре, приводит (и в этом, я полагаю, и состоит самая суть рассмотренного беньяминовского хода мысли) к разрыву с традицией. Как явствовало уже из краткого разбора концепций модерна, выдвинутых классиками социологии, суть модерна состоит в разрыве с традицией. Дело не только в том, что общество, предшествующее современному, называется традиционным. Дело в том, что оно порывает с традицией и начинает жить на собственных основаниях. Эти основания обеспечиваются, по Беньямину (в этом с ним согласились бы многие из классиков, прежде всего Зиммель), капиталистическим массовым производством. И в своем анализе явления технической воспроизводимости произведений искусства Беньямин как раз и продемонстрировал механизм разрыва традиции. Это и есть анализ того, как приходит и воцаряется модерн, и как *опыт*, суть которого в укорененности в традиции (а “единственность произведения искусства тождественна его впаивности в непрерывность традиции”²), замещается *переживанием*.

¹ Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. С. 22.

² Там же. С. 25.

Беньямин не был традиционалистом и антимодернистом. Он как раз отчетливо осознавал варварский характер “традиции”, т.е. эпохи до модерна, полагавшегося на голую силу, обожествление властителя и т.д. Другое дело, что он считал, что “традиция” продолжается и в модерне, прежде всего в силу его мифологического характера, что чревато новыми приступами варварства. Надо признать, что в последнем он оказался прав. Мыслители Франкфуртской школы (Адорно, Хоркхаймер) продолжили беньяминовскую линию критики модерна, продемонстрировав на этом пути тесную связь просвещенческого, модернизационного мифа с фашизмом — варварством XX в. Пожалуй, еще более явная связь с Просвещением другого — социалистического мифа. В каком-то смысле под чары его попал и сам Беньямин. Он видел возможность преодоления мифологии модерна в политических преобразованиях, которые привели бы социальные отношения в соответствие с уровнем технического и индустриального развития капитализма. При этом он был далек как от идеи технического и экономического детерминизма, так и от идеи автоматизма социального прогресса. И то, и другое как раз роднило марксизм с рационалистическим видением модерна. Беньямин же хотел “расколдовать” модерн, в мышлении связав прошлое с настоящим, соединив гуманистическую традицию (без варварства) и индустриально-техническое настоящее (без мифа).

Следовательно, пафос видения модерна Беньямином — это пафос преемственности. Показав, что модерн традиционен — в том смысле, что мифологичен, — он оспорил теоретиков рационалистического модерна, настаивавших на резком противопоставлении современности и традиции. С другой стороны, если взять современных идеологов постмодерна, также подчеркивающих принципиальную новизну этой эпохи по сравнению с уходящей эпохой модерна, то и здесь свидетельство Беньямина *ex post mortem* будет свидетельством в пользу преемственности эпох.

О постмодерне речь пойдет в заключительном разделе книги. Но уже здесь можно показать, что ряд феноменов культуры и познания, рассматриваемые теоретиками постмодерна как свидетельства наступления и едва ли не основные характеристики новой эпохи, выделялись Беньямином как главные признаки эпохи модерна.

Во-первых, само явление массовой репродукции (как воспроизводимости произведений искусства и как принципа капиталистического производства вообще), породившее едва ли не самый крупный из обусловленных модерном переворотов в жизни человечества. Французский философ Ж. Бодрийар, один из провозвестников эпохи постмодерна, считал именно массовое копирование — порождение “симулякров” — центральным феноменом нового индустриального и культурного опыта, характерного для этой новой эпохи. Камень важный, но не главный в интеллектуальном строительстве Беньямина, Бодрийаром в его постройке был положен во главу угла. Во-вторых, в беньяминовском анализе бытования произведений искусства в эпоху модерна подчеркивалось, что именно репродуцирование создает принципиально новую возможность существования произведения искусства в различных контекстах. Вещь при этом, как отмечал один современный исследователь, “ремотивируется”, приобретает новые значения, совершенно отличные от тех, что она имела первоначально, так сказать, в оригинале. Здесь, собственно, Беньямин обнаруживает истоки и формулирует первоначальное объяснение и обоснование того, что теоретики постмодерна считают явлением крайне характерным для этого нового культурного времени, именуемым по-разному во многих теоретических и языковых контекстах: “коллаж”, “пастиш”, “монтаж”, “бриколаж”.

Наконец, в-третьих, в беньяминовском учении о кризисе опыта, противопоставлении опыта и переживания и соответственно рассказа и информации задолго до нынешнего времени было осознано и объяснено в качестве одной из главных черт повседневного опыта модерна то, что Ж.-Ф. Лиотар, можно сказать, инициатор осознания постмодерна как культурно-исторической эпохи, сформулировал как распад “*grande ecrire*” — больших повествований. Эта идея стала буквально паролем постмодернистов.

Это говорится не с целью фиксации за Беньямином интеллектуального приоритета. Цель этого краткого и неполного перечня тем и проблем, общих для Беньямина и “постмодернистов”, состоит в том, чтобы показать, что вопрос о разрыве и преемственности в культурных эпохах — не простой вопрос. Можно сказать так: или постмодерн не так нов, как о том заявляют многие его теоретики, или он начался еще в начале века, когда работал Беньямин.

3.3

Концепции постмодерна

Отделение субъекта от объекта

Постмодерн — прежде всего философская идея, наиболее ярко выразившаяся в новой эпистемологии, связанной с именами французских философов М. Фуко, Ж. Бодрийяра, Ф. Лиотара и др. В их работах проявилось осознание особенностей современного опыта, делающее его отличным от опыта предыдущих времен, — осознание начала новой когнитивной эпохи в истории человечества. Если обобщить их соображения, то окажется, что для опыта постмодерна характерны три основных момента: во-первых, постмодерн ставит под сомнение характерное именно для модернистской эпистемологии четкое разделение субъекта и объекта; во-вторых, постмодерн не доверяет так называемым “метаповествованиям”, т.е. глобальным объяснительным концепциям; в-третьих, постмодерн ставит в центр внимания воспроизводство, репродуцирование, а не производство, как это делал ранний капиталистический модерн.

Остановимся на этом подробнее. Ж. Бодрийяр исходил из Марксова анализа капиталистического производства, прежде всего из анализа различий между потребительной и меновой стоимостью. Потребительная стоимость — это ценность объекта с точки зрения его способности удовлетворить определенные человеческие потребности. Меновая стоимость — это рыночная стоимость объекта или продукта, измеряемая его ценой. Именно как предмет, обладающий меновой стоимостью, объект, согласно Марксу, становится товаром. С превращением объекта в товар Маркс связывал всю динамику капиталистического производства. Бодрийяр добавляет к марксову анализу еще одну категорию — он говорит о *знаковой* стоимости объектов, и развивает на этой основе своеобразную семиотическую теорию экономики, где главным в товаре оказывается не возможность его потребления (т.е. удовлетворения потребности), а его способность репрезентировать статус. Функция товара как знака состоит не столько в удовлетворении потребности, сколько в символизации и репрезентации самой этой потребности. Товар не столько удовлетворяет потребность, сколько обозначает статус.

Из этого факта, несомненно, давно и хорошо известного, Бодрийяр делает далеко идущие выводы. На самом деле, говорит он, первичность потребностей в человеческой жизни и общественном развитии — миф. Между индивидуумом и вещью нет прямой связи через потребность. *Субъект отделен от объекта*. Их связывает друг с другом то, что диктует формы потребления, а именно: жизненные формы и стили, представляющие собой неосознаваемую структуру социальных связей, выраженную в знаках и символах, в частности, в знаковых объектах — товарах.

Коды и “симулякры” у Ж. Бодрийяра

От понятия знака Бодрийяр переходит к понятию кода. Применительно к обществу можно говорить, что совокупность ценностей группы, к которой принадлежит человек, есть код его потребления. От товара как кода он переходит к кодам вообще, многообразии которых начинает рассматривать как исключительную черту современного общества, современной жизни, современного опыта в целом. Коды господствуют не только в производстве и потреблении, но и в науке, например, биологии (ДНК), где они приобретают фундаментальную роль в объяснении процессов становления организма, в компьютерной и коммуникационной технике, а при их посредстве проникают во все области жизни. Эпоха кодов, считает он, идет на смену эпохе знаков¹.

Коды выполняют две главные функции. Первая — функция совершенного воспроизведения объектов. Об этом убедительно рассуждал еще В. Беньямин, но Бодрийяр иначе ставит акценты: для него важно не столько то, что репродуцирование переносит оригинал (у Беньямина речь шла только о произведениях искусства) в новые контексты, сколько то, что при воспроизведении посредством кода вообще утрачивается различие между оригиналом и копией. Копия и есть оригинал, или ни то, ни другое — не копия и не оригинал, поскольку код оригиналом не является (оригиналом может быть только природный объект, а код — это система знаков).

¹ Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000.

Наличие кодов расширило воспроизводство до невероятных масштабов. Реальные объекты “утратили доверие”, потому что все они моделируются и воспроизводятся искусственно. Коды позволяют “обойти” реальность и порождают “гиперреальности” (голография, виртуальная реальность и т.д.). Возникает феномен “обратимости”. Это ведет к исчезновению “конечностей” любого рода; все оказывается включенным в одну всеобъемлющую систему, которая тавтологична. Это эпоха *симуляции* и *симулякров*¹.

Мир становится миром симулякров. На человеческую жизнь это оказывает поразительное влияние. Она становится одномерной, ибо противоположности либо сглаживаются, либо вовсе исчезают. Благодаря таким жанрам, как перформанс или инсталляция, переход от искусства к жизни оказывается либо незаметным, либо вовсе несуществующим. В политике, благодаря репродуцированию идеологий, более не связанных с “социальным бытием”, снимается различие между правым и левым. Различие истинного и ложного в общественном мнении — в среде массмедиа, прежде всего, — перестает быть значимым; значима сенсация, или переживание в беньяминовском смысле слова. Полезность и бесполезность объектов, красивое и безобразное в моде — эти и многие другие противоположности, определявшие ранее жизнь человека, теперь сглаживаются и исчезают. И главное, что исчезло — это, как уже было сказано, различие между реальным и воображаемым. Все равно в мире “гиперреальности”.

¹ От лат. *simulatio* — видимость, притворство, имитация. В современных европейских языках словом “симуляция” обозначается не только имитация, подражание вообще, но, в первую очередь, имитирующее представление функционирования какой-либо системы или какого-либо процесса средствами другой системы или другого процесса (например, компьютерная симуляция производственного процесса). Симуляцией именуется также изучение какого-либо объекта, недоступного прямому наблюдению, посредством “симулирующей” модели. В русском языке и в том, и в другом случае употребляется слово “моделирование”.

Что же касается “симулякров”, то это слово, также ведущее свое происхождение от *simulatio*, обозначающее образ, репрезентацию чего-либо, или какое-либо несубстанциональное, несущностное сходство предметов или явлений. Единственное число — *simulacrum*, множественное — *simulacra*. По сути дела, это слово обозначает модель (математическую, компьютерную или иного рода модель). В русском языке применительно к философскому контексту уже устоялся термин “симулякр” или “симулякра” в единственном числе, и “симулякры” — во множественном.

У Бодрийяра конечно, имеется сгущение образов и преувеличение силы мира симулякров. Но даже если попытаться подойти к делу трезвее и дифференцировать симуляционные и реальные аспекты действительной сегодняшней жизни, невозможно будет не признать, что имеется мощная тенденция к симуляции всего и вся. Недавно прокатившаяся по миру волна споров о возможности клонирования организмов, связанная с очередным судьбоносным шагом научной технологии, показала, что протесты ни к чему не приведут. Пришествие симулякров неотвратимо.

“Распад метаповествований” у Ж.-Ф. Лиотара

Точно так же, как Бодрийяр, Жан-Франсуа Лиотар в своем анализе современных изменений жизни и опыта отправлялся от воздействий знания, науки, технологии. Так же, как у Бодрийяра, у Лиотара имелось марксистское прошлое: он был марксистом и социалистом, прежде чем стал философом постмодерна. В общем, можно сказать, что отдаленные начала постмодерна заложены в элементах марковского социального анализа: прежде всего в концепции товара и товарного фетишизма, в концепции отчуждения и в концепции идеологии. Нельзя считать случайным тот факт, что почти все крупные мыслители постмодерна, начиная от В. Беньямина и Г. Зиммеля и кончая Ж. Бодрийяром и Ж.-Ф. Лиотаром, либо прошли через период марксизма, либо до конца находились под воздействием марксовых теорий и доктрин.

Постмодерн для Лиотара — это отрицание марковского тоталитаризма. Тоталитаризм здесь надо понимать не в политическом, а скорее в теоретическом смысле, в смысле отказа от идеи целого (лат. *totum* — все, целое, совокупность, *totaliter* — все, полностью), которое целиком и полностью определяет части. Он констатирует, что описания общества как целостности, тотальности, независимо от того, как “оформлено” это описание (в терминах целостности, спаянной “органической солидарностью”, как у Дюркгейма, функциональной дифференциации на основе “нормативного консенсуса”, как у Парсонса, или насилием одного класса над другим, как у Маркса), представляется все более и более неадекватным по причине утраты в современном мире дове-

рия к *метаповествованиям*¹. Метаповествования — это всеобъемлющие теории, например, теория социальной эволюции, или теория закономерного чередования социально-экономических формаций, или учение о том, что целью общества является удовлетворение потребностей его членов, либо доктрина о целом, предшествующем частям и их, части, определяющем. Отличительным признаком и теоретической, и социальной функций метаповествования является дедуцирование (если речь идет о теории) или навязывание (если речь идет о мире социальной практики) соответственно теоретических решений или форм поведения, которые диктуются заранее принятым способом видения целого. Метаповествование (или “метанарратив”, если быть ближе к терминологии Лиотара) предполагает телеологию, т.е. идею смысла и цели целого, которая оправдывает, обосновывает, легитимирует насилие в обществе и использование знаний для целей насилия. Метаповествование наделяет смыслом науку, политику, просто всякий фрагмент социального поведения. Что же касается конкретно науки, то она вообще существует как таковая именно благодаря опоре на метаповествование, “лежащее” вообще за ее пределами, — благодаря идее единства объективного мира и объективно существующим целям и задачам научного познания мира. Именно эти метанарративы служат главным средством как легитимации правил науки, так и интеграции научного сообщества и академического порядка знаний, о котором говорилось в предыдущей главе.

Конкретнее, Лиотар называет два метанарратива, на которых зиждется наука: идея получения знания во имя самого знания и идея знания во имя освобождения от природного и социального гнета. На самом деле, считает он, в современную эпоху, когда сложность взаимоотношений знания, общества, природы необычайно возросла, не существует одного или даже двух решений вопроса о природе знаний. Раньше имела вера — сначала религиозная, потом научная, — которая давала представление о конечной цели. В наше время технологическое развитие, прежде всего компьютерные технологии, привело к тому, что внимание уче-

¹ Liotard J.-F. The Postmodern Condition. Manchester, 1981. (Ориг. фр. изд. — 1979 г.)

ных переакцентировалось с целей на средства. То, что считалось средством, т.е. технология, стало самоцелью; в результате метанарративы лишились смысла. Независимо от того, идет ли речь о знании во имя знания, или о знании во имя освобождения, спекулятивные или революционные (освободительные) метанарративы не имеют уже отношения к самой научной деятельности.

Языковая игра — наука

Лиотар предпочитает рассматривать науку как “языковую игру” в витгенштейновском смысле¹. Согласно концепции языковых игр, никакая теория не в состоянии понять язык в его целостности, разве что она сама является одной из языковых игр. Так же, считает Лиотар, надо подходить и к метанарративам: каждый из них — языковая игра, являющаяся одной из множества языковых игр. Таким образом, спекулятивные метаповествования релятивизируются. Сами они претендуют на объективное описание явлений. Лиотар же требует рассматривать каждое из них как языковую игру, правила которой могут быть вычленены путем анализа способов соединения предложений друг с другом².

Пример: языковая игра “наука”. Каковы ее правила?

- В качестве научных допускаются только дескриптивные суждения.

- Научные суждения по существу отличаются от нормативных суждений, которые только и используются для легитимации всякого рода гнета и насилия.

- Компетентность требуется только от того, кто формулирует научные суждения, а не от того, кто их принимает и использует.

¹ Л. Витгенштейн ввел понятие языковой игры, чтобы показать, что значение слов возникает из контекста их применения. Изменение контекстов меняет значения слов. Значение конкретного слова возникает как бы в ходе игры из сочетания и соотношения нескольких контекстуальных значений. В более широком смысле под языковой игрой Витгенштейн понимал “жизненную форму”, т.е. сочетание некоторых правил установления значений с социально-исторической практикой, элементом которой они, эти правила, являются. См.: Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М.: Гнозис, 1994.

² Аналогичный подход практикуется в когнитивной микросоциологии (см. далее в этой главе), где возникновение социального целого трактуется как продукт “языковых игр” участников взаимодействий.

- Научное суждение существует как таковое лишь в системе суждений, которая подкреплена аргументативно и эмпирически.
- Из предыдущего следует, что языковая игра “наука” требует от участника знакомства с современным состоянием научного знания.

Сказанное свидетельствует, что научная игра не требует теперь метанарратива для цели собственной легитимации. Правила ее имманентны, т.е. содержатся в ней самой. Для того чтобы вести ее успешно, конкретному ученому вовсе не нужно добиваться освобождения от кого-то или чего-то, а также не нужно демонстрировать “прогресс” знания. Достаточно того, чтобы его деятельность была признана соответствующей правилам игры, т.е. признана в качестве научной деятельности другими представителями ученого сообщества. Наука, таким образом, оказывается самоподдерживающимся предприятием, не нуждающимся в каком-то внешнем по отношению к ней самой оправдании или обосновании.

Но наличие такой игры ничего не говорит о важности науки и месте, которое она занимает в современном обществе. Поэтому Лиотар идет дальше. Как явствует из приведенных правил, научные суждения требуют эмпирического подтверждения. В сложных случаях само получение подтверждения требует комплексной технологии. Технология организуется согласно принципу эффективности, т.е. для получения наибольшего результата при наименьших затратах. Но комплексная технология требует денег. Тот, кто располагает финансами, оказывается в состоянии получить искомое доказательство своих теоретических суждений. Таким образом, говорит Лиотар, технология оказывается не следствием “применения” научных суждений в промышленной и социальной практике, а средством получения самих этих научных суждений.

Так “составляется уравнение из богатства, эффективности и истины”, — констатирует Лиотар¹. Поскольку по причине ограниченности ресурсов подход с точки зрения эффективности преобладает, истина оказывается на стороне лучше финансируемых исследований. Ибо именно те, кто имеет достаточно финансирования, оказываются в состоянии обеспечить технологию, нужную для получения эмпирического подтверждения. Более того, на их стороне оказывается и справедливость: получение эмпирического

¹ Liotard J.-F. The Postmodern Condition. P. 45.

подтверждения свидетельствует о том, что распределение средств было справедливым. А если те, кто имеют финансы, имеют и власть (а это, по Лиотару, неизбежно, ибо они получают доход, используя результаты исследования), то оказывается, что наращивание технологий есть одновременно наращивание власти, богатства, истины и справедливости. И все это находится на одном полюсе общества, т.е. локализовано в одних и тех же социальных группах. Знание, воплощенное в современной высокоразвитой науке, оказывается, если следовать Лиотару, не только сила, оно же — и власть, и богатство, и истина, и справедливость.

Но все это справедливо лишь при условии, что эффективность как критерий применения технологий не ставится под вопрос. Если же возникает сомнение в применимости этого критерия в науке, т.е. как только он выходит из пределов научной игры, возникает необходимость метанарратива для ее обоснования. Такой метанарратив предоставляет современная системная теория общества (Парсонс, Луман).

Сравнительные характеристики когнитивных стилей модерна и постмодерна

За последние два-три десятилетия скопилось огромное количество интерпретаций постмодерна — от релятивистских до эссенциалистских. Чтобы продемонстрировать широту спектра интерпретаций, приведем две из них, в корне отличающиеся друг от друга. Обе наглядно представлены в табличной форме.

Немецкий философ П. Козловский дает детальное представление о различии культур модерна и постмодерна (табл. 3.1).

Это гуманистическая версия постмодерна, не ориентирующаяся на реалии жизни и познания, обнаруживаемые, скажем, Лиотаром, Бодрийяром и другими главными теоретиками постмодерна, а исходящая из принципов христианской философии, на позициях которой стоит сам автор.

Другая таблица (табл. 3.2) дает несколько иную версию противопоставление модерна и постмодерна¹.

¹ Friedman J. Post-modernism // The Social Science Encyclopedia. P. 653.

Таблица 3.1

Модерн	Постмодерн
Функционализм: дифференциация сфер жизни и отказ от символизации культуры в знаковом языке искусств	Контекстуальность: взаимопроникновение разных сфер жизни и символизация культуры в метафорическом знаковом языке
Сциентизм в культуре знания: наука, конституирующая мировоззрение	Множественность различных форм полезного, образовательного и религиозного знания
Материализм или идеалистический монизм как теории всеобщей действительности	Духовно-телесный реализм как теория всеобщей действительности
Относительные теории самости и свобода как возрастание возможностей выбора	Субстанциальные теории самости, сущностная свобода, способная изменяться идентичность
Функциональная теория общества	Органическая теория общества
Естественно-научно и механистически ориентированная экономическая теория	Общественно- и естественно-научная экономическая теория
Экономико-технический принцип принятия решений (техноморфизм)	Социокультурный принцип принятия решений (антропоморфизм)

Источник: Козловский П. Культура постмодерна. М., 1997. С. 46.

Таблица 3.2

Модерн	Постмодерн
Научное познание Большая теория Универсализм Символическая значимость Связность (согласованность) Цельность (холизм) История Рациональное эго Интеллектуальность	Мудрость (культурное постижение) Замкнутые смысловые констелляции Партикуляризм Симулякры Коллаж, пастиш Фрагментарность Истории Либиозное "я" Чувственность

Приведенные таблицы демонстрируют важные характеристики постмодерна и отличия его от модерна. Самое же главное для нас отличие постмодерна от модерна, к сожалению, в таблицах не представленное, заключается в изменении способа *репрезентации*

мира. Знание (в самом широком смысле слова, не только научное, но всякое — “любого вида и в любом объеме”) перестает считаться репрезентирующим реальность, объективно существующую вне его.

Объективность — самый грандиозный из метанарративов модерна, а постмодерн от него отказывается. Такая ситуация порождает массу парадоксов. Как показывал еще В. Беньямин, классическая версия модерна парадоксальна: модерн — это миф о модерне, рациональность — это образ иррационального мира, являющийся ему самому. Но постмодерн еще парадоксальнее, если можно так выразиться. Ибо отказ от объективности как главного метанарратива влечет за собой допущение в жизнь бесконечного количества других метанарративов. Отказ от главного метанарратива отменяет его тоталитарную власть. Уже нельзя сказать от имени объективности: это правильно, это соответствует объективному состоянию вещей, а потому этот “рассказ” может быть “вставлен” в глобальный метанарратив и эта конкретная история может стать частью всеобщей истории. Без объективности метанарративов становится много, и столько же становится несовместимых друг с другом путей жизни, каждый из которых черпает собственную легитимацию из собственного метанарратива. Другими словами, отмена главной, стоящей выше любой другой, т.е. научной объективности порождает массу объективностей, несоизмеримых друг с другом.

Осмысление этой глубоко парадоксальной ситуации и родило идею постмодерна. Бессмысленно говорить о том, каков мир “в действительности”, и на этом основании судить о том, правильна или неправильна идея постмодерна. Мир “как он есть” целиком помещается в постмодерне вместе с его метанарративом, т.е. с его историей, настоящим, прошлым и будущим, будь оно выражено в марксистских, либерально-демократических, консервативных или любых других исторических и идеологических схемах. Постмодерн не опровергает их, а вмещает в себя (так же, как и мир, каким он мог быть, но не стал, каким он может быть, или должен быть, или таким, как я его себе представляю, и т.д. и т.п.). Эта характеристика постмодерна, отличающая его от прошедших периодов истории человечества — традиции и модерна, позволяет говорить о постмодерне как о новой когнитивной эпохе.

3.4

Фрагментация социологического опыта

Четыре направления интерпретации науки

Как сказано выше, именно релятивистская философия науки вкпе с традицией мангеймовской социологии знания в основном и определила развитие новых направлений исследования науки в современный период. Французский исследователь науки М. Каллон выделил в многообразии современных интерпретаций динамики научного познания четыре главных направления, рассматривающих науку: 1) как рациональное знание; 2) как конкурентное поле; 3) как совокупность социокультурных практик; 4) как “расширенный перевод”¹. Все это как бы по отдельности и независимо друг от друга существующие научные программы. Каждое из направлений выделяет свой собственный аспект исследования и предполагает свое собственное видение динамики науки, главных действующих лиц (акторов), их функций, организационных форм и т.д.

В *первом* из этих направлений определяющую роль играет специфика научного познания, т.е. отличие науки от всех прочих форм знания. Предметом исследования становятся научные высказывания и системы высказываний, их отношения между собой. Для целей их анализа вырабатываются правила соотнесения высказываний и соответствующие системы интерпретаций. Субъекты высказываний, т.е. акторы в научном поле, — только ученые; прочие субъекты, организации, системы деятельности рассматриваются как нерелевантные по отношению к собственно науке, все экстранаучные, контекстуальные воздействия не принимаются в расчет. Ученые руководствуются в своих решениях рациональными соображениями и определенного рода моральным долгом

¹ Callon M. Four Models for the Dynamics of Science // Handbook of Science and Technology Studies / Ed. by S. Jasanoff, J. Markle et al., L.; New Dehli, 1994.

ванием; цель их деятельности — выработка научных высказываний, “качество” которых постоянно контролируется. Орудие контроля, отбора высказываний и формирования консенсуса в научных группах — рациональная научная дискуссия.

Существование науки как системы когнитивных и дискурсивных элементов поддерживается социальной организацией — научными институтами, которые рассматриваются как нормативная система, гарантирующая научную дискуссию по рациональным правилам, т.е. выработку соответствующей мотивации, проверку и перепроверку научных высказываний. Наука, с точки зрения сторонников этой модели, развивается в процессе двоякого рода диалога: диалога между учеными и природой и диалога между самими учеными.

Этот подход более традиционен, чем остальные три из четырех, выделенных Каллоном. Он ориентирован не на социологию, а на теорию науки, или на логику науки в попперовском смысле слова. Это типичный *интерналистский* подход, рассматривающий науку вне ее социального контекста, или, если использовать терминологию Поппера, сосредоточивающийся на контексте обоснования в противоположность контексту открытия¹.

С точки зрения *второй*, “конкурентной”, модели центральную роль в оценке научных достижений играют не их дискурсивное и когнитивное качество, а их новизна, оригинальность, а также и полезность. Последнее вовлекает в оценку научных достижений и внеучную среду. Ясно, что содержание знания само по себе начинает играть второстепенную роль. Главными акторами в поле науки здесь также являются ученые, но они играют здесь двоякую роль: они сами судят о новизне и оригинальности достижений своих коллег, но о полезности их достижений судят другие, не ученые. Поэтому и дискуссия, в ходе которой вырабатывается научный консенсус, происходит при активном участии более широ-

¹ Контекст открытия — это вся совокупность беспорядочных и не поддающихся рациональному учету факторов, приводящих к научному открытию. Это и социальные, и социально-психологические, и индивидуально-психологические факторы, и закономерно возникающие, и случайные обстоятельства. Контекст обоснования — это рационально организованный процесс испытания сформулированных теоретических положений на истинность и объективность. Здесь научные положения очищаются от всех случайных и приводящих влияний, подтверждаются или опровергаются.

кого, чем собственно научное, сообщества. В рамках этого подхода в анализ науки включаются и вненаучные факторы. Хотя собственно научное ядро руководствуется нормами и правилами, выработанными самой наукой, принимается во внимание и воздействие среды: набор социополитических и экономических факторов. Так, научная организация играет здесь несколько иную роль, чем в предыдущем варианте: она служит отделению внутринаучной от вненаучной среды, а также обеспечивает связи между одной и другой. Что касается внутринаучной среды, то в ней центральное место занимают мотивы, не являющиеся собственно научными (тоже в отличие от предыдущей модели), а именно: материальное вознаграждение, статус, привилегии в распределении ресурсов. Соответственно этой предполагаемой мотивации ученых рассматривается и социальная структура научных организаций: стратификация и мобильность. Эта модель в целом базируется на методологии экономического анализа. В ней имеются явно выраженные *экстерналистские* мотивы, но это достигается во многом за счет утраты специфики науки именно как системы организации познания.

Третье направление, или третья группа подходов, которое ориентируется на анализ социокультурных практик, исходит из предпосылки, согласно которой наука ничем не отличается от других систем деятельности и состоит из тех же компонентов, что и прочие системы. Решающую роль в ней играет имплицитное повседневное знание, в частности то, что мы называем диффузным знанием. Это непосредственное, не эксплицированное и часто не отрефлексированное знание правил и особенностей их применения, принятых в данной культурной среде, языковая компетенция, т.е. умение выражать свои мысли в нужном “залоге”, уместном именно в данных конкретных речевых ситуациях, умение на ходу учиться на примерах, знание локальных и ситуационных поведенческих технологий, умение использовать инструменты и оборудование для получения необходимого результата и т.д. и т.п. Все это никогда не бывает записанным в публично провозглашаемых принципах и нормах науки, но тем не менее в качестве социокультурных практик оказывается непосредственной средой деятельности ученых. Все это не входит в содержание публичных лекций или университетских курсов по теории, методологии или организации науки, но передается новым поколени-

ям ученых в ситуациях практической совместной работы, а затем воспроизводится ими, также не становясь при этом, как правило, предметом систематической методологической рефлексии.

Таким образом понимаемое диффузное знание, поддерживаемое совокупностью социокультурных практик, анализировалось еще в 1950-х гг. английским философом М. Полани под именем неявного или личностного знания¹. Правда, открытие “личностного знания” и роли, которую оно играет в научном “производстве”, для самого Полани оказалось чем-то вроде шока. Полностью осознавая необходимость релятивистских выводов из своих размышлений, он писал: “Как мы можем прийти к имеющему универсальный смысл ответственному суждению, если действуем в рамках концептуальной схемы, заимствованной из локальной культуры, и если наши мотивы переплетаются с силами, ориентированными на поддержание социальных привилегий? С точки зрения критической философии само это положение вещей превращает все наши убеждения всего лишь в производные от данной конкретной среды и интересов. Но я не принимаю этого вывода. Веря в оправданность сознательно взятых на себя интеллектуальных обязательств, я принимаю эти случайности личного существования как конкретные возможности для осуществления своей личной ответственности. Основой для этого принятия является мое призвание”². В другом месте он замечает: “...Я призван искать истину и утверждать мною найденное”³. Этическую позицию Полани можно обозначить как героическое следование императиву объективного познания в условиях, когда становится очевидной сама невозможность такого познания.

То, что для Полани является драмой, переживание которой требует высочайшей моральной ответственности, — для сторонников описываемой модели научной динамики просто реальность, в которой и согласно правилам которой формируется научная практика. Если научная деятельность ничем, или мало чем отличается от прочих видов деятельности в рамках конкретной культуры, то “объективные” результаты науки формируются как продукт консенсуса, складывающегося во взаимодействии сил и вли-

¹ Полани М. Личностное знание. М.: Прогресс, 1985.

² Там же. С. 336.

³ Там же. С. 324.

аний внутри научных и при участии вненаучных групп. Явной слабостью этого подхода критики считают недоучет воздействия крупномасштабных социальных структур и институтов, в том числе и структур организации самой науки. Под научной организацией здесь понимается совокупность эксплицитных и имплицитных правил, образующих некое стабильное нормативное ядро, вокруг которого и возникают переменчивые констелляции сил и воздействий экономического, интеллектуального, политического характера. Что касается прогресса науки, то он имеется, но вряд ли его можно назвать прогрессом в деле объективного познания мира; в качестве прогресса он выступает лишь косвенно — через посредство усиления воздействия науки на все сферы социальной жизни.

Последняя из выделенных Каллоном моделей — наука как “расширенный перевод”. Внимание исследователей здесь сосредоточивается на связях и взаимодействиях технической аппаратуры, используемой в исследованиях, научных высказываний и индивидуумов, применяющих эту аппаратуру и формулирующих высказывания. Правда, понятие “высказывание” здесь заменяется понятием “запись” (inscription). Под записью понимается все, что может быть прочитано или считано — от графической картинке на компьютерном дисплее до лабораторного протокола и далее до публикации в научном журнале. В процессе движения от первого к последнему и происходит постоянный “расширенный перевод”. По мере того как данные движутся из тиши лабораторий к более широкой публике, форма и контекст их, а также содержание постоянно реконструируются.

Это взаимодействие между приборами, записями и индивидуумами — учеными происходит под воздействием более широких структур — так называемых сетей перевода, различающихся по величине и сложности. Перевод оказывается осмысленным только тогда, когда он локализован в одной из сетей. Всякая “запись” является попыткой такой локализации. Понятие “сети перевода” релятивизирует всякие различия между контекстами высказывания: между природой и обществом, лабораторией и общественностью, макро- и микроконтекстом.

На двух последних из выделенных Каллоном направлениях мы остановимся подробнее.

Практическая рациональность вместо “научной рациональности”

Если возникновение и становление науки происходило в постоянной и упорной борьбе с религиозным мировоззрением, то в наше время наука в глазах постороннего, ненаучного наблюдателя сама заняла место религии. Причиной тому стала практическая *недоступность* для “непосвященного”, неспециалиста, “внутреннего” содержания науки, *сложность* получения научных результатов, схожая с таинствами религии, наконец, *вера* в науку как открывателя истины и как практического спасителя человечества, заместившая в глазах подавляющего большинства людей рациональное понимание роли и места науки в мире. Сама наука и научная деятельность как бы сдвинулись в область мифа и магии.

Общее положение относительно того, что наука является социальным институтом и соответственно в анализе научного знания следует учитывать социальные и социально-психологические аспекты науки — нагруженность интересами, групповое давление и т.д., — можно считать доказанным. Но из признания наличия социальных аспектов вовсе не следует сомнения в изначальной объективности научного познания, т.е. в том, что а) наука основывается на знании фактов, б) что научные теории отражают объективную связь между фактами, в) что описания фактов и восхождение от фактов к теории совершаются по правилам рациональной научной процедуры. Последнюю можно описать как процедуру, каждый шаг которой осуществляется на достаточном основании, будь то эмпирическое или логическое основание. При этом логика на каждом этапе проверяется эмпирией, т.е. теоретическое заключение — экспериментом. Наука живет и растет в постоянной соотношенности с фактами¹.

¹ В самой первой современной концепции науки — позитивистской — суждения фактов, так называемые “протокольные суждения” рассматривались в качестве основы, на которой зиждутся теоретические положения. В гипотетико-дедуктивной концепции К. Поппера эмпирии уделялась уже иная роль: факты выступают оселком, на котором пробуетея правильность теории. Но в любом случае без эмпирической проверки — называется она верификацией, как у Карнапа, или фальсификацией, как у Поппера, — говорить о научном знании бессмысленно. Именно возможность эмпирической проверки является критерием отграничения науки от не-науки. Если наши рассуждения не могут быть проверены фактами, значит они не научны. Это не значит, что они порочны, нелогичны, ложны и т.д. Они могут относиться к сфере искусства, философии, мифологии, но они — не наука.

Признав влияние социальных и социально-психологических факторов на ход научного развития, мы вовсе не ставим под вопрос объективность науки. Мы просто признаем, что это — не чистая объективность и что, следовательно, результаты научного познания нуждаются в некотором “очищении”.

Одним из средств такого очищения является знаменитое поперовское разделение сферы научной деятельности на “контекст открытия” и “контекст обоснования”. Контекст открытия — это вся совокупность беспорядочных и не поддающихся рациональному учету факторов, приводящих к научному открытию. Это и социальные, и социально-психологические, и индивидуально-психологические факторы, а также обстоятельства как закономерно возникающие, так и случайные. Ньютону упало на голову яблоко, Кекуле увидел бензолные кольца во сне, Карл Маркс совершил свои открытия, пристально наблюдая социальный мир. Контекст обоснования — это (несколько огрубляя суть дела) область экспериментальной проверки открытия, испытания сформулированных теоретических положений на истинность и объективность. Здесь научные положения очищаются от всех случайных и привходящих влияний, подтверждаются или опровергаются. Контекст обоснования — это в конечном счете контекст лабораторного эксперимента.

Социология знания добралась до лабораторий ученых довольно поздно, в конце 1970-х гг. Это было невозможно на предыдущих этапах ее развития — от Мангейма вплоть до Куна и Фейерабенда, когда она строилась как абстрактная теоретическая дисциплина, скорее социологизированная эпистемология, чем социология. Ей не доставало метода, способного стать основой эмпирического анализа. Конечно, существовала традиционная социология науки, но ей не хватало теоретических умозрений, которыми располагала социология знания.

Лишь развитие социальной феноменологии и некоторых родственных ей направлений, сосредоточившихся на анализе повседневности, поставивших в центр рассмотрения именно те аспекты социального мира, которые социологи (так же как и все прочие люди) принимали на веру, считали самоочевидными и недостойными исследовательского внимания, дали социологии возмож-

ность пристально взглянуть в лабораторную повседневность и прийти к весьма неожиданным и даже шокирующим выводам относительно рациональности и объективности науки¹.

Немецкая исследовательница К. Кнор-Цетина, изучавшая практическое мышление ученых в ходе лабораторной экспериментальной работы, нашла, что речь здесь должна идти не столько о *познании*, сколько о *конструировании* фактов, в ходе которого используются несколько “моделей” рациональности, никак не совпадающих с идеализированным образом научной рациональности, гарантирующей объективность познания.

Прежде всего в исследовательской практике научная рациональность подменяется *рациональностью выбора*, поскольку ученые работают в определенном социальном и “вещном” контексте и не могут не принимать его во внимание. Элементы этого контекста — ситуации их практической деятельности: доступность приборов и материалов, уровень энергетической обеспеченности, иерархические отношения в рамках научного коллектива и т.д. и т.п. В результате выбор проблем и направлений исследования определяется чем угодно, но не имманентной логикой предмета исследования.

Более того, критерии выбора проблемы иногда не имеют даже косвенного отношения к науке как таковой. Автор говорит о *смещении критерия выбора* за пределы лаборатории; это происходит, когда ученый вынужден принимать во внимание более широкий контекст своей деятельности, причем даже те его аспекты, которые лежат совсем в иной (не научной) сфере его мира. Это может быть, например, сфера финансов, или административная, или любая иная сфера.

“Здесь, — пишет Кнор-Цетина, — сама по себе обнаруживается *трансэпистемическая*² компонента научной рациональности.

¹ Latour B., Woolgar S. Laboratory Life. The Social Construction of Scientific Facts. Beverly Hills; L., 1979; Knorr-Cetina K. Die Fabrikation der Erkenntnis. Zur Anthropologie der Wissenschaft. Frankfurt a. M., 1984 (англ. вар.: Knorr-Cetina K. The Manufacture of Knowledge. An Essay on the Constructivist and Contextual Nature of Science. Oxford, 1981).

² Автор называет эпистемическими (от греч. Episteme — знание, наука) те элементы суждения и деятельности, которые обусловлены стремлением к истинности познания. Соответственно трансэпистемические — это те, что принимают в расчет и другие, не обусловленные стремлением к истине мотивы. Научное сообщество — это те группы специалистов, на которые ученый ориентируется в своей деятельности. Транснаучные группы или сферы — это те группы или общности, не относящиеся к научному сообществу, на которые также ориентируется ученый при принятии решений в своей научной работе.

Рациональность, учитывающая как внутрилабораторные обстоятельства, так и факторы, находящиеся далеко за пределами лаборатории, отнюдь не ограничивается набором аргументов чисто научной или хотя бы чисто логической природы. Ученый вовлекается в *транснаучные* сферы деятельности, где агентами выступают отнюдь не группы специалистов и даже не «научное сообщество» в целом... Поскольку наука в лаборатории *не* ограничивается научно-эпистемическими соображениями в узком смысле слова, она оказывается соотнесенной с общественными контекстами, которые включены в транснаучную и трансэпистемическую рациональность лаборатории”¹.

Автор выделяет еще несколько “рациональностей” или “логик”, которые прямо проявляются в научной деятельности: “оппортунистическая рациональность”, мышление по аналогии, или метафорический перенос, “литературная рациональность” и интерпретативная рациональность. К последней, интерпретативной “рациональности”, мы вернемся позже, когда будем обсуждать проблематику социальных наук. Пока же рассмотрим другие выделенные автором формы обоснования выбора в научной деятельности.

Оппортунистическая рациональность — это и есть собственно рациональность выбора в лаборатории. Ученый — типичный оппортунист, использующий для достижения своих целей любые возможности, которые предоставляет случай. Именно этими возможностями определяется зачастую направление исследований. Например, в том калифорнийском научном центре, в жизнь которого пыталась “погрузиться” Кнор-Цетина, имелась вспомогательная лаборатория (*service-lab*), услугами которой могли пользоваться все сотрудники центра. Они и пользовались, что обеспечивало экономию сил и средств. Но, как говорили ей многие исследователи, если бы они проводили определенные анализы сами, они выбрали бы другую методологию, чем та, которая практиковалась в *service-lab*. Поскольку эти анализы получались “практически даром”, они ими пользовались при любой возможности.

Другой пример касается ограниченности энергетических ресурсов. Калифорния находилась в ситуации энергетического кризиса. Было временно запрещено проведение энергоемких экспериментов после пяти часов вечера и по выходным. Поэтому био-

¹ Knorr-Cetina K. Die Fabrikation der Erkenntnis. S. 271.

химические эксперименты, рассчитанные на более долгий срок, прерывались, а образцы замораживались на периоды пика потребления энергии. В исследовательских отчетах об этом, разумеется, не сообщалось. Это лишь два из множества примеров, проанализированных и систематизированных немецкой исследовательницей. Они свидетельствуют о случайном (не “эпистемическом”) характере выбора стратегий (первый), а также о внешних (транс-научных) воздействиях, определяющих ход экспериментов.

Другие приводимые ею примеры демонстрируют (а) наличие “локальных”, присущих в практике той или иной лаборатории, того или иного научного центра, “идиосинкразий” относительно, скажем, массы вещества, необходимой для успешного анализа, или времени, в течение которого вещество должно подвергаться воздействию реактива. На практике в разных лабораториях одни и те же стандартные анализы проводятся по-разному, что, естественно, также не упоминается в отчетах. Налицо также (б) постоянная “осцилляция” критериев выбора стратегий и (в) воздействие на выбор властных отношений в рамках научной организации.

Эти примеры могут показаться банальными, но они как раз представляют собой те элементы лабораторной повседневности, над которыми, как правило, не задумываются ни сами ученые, ни социологи науки. Эти банальные факты лабораторной жизни крайне слабо отражаются в работах по социологии науки и практически никогда не отражаются в научных статьях — отчетах об исследованиях. Действительно, кто будет писать в статье, что выбор стратегии исследования был обусловлен тем, что *service-lab* работает быстро и дешево, или что необходимый для опытов аппарат был занят руководителем лаборатории и пришлось использовать тот, что нашелся у соседей! Точно так же не будет упомянут в статье, посвященной функциональным характеристикам определенных протеинов, факт энергетического кризиса в Южной Калифорнии в таком-то году в разгар курортного сезона. Локальные идиосинкразии и осцилляция критериев выбора стратегии также никогда не находят отражения в научных отчетах. А ведь именно эти идиосинкразии превращают каждый, казалось бы, банальный анализ, проводимый ежедневно чуть ли не миллионкратно в разных лабораториях в разных концах Земли, если не в уникальный, то во всяком случае, в ситуационно обусловленный.

Почему эти “банальности” так важны? Потому что именно они делают каждый научный результат продуктом множества ситуационно обусловленных решений, принимаемых под воздействием множества более или менее чуждых науке факторов. Эта практическая логика ученого в процессе научной работы и есть оппортунистическая рациональность, чуждая идеализированной научной рациональности.

Но еще более важен тот факт, что, когда из множества более или менее случайных выборов и решений выкристаллизовывается итоговый отчет, итоговая статья, эта ситуационность и случайность исчезают, и само исследование — как метод его, так и результат — представляются как универсально значимые.

“Чтобы вернуть научному продукту его контекстуальный и партикулярный характер, надо идти в лабораторию и наблюдать за его *возникновением*, — пишет Кнор-Цетина. — С точки зрения оппортунистической логики, действие которой при этом обнаруживается, «научный метод» представляется локально обусловленной и локально развивающейся формой практики, а не безгранично универсальной парадигмой. Он не внеконтекстуален, а наоборот, контекстуально обусловлен”¹.

Когнитивная микросоциология и “методологический ситуационизм”

Такая — социологическая по своему происхождению — концепция науки оказывает обратное воздействие на социологию, меняя традиционный взгляд на социальную теорию и методологию. Будучи относительно новой для теории науки, она не является совершенно новой для социологии. Истоки такого контекстуализма были заложены еще в символическом интеракционизме Дж. Мида и др., предполагались “теоремой Томаса”, но наиболее последовательно были продемонстрированы Г. Гарфинкелем в его концепции этнометодологии. Кнор-Цетина пытается объединить все эти выступающие как альтернатива господствующему позитивизму направления в концепции когнитивной микросоциологии. “Вызов со стороны микросоциологии, — пишет она, — можно

¹ Knorr-Cetina K. Die Fabrikation der Erkenntnis. S. 90—91.

наилучшим образом проиллюстрировать двумя различными, но взаимосвязанными процессами: переходом от нормативного к когнитивному пониманию *социальной системы* и отказом от таких понятий в методологии, как коллективизм и индивидуализм в пользу *методологического ситуационизма*"¹.

Сначала о когнитивном понимании социальных процессов. По сравнению с общепринятой нормативной трактовкой общественной системы, когнитивный поворот, который можно отнести к микросоциологическим подходам, характеризуется переключением интереса и внимания социологов на использование языка и на когнитивные процессы, выражающие и интерпретирующие значимость ценностей и обязательств. Это подход, согласно которому первостепенное значение придается практическому мышлению субъектов и который не интересуется причинами, якобы действующими за чьей-то спиной. Подход, в основе которого *знающий, активный* субъект как первопричина человеческого поведения. В зависимости от того, делается акцент в этом словосочетании на *знающем* или на *активном*, формируются различные исследовательские подходы. В первом случае считается, что приписываемые субъекту знания объясняют его поведение: участники действуют в соответствии с подразумеваемыми знаниями и нормами, которые они умеют применять в конкретных ситуациях, но которые они, возможно, не могут изложить. Задача ученого-социолога — определить нормы и подразумеваемые возможности, лежащие в основе повседневной деятельности. Разница между постулируемыми этой моделью когнитивными правилами и нормативными обязательствами, содержащимися в предыдущих концепциях, поясняет Кнор-Цетина, станет очевидной, когда мы проведем аналогию с лингвистикой. Подобно правилам синтаксиса трансформационной грамматики, нормы поведения, обнаруживаемые в микросоциологическом подходе, представляют собой аналог глубокой структуры поведения, усваиваемой индивидом в процессе социализации. В отличие от юридических норм или глубоко укоренившихся культурно-ценностных ориентаций они не являются социально кодифицированными в общественном смысле, и их игно-

¹ Advances in Social Theory and Methodology. Toward an Integration of Micro- and Macro-sociologies / Ed. by K. Knorr-Cetina, A.V. Cicourel. Boston; L.: Routledge and Kegan Paul, 1986.

рирование скорее может поставить под сомнение компетентность некой личности, привести к ее дисквалификации как знающего члена общества, а не к юридической или моральной ответственности. Теория поведения в таком случае становится теорией социальной или культурной компетенции.

Такой подход влечет определенные последствия и для социологической теории, и для методологии. В теории вместо образа общества, интегрируемого общими ценностями и моральными нормами, в результате “микроскопического” исследования вырисовывается *когнитивный порядок создания и описания сущности*. Вместо того чтобы воспринимать общественное устройство как однородную систему, регулирующую действия индивида, его начинают понимать как результат конкретного коммуникативного взаимодействия. В каком-то смысле проблема социального устройства переопределена так, что традиционный подход к социальному порядку поставлен с ног на голову. Социальный порядок уже не то, что объединяет общество через некий контроль воли индивидов, а нечто осуществляющееся в ходе обыденных земных, но неумолимых преобразований этой воли.

Можно констатировать, что на уровне социологической теории микроподход представляет собой вызов ведущему свое происхождение от Дюркгейма и благодаря структурному функционализму прочно закрепившемуся в социологической традиции видению общества как системы, интегрированной базовыми культурными ценностями. Точно так же меняется и методология. На место традиционных для социологии методологического холизма (структурный функционализм) и методологического индивидуализма (позитивизм) ставится *ситуационизм*. Вот как определяет различия этих трех методологических подходов сама Кнор-Цетина.

Согласно холизму, общество как целое определяет ситуацию индивида таким образом, что он не может (или даже не пытается) уклониться от выполнения функций, отведенных ему системой в целом. С этой точки зрения социальное поведение должно объясняться объективной ситуацией, либо функцией индивида в системе и законами, управляющими данным обществом. Эти законы должны рассматриваться как реальность *sui generis* (по Дюркгейму), характеризующая конкретную общность как целое, а не производное индивидуалистических принципов. Методологический индивидуализм, напротив, требует сведения любого понятия к

конкретным индивидуальным целям, интересам, к индивидуальному поведению, поскольку лишь индивиды являются реально существующими и, следовательно, реально ответственными социальными акторами. В отличие от обоих этих методологических подходов микросоциология апеллирует не к общности и не к индивиду, а к взаимодействию в социальных ситуациях, рассматривая последнее в качестве методологической “единицы”.

Как отмечал И. Гофман в статье “The Neglected Situation”, подход, характерный для большинства социальных исследований предполагает, что “социальные ситуации не имеют собственных свойств и структуры, а являются лишь геометрической точкой пересечения акторов, ведущих диалог и обладающих определенными социальными характеристиками”¹. Такова, к примеру, идеология социологических опросов, в фундаменте которой лежит предположение о том, что человеческое поведение может быть описано и предсказано на основе переменных, характеризующих отдельных акторов. Напротив, в большинстве микросоциологических подходов социальные ситуации понимаются как реальность *sui generis*, которая характеризуется собственной организацией и динамикой, которые невозможно ни описать, ни предсказать на основе знания характеристик отдельных акторов².

Подводя итог, Кнорр-Цетина подчеркивает, что, содержащийся в микросоциологических исследованиях методологический ситуационизм отрицает правомерность методологического индивидуализма по причине упрощенного представления последнего о том, что ключевой фигурой социального действия является отдельный человек. Также отрицается и методологический коллективизм (холизм) — по причине его опять-таки чересчур упрощенных представлений о том, что ответы на вопросы интервью либо данные, представленные в тематических докладах или отчетности организаций, являются надежным источником “макроскопических” сведений. Взамен ситуационизм предлагает концепцию взаимности и ситуативного характера социального действия. Кроме того, ситуационизм ставит под сомнение возможность сколь-

¹ Goffman E. The Neglected Situation // Language and Social Context / Ed. by P.P. Giglioli. Harmondsworth: Penguin, 1972. P. 63.

² Knorr-Cettina K. Die Fabrikation der Erkenntnis.

ко-нибудь доказательно аргументировать, ссылаясь на данные и отчеты, о контексте и процессе получения которых исследователь ничего не знает. Но не только критикой методов занимается ситуационизм. Его корни лежат в сдвиге интереса, благодаря которому язык и познание частично заменили нормативную социальную интеграцию в качестве главного предмета научного интереса. Для одних этот сдвиг означает исследование строя, правил и норм, а также средств, которые предположительно создают социальное поведение. Для других он сводится к изучению практик, посредством которых члены общества (вос)производят и обретают ощущение упорядоченности жизни. В обоих случаях результатом является новая форма теоретически “обоснованного” эмпиризма.

3.5

Резюме

В настоящей главе предпринята попытка показать развитие некоторых новейших концепций социологической методологии на фоне главных социокультурных тенденций современной эпохи. Рассматриваются переход от модерна к постмодерну (при всей условности этого процесса), анализируются некоторые основные концепции модерна (рационалистический модерн, модерн как вечное возвращение) и постмодерна (прежде всего те, что сформулированы в трудах французских философов М. Фуко, Ф. Лиотара, Ж. Бодрийяра). Рассмотрение на этом “фоне” социологических концепций так называемой когнитивной микросоциологии и методологического “ситуационизма”, ведущих свое начало от символического интеракционизма, социальной феноменологии А. Шюца и этнометодологии Г. Гарфинкеля, позволяют оценить их как последовательное проявление в социологии характерного нынешнего духа времени. Эти социологические подходы воплощают в себе основные направления развития современного мышления.

Во-первых, они последовательно противопоставляют себя социологическим “метанарративам”, выражением которых стали как системно-структурные теории общества, так и позитивистские методологические концепции научной социологии, предполага-

ющие последовательный кумулятивный рост научного знания. Нужно откровенно признать, что противопоставление ситуационизма позитивизму, по существу, является противопоставлением его научности как таковой, ибо в рамках любой существующей или возможной критики модерна именно наука рассматривается как едва ли не самый главный метанарратив модерна и главное основание всей духовной и материальной системы господства модерна.

Во-вторых, дополнительной по отношению к критике социологической традиции как метанарратива модерна (сопровождающейся, впрочем, вполне серьезной и глубокой критикой позитивистской и функционалистской методологии) оказывается трактовка науки как языковой игры в духе лиотаровской, почерпнутой у Витгенштейна, концепции языковых игр. Правда в ситуационизме, проанализированном здесь на примере работ немецкой исследовательницы К. Кнор-Цетины, речь идет скорее не об языковых, а об организационных играх. Научная работа трактуется как организационный процесс, цель которого — обеспечить соответствие научного продукта организационным требованиям, предъявляемым к такому продукту. В этом смысле как социологическая, так и науковедческая концепции Кнор-Цетины представляют собой дальнейшее развитие релятивистских тенденций в социологии науки, впервые, пожалуй, отчетливо прозвучавших в работах Т. Куна. При этом опять необходимо отметить, что Кнор-Цетина фиксирует реально существующие механизмы научной, более того, лабораторной работы. Это ни в коем случае не спекулятивное, а наоборот, эмпирическое исследование, представляющее собой как бы эмпирическое подтверждение теоретической модели Куна.

В-третьих, зафиксированные в этой главе тенденции в развитии социологической теории и методологии подтверждают справедливость представлений о характерном для модерна “кризисе опыта”, разработанных ранним марксистским критиком модерна В. Беньямином. Беньямин утверждал еще в 1930-е гг., что в капиталистическом модерне на место “опыта”, предполагающего некий надындивидуальный фундамент и укорененность в традиции, приходит “переживание”, отмеченное чертами сиюминут-

ности и полной неукорененности в жизни целого. Методологический ситуационизм представляет собой, пожалуй, лучшую иллюстрацию к беньяминовской идее “кризиса опыта”.

Уже этого краткого перечисления черт современного методологического развития в социологии достаточно, чтобы убедиться в том, что социология идет в ногу со временем. Разложение единства и непрерывности человеческого опыта, как данного в повседневной жизни человека модерна, так и запечатлеваемого, фиксируемого наукой, его фрагментация, “коллажирование” — не только свойство повседневного опыта постмодерна, но и характерная черта трактовки опыта многими новыми социологическими концепциями. Можно сказать, что характерной чертой новейшего времени является “кризис” социологического опыта — разложение и фрагментация социологического опыта, традиционный канон которого сложился в XIX в. в трудах Конта, а затем на рубеже XIX—XX вв. у классиков социологической мысли, прежде всего у Дюркгейма, а также и у Макса Вебера.

Пользуясь тем, что настоящее резюме завершает не только главу, но и книжку в целом, попытаюсь сформулировать главный, по моему мнению, вывод из проведенного в ней анализа. Он состоит в следующем. Социология — любимое дитя модерна. Случайно, или в этом сказалась какая-то еще до конца не осознанная закономерность, но она оказалась рождена, или, по крайней мере, крещена (свое имя “социология” как наука об обществе получила от создателя позитивизма О. Конта) одновременно с появлением манифеста научности, провозгласившего науку двигателем и сердцевиной общественного прогресса — контовского “Курса позитивной философии”.

Более того, в выдвинутой Контом классификации наук социология заняла место на самой вершине иерархической пирамиды. Именно с социологией Конт связывал самые существенные перспективы прогресса науки и общества. В этом смысле уже не кажется случайностью, что именно в трудах классиков социологии были наиболее глубоко и последовательно сформулированы концепции модерна как особенной эпохи в истории человечества. Социология в этом смысле оказалась рефлексией модерна, а социологический опыт — опытом модерна *par excellence*. Концепции мо-

дерна, сформулированные Дюркгеймом, Вебером, Зиммелем, как они изложены в настоящей главе, были одновременно концепциями опыта модерна, и только в этом своем виде они смогли стать его, модерна, обоснованием.

Основные характеристики этого опыта были показаны в гл. 1 и 2. Я не буду здесь снова о них говорить. Скажу лишь, что отмеченный кризис социологического опыта, сопутствующий достаточно резким изменениям в духовном климате эпохи, обещает глубокие изменения самой социологии. Возможно, этот кризис будет означать конец социологии как идеологии модерна.

Избранная библиография

- Американская социологическая мысль: Тексты. М.: Международный университет бизнеса и управления, 1996.
- Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М.: Прогресс-Универс, 1993.
- Барт Р. Мифологии. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996.
- Бауман З. Мыслить социологически. М.: Аспект-Пресс, 1996.
- Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: Медиум, 1996.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М.: Академия-центр: Медиум, 1998.
- Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000.
- Вебер М. Избранное: Образ общества. М.: Юрист, 1994.
- Вебер М. Избранные произведения / Под. ред. Ю.Н. Давыдова. М.: Прогресс, 1990
- Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М.: Гнозис, 1994.
- Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность: Социология Макса Вебера и веберовский ренессанс. М.: Прогресс, 1998.
- Гофман И. Анализ фреймов. М.: ФОМ, 2003.
- Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон-пресс, 2000.
- Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология. М.: Мартис, 1998.
- Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991.
- Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. М.: Мысль, 1994.
- Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995.
- Ионин Л.Г. Понимающая социология: историко-критический очерк. М.: Наука, 1978.
- Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М.: Логос, 2000.
- Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975.
- Миллс Ч.Р. Социологическое воображение. М.: Политиздат, 1962.
- Новые направления в социологической теории. М.: Прогресс, 1978.

- Осипова Е.В. Социология Эмиля Дюркгейма. М.: Наука, 1978.
- Полани М. Личностное знание. М.: Прогресс, 1985.
- Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983.
- Уинч П. Идея социальной науки и ее отношение к философии. М.: Русское феноменологическое общество, 1996.
- Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986.
- Флек Л. Возникновение и развитие научного факта. М.: ДИК, 1999.
- Advances in Social Theory and Methodology. Toward an Integration of Micro- and Macro-sociologies / Ed. by K. Knorr-Cetina, A.V. Cicourel. Boston; L.: Routledge and Kegan Paul, 1981.
- Blumer H. Symbolic Interactionism. Englewood Cliffs, 1969.
- Bryant C. Positivism in Social Theory and Research. L.: Macmillan, 1985.
- Bryman A. Quantity and Quality in Social Research. L.: Unwin and Hyman, 1988.
- Bulmer M. The Chicago School of Sociology. Chicago, 1984.
- Cicourel A. Method and Measurement in Sociology. N.Y., 1964.
- Cicourel A. Notes on the Integration of Micro- and Macrolevels of Analysis // Advances in Social Theory and Methodology / Ed. by A. Cicourel, K. Knorr-Cetina. Boston; L.: Routledge and Kegan Paul, 1981.
- Denzin N. The Research Act in Sociology. Chicago, 1970.
- Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie / Adorno T.W., Albert H., Dahrendorf R. u.a. Neuwied; Berlin: Luchterhand Verlag, 1970 (англ. изд.: The Positivist Dispute in German Sociology. L., 1976).
- Douglas J. Investigative Social Research. Beverly Hills, 1976.
- Feyerabend P. Against Method: Outline of the Anarchistic Theory of Knowledge. L.: Verso, 1972. P. 223.
- Feyerabend P. Science in a Free Society. L., 1978.
- Fiske S., Taylor S. Social Cognition. N.Y., 1985.
- Frake C. The Ethnographic Study of Cognitive Systems // Anthropology and Human Behavior / Ed. by T. Gladwin, W.C. Sturtevant. Washington: Anthropological Society, 1962.
- Garfinkel H. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1963.
- Geertz C. The Interpretation of Cultures. N.Y., 1973.
- Giddens A. Profiles and Critiques in Social Theory. Berkeley, 1982.
- Glazer B., Strauss A. The Discovery of Grounded Theory. Chicago, 1967.
- Gould S. The Mismeasure of Man. N.Y., 1981.

- Habermas J. Die Modern — ein unvollendetes Projekt // Habermas J. Kleine politische Schriften. Bd. 1—4. Frankfurt a. M., 1981.
- Halfpenny P. Positivism and Sociology: Explaining Social Life. L.: George Allen and Unwin, 1982.
- Harre R. The Philosophies of Science. Oxford, 1972.
- Knorr-Cetina K. The Manufacture of Knowledge. An Essay on the Constructivist and Contextual Nature of Science. Oxford, 1981 (нем. вар.: Knorr-Cetina K. Die Fabrikation der Erkenntnis. Zur Anthropologie der Natur Wissenschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1984).
- Kriz J. Facts and Artefacts in Social Science. Hamburg, 1988.
- Lasarsfeld P. Qualitative Analysis: Historical and Critical Essays. Boston, 1972.
- Latour B., Woolgar S. Laboratory Life. The Social Construction of Scientific Facts. Beverly Hills; L.: Sage, 1979.
- Liotard J.-F. The Postmodern Condition. Manchester, 1981.
- Lundberg G. Foundations of Sociology. N.Y., 1939.
- Mead G.H. Mind, Self and Society. Chicago: University of Chicago Press, 1934.
- Merton R. On Theoretical Sociology. N.Y., 1967.
- Park R., Burgess E. Introduction to the Science of Sociology. Chicago, 1921.
- Philosophy of the Social Sciences / Ed. by M. Natanson. N.Y., 1963.
- Plummer K. Documents of Life: An Introduction to the Problems and Literature of the Humanistic Method. L., 1983.
- Popper K.R. Conjectures and Refutations. L.: Routledge and Kegan Paul, 1963.
- Popper K.R. Logik der Forschung. Wien: Springer, 1934.
- Positivism and Sociology / Ed. by A. Giddens. L.: Heinemann, 1974.
- Ritzer G. Sociology: A Multiple Paradigm Science. Boston, 1980.
- Schutz A. Collected Papers. Vol. 1—3. The Hague: Nijhof, 1962—1966.
- Schütz A. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. Frankfurt a. M., 1974.
- Schütz A., Luckmann T. Strukturen der Lebenswelt. Neuwied, 1975.
- Simmel und die fruehen Soziologen / O. Rammstedt (Hrsg.). Frankfurt a. M., 1998.
- Sorokin P. Fads and Foibles in Modern Sociology and Related Sciences. Chicago, 1956.
- Thomas W. Person and Personality. N.Y., 1963.

Thomas W., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America. 2 Vols. Chicago, 1918—1920.

Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik. Tübingen, 1924.

Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen, 1922 (5. Aufl. Stuttgart, 1986).

White W. Learning from the Field: a Guide from Experience. Beverly Hills, 1984.

ХРЕСТОМАТИЯ

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Н. Элиас

Что такое социология?

Чтобы понять, о чем говорит социология, нужно уметь мысленно противопоставить себе самого себя и увидеть себя человеком среди других людей. Ведь социология занимается проблемами “общества”, а к обществу принадлежит и каждый, кто его изучает. Дело в том, что, размышляя о себе самих, люди часто остаются на той ступени мышления, когда сам размышляющий видит себя противопоставленным другим людям как “объектам” и отделенным от них непреодолимой пропастью. Ощущение такого разделения, характерное для данной степени самосознания, выражается в используемых понятиях и оборотах речи, которые делают его как бы само собой разумеющимся и постоянно его усиливают. Например, говорят об отдельных людях и окружающей их среде, о ребенке и его семье, об индивиде и обществе, о субъекте и объектах, не отдавая себе отчета в том, что каждое это отдельное явление не противостоит, а принадлежит “своей среде”, что ребенок принадлежит семье, индивид — обществу, субъект — объектам. При более близком рассмотрении можно выяснить, что так называемая “окружающая среда” для ребенка состоит в первую очередь из других людей — отца и матери, братьев и сестер. То, что обозначается понятием “семья”, не было бы семьей без ребенка.

Общество, которое мысленно противопоставляется индивидам, целиком и полностью состоит из индивидов, каковым является каждый из нас. Но наши средства мышления и речи сформированы так, будто все, кроме отдельного человека, имеет характер “объектов”, и к тому же часто неподвижных объектов. Такие понятия, как “семья” или “школа”, очевидно, относятся к связям, “отношениям” между людьми. Но обычная, привычная модель образования слов и понятий воссоздает эти отношения в таком виде, будто речь идет о предметах, об объектах вроде камней, домов и деревьев.

Источник: Elias N. Was ist Soziologie? München: Juventa Verlag, 1996. С. 9—31. Пер. с нем. И. Судариковой.

Этот овеществляющий характер традиционных языковых средств и соответственно мыслительные операции, относящиеся к группам взаимосвязанных индивидов, к которым, возможно, принадлежит и сам мыслящий субъект, не в последнюю очередь проявляется и в понятии собственно общества, и в манере размышлений о нем. Говорят, что “общество” является “предметом”, который изучают социологи. Это овеществляющее определение затрудняет понимание круга задач социологии.

Мысленная модель, которую люди постоянно имеют в виду, размышляя об отношении себя к обществу, часто соответствует схеме, представленной на рис. 1.

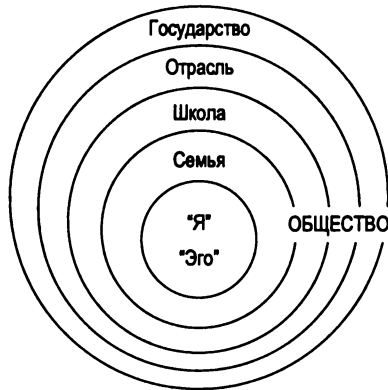


Рис. 1. Схема эгоцентрической модели общества

Место “семьи”, “школы”, “отрасли” или “государства” могут занимать такие структуры, как “университет”, “город”, “система”, и бесчисленное множество других. Именно по такой типичной схеме строятся, в основном, модели социальных образований и выражаются наши о них представления. Здесь имеется отдельный человек, отдельное “я” в окружении социальных структур, которые поданы так, будто они — предметы по ту сторону, вне отдельного “я”. Так же трактуется ныне и понятие “общество”. Лучше понять задачи социологии можно, переориентировав собственное представление о том, что входит в понятие “общество”, и свое собственное отношение к обществу согласно схеме, изображенной на рис. 2.

Эта схема должна помочь читателю пробиться сквозь жесткую корку овещественных понятий, препятствующих ясному пониманию природы его собственной жизни в обществе, и постоянно создающих впечатление, что “общество” состоит из социальных структур и собственного “я” отдельного индивида, причем индивид “окружен” обществом и отделен от него неви-

димой стеной. В этой схеме используется образ множества индивидов, которые связаны между собой разнообразнейшими видами отношений и создают переплетения и конструкции с более или менее устойчивым балансом сил, как, например, семьи, школы, города, социальные слои или государства. Каждый из этих людей является, если использовать овеществляющие понятия, отдельным “я” или “эго”. К числу таких “эго” относится и каждый из нас.

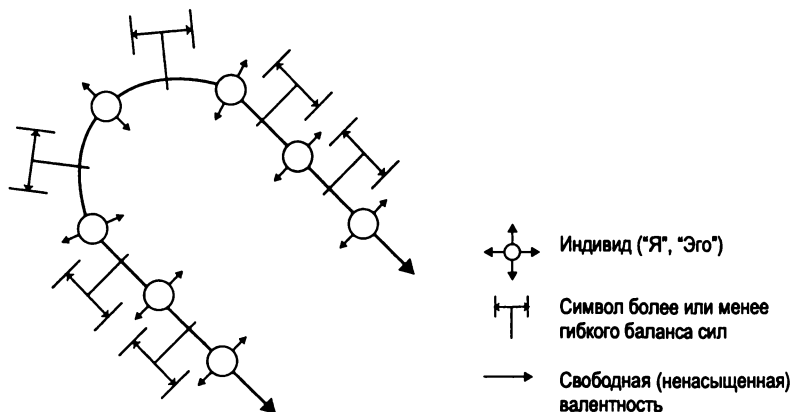


Рис. 2. Схема взаимозависимых индивидов (“семья”, “государство”, “общество”...)

Чтобы понять, о чем идет речь в социологии, необходимо, как уже говорилось, уметь осознать себя человеком среди других людей. Это звучит на первый взгляд тривиально. Деревни и города, университеты и фабрики, сословия и классы, семьи и профессиональные группы, феодальные и индустриальные общества, коммунистические и капиталистические государства — все это системы индивидов. К ним принадлежит каждый из нас. Именно это подразумевается, когда говорят “*моя* деревня, *мой* университет, *мой* класс, *моя* страна”. Но когда человек поднимается от стандартной повседневной точки зрения, где эти выражения распространены и понятны, на уровень научной рефлексии, то возможность говорить о социальных структурах “*мой*”, “*твой*”, “*его*”, равно как и “*наш*”, “*ваш*”, “*их*” забывается. Вместо этого о них говорят так, будто они существуют не только вне данного человека, но и вне и по ту сторону отдельного человека вообще. На этом уровне рефлексии привычнее рассуждать таким образом: “здесь нахожусь я”, или “здесь находятся отдельные индивиды, а там — общественные структуры, «социальная среда», которая окружает меня и каждое отдельное «я» вообще”.

Причины тому разнообразны, следует только указать, где их искать. Особенно важно специфическое принуждение, или давление, которое общественные структуры оказывают на людей, их создавших. Это давление невольно заставляет людей приписывать этим структурам какое-то собственное, отдельное “бытие”, вещественность вне индивидов, их создавших. Овеществление и обезчеловечивание общественных структур в рефлексии, которой способствует преобладающая модель образования слов и понятий, ведет к возникновению “метафизики общественных структур”. Она часто встречается как в повседневном, так и в социологическом мышлении, и ее репрезентирует изображенное на рис. 1 символическое представление отношений индивида и общества.

Эта метафизика тесно связана с естественным процессом переноса образов мышления и речи, созданных и успешно применяемых при изучении физико-химических закономерностей, на исследование общественных взаимосвязей между индивидами. До возникновения научного подхода к природе люди объясняли природные воздействия с помощью средств общения и мышления, родившихся из опыта воздействия людей друг на друга. Они воссоздавали явления, которые мы сегодня понимаем как проявление физико-химических закономерностей — солнце и землю, бури и землетрясения, — пользуясь моделью, основанной на своих наблюдениях за людьми и обществом. Эти явления персонализировались, либо понимались как результат человеческих действий и намерений. Переход от такого магически-метафизического образа мышления к научному, базирующемуся на представлениях о физико-химических закономерностях, в значительной мере привел к отказу от гетерономной, наивно-эгоцентрической модели и переносу ее объясняющих функций на другие модели мышления и общения, более соответствовавшие имманентным законам этих явлений.

В попытках приспособить связи общественных явлений к нашему образу мышления и создать надежный запас знаний о них — а это относится к главным задачам социологии — мы как раз и сталкиваемся с подобной задачей эмансипации. В обществе, как и в природе, люди сталкиваются с неизбежностью и принудительностью, которые пытаются объяснить, чтобы с помощью полученного знания сделать часто бессмысленную, разрушительную, порождающую проблемы неизбежность более контролируемой и управляемой, а также чтобы по возможности снизить ее пагубные воздействия. Поэтому в центре социологической научной и исследовательской работы стоит задача максимально более широкого понимания сути этих проблем и выработки надежного знания о них в каждой специфической области исследования. Первый шаг на пути к этой цели не выглядит особенно сложным. Нетрудно понять, что под “принудительностью” общественных процессов мы понимаем то, что на самом деле является принудительным воздействием людей друг на друга и на самих себя. Но как только делается попытка перейти от непосредственного понимания к рефлексивной коммуникации,

обнаруживается, что имеющийся в нашем распоряжении мыслительный и языковой аппарат предлагает для решения этой задачи либо наивно-эгоцентрические, либо естественно-научные модели. Первое встречается в тех случаях, когда делается попытка объяснить самостоятельный характер развития систем, созданных самими индивидами, личными свойствами, целями и намерениями других индивидов или групп индивидов. Это повсеместно распространенное выделение собственной персоны или своей группы из структур, которые она (персона или группа) составляет совместно с другими, есть одна из многих форм проявления наивного эгоцентризма, или, что то же самое, наивного антропоморфизма, который все еще повсеместно присутствует в суждениях и размышлениях о процессах в обществе. А они в самых разных формах включают в себя средства мышления и речи, построенные на основе моделей для объяснения природных воздействий.

В процессе онаучивания мышления о природе, т.е. о том, что в качестве взаимосвязей в неживой природе отличается от взаимосвязей в обществе, повседневный язык и повседневное мышление европейцев усвоили множество слов и понятий, восходящих к научным описаниям физико-химических процессов и явлений. Эти слова и понятия часто без изменения и осмысления перенимаются для описания общественных процессов. Как и применение разных форм магически-мифического мышления, это ведет к сохранению и поддержанию неадекватных форм мышления об обществе, и блокировке развития других, более автономных и более ориентированных на специфический характер общественных структур.

Поэтому к задачам социологии относится не только изучение и объяснение специфических форм принудительности в определенных эмпирически наблюдаемых общностях и группах или обществах в целом, но также и освобождение социологического мышления от влияния гетерономных моделей, чтобы вместо применения слов и понятий, несущих отпечаток магически-мифических или естественно-научных представлений, можно было приступить к созданию принципиально других, более ориентированных на особенности общественных структур.

Это было бы куда проще сделать, если бы имелось четкое представление о нынешнем уровне освобождения от магически-мифических понятий и уровне развития новых, более отвечающих своему содержанию средств и методов мышления, достигнутом в ходе прогресса естественных наук. Но ясной картины нет. Наблюдение и эксперимент показывают, что многие основные понятия описания природных явлений всего лишь “более или менее” адекватны, а потому выглядят не до конца сложившимися. При этом соответствующие слова, категории и естественно-научные образы мышления кажутся настолько само собой разумеющимися, что возникает впечатление, будто каждый индивид обладает ими сам по себе. Так, например, представления о чисто механической каузальности или непреднамеренной, бесцельной и непланируемой закономерности природы, которые формиро-

вались на протяжении многих поколений в труде размышления и наблюдения, иногда с риском для жизни, вышелушиваясь из антропоморфных и эгоцентрических представлений, стали сначала достоянием элит, потом вошли в повседневное мышление целых сообществ, а теперь выглядят просто “правильными”, “рациональными”, “логичными” представлениями о действительности. Поскольку эти представления постоянно и в достаточном объеме подтверждаются в наблюдении и деятельности, никто уже не спрашивает, как и почему человеческое мышление обрело уверенность в адекватности понимания этих интегративных характеристик универсума.

Из этого, в частности, следует, что общественное развитие способов суждения и мышления о принудительном характере природных явлений до сих пор не принималось во внимание как проблема социологического изучения. Статичное философское представление о научном познании как об “изначально человеческой” форме познания начисто исключает рассмотрение вопроса о социо- и психогенезе естественно-научных моделей мышления, которое само по себе могло бы привести к объяснению этой переориентации мышления и опыта. Этот вопрос снят заранее, даже не появившись в повестке дня, поскольку противопоставлен как всего лишь “исторический вопрос” так называемым “систематическим” вопросам”. Но такое подразделение само есть иллюстрация недостаточности естественно-научных моделей для описания длительных общественных процессов, к которым относится онаучивание мышления. Такие процессы суть нечто в корне иное, чем просто “история” науки, которая противопоставляется якобы неизменной “системе” науки — как некогда естественная история противопоставлялась истории изучения кажущейся неизменной Солнечной системы.

Блокировка проблем долгосрочных общественных процессов ответственна и за то, что до сих пор нет достаточного представления о длительном процессе переориентации европейского мышления, в центре которого стоит взлет естественных наук. Такое представление необходимо, чтобы получить ясный и наглядный образ этой трансформации. Если бы оно существовало, было бы гораздо проще понять тот факт, что и в социологии сегодня на новом уровне опыта и рефлексии речь идет о том, чтобы с помощью эффективной обратной связи с многочисленными эмпирическими исследованиями отвергнуть привычные модели мышления и познания, и постепенно, в ходе поколений выработать другие мыслительные инструменты, более соответствующие специфике человеческих связей как особой области научного исследования.

Освобождение от гетерономных наивно-эгоистических или естественно-научных представлений и соответствующих способов мышления в науках о человеке — это не менее сложная задача, чем такая же задача, стоявшая два или три столетия назад перед естествознанием. Тогда естествоиспытатели вынуждены были бороться прежде всего с институционализированными магически-мифическими представлениями и моделями мышления. Сове-

менным же исследователям в общественных науках нужно обороняться от не менее прочно институционализированных естественно-научных моделей.

Даже если мы до некоторой степени осознаем, что общественные воздействия есть воздействия людей друг на друга и на самих себя, все же нам редко удастся освободиться от общественно принудительных способов выражения и прибегнуть к надлежащим понятиям. Используемые же понятия оставляют впечатление, что эти воздействия, как в случае с природными объектами, есть воздействия неких “объектов” вне человека на человека. Часто об этом думают и говорят так, словно не только камни, облака и воздух, но и деревни и государства, экономика и политика, производственные отношения и технический прогресс, наука и промышленность и бесчисленное множество подобных общественных структур суть “внечеловеческие” данности, которые в силу собственных закономерностей, лежащих по ту сторону всего человеческого (т.е. “среда” или “общество”, как они изображены на рис. 1), “давят” на каждого человека, на каждое “я”. Многие существительные, которые используются как в общественных науках, так и в повседневной жизни, применяются так, будто речь идет о физических предметах, о зримых и осязаемых объектах в пространстве и времени, независимых от человека.

При этом вовсе не имеется в виду, что сегодня в обучении и исследовании можно обойтись без такого рода слов и понятий. Как бы ни было убедительно мнение о неадекватности существующих понятий, лучших орудий мышления и понимания во многих случаях просто нет. Любая попытка очистить арсенал понятий и концепций, используемых для описания создаваемых людьми социальных конструкций, от “гетерономных” языковых и логических моделей и поставить на их место более автономные модели заранее обречена на провал. Есть общественные трансформации, которые могут осуществляться только как долгосрочные, включающие в себя многие поколения, ряды развития. Это — одно из них. Оно требует действительно многих языковых и понятийных инноваций. Если произвести их слишком быстро, возникнет угроза разрушения имеющегося взаимопонимания. Конечно, отдельные новые слова могут при определенных условиях достаточно быстро внедриться в общественный обиход. Но понимание новых способов мышления и речи никогда не происходит без конфликта со старыми и опробованными. Оно требует переориентации восприятия и мышления многих зависимых друг от друга людей. Привыкание к целому комплексу новых понятий или старых понятий в новом смысле требует обыкновенно смены двух-трех поколений, а иногда и гораздо большего времени. Тем не менее задача облегчается, если ясно видна суть проблемы. Об этом предварительном выяснении проблемы и идет у нас речь.

При этом ссылка на сложность и длительность такой переориентации мышления сама по себе может создать некое представление о форме воздействия людей друг на друга. То, что это общественное воздействие представ-

ляет собой совершенно своеобразный феномен, было бы вовсе не трудно понять, если бы наши мышление и речь не были пронизаны представлениями о “каузальной необходимости”, “детерминизме”, “научной закономерности” и тому подобных вещах, взятых из опыта естественно-научного образования понятий. В языковом обиходе они свободно переносятся в другие области научного опыта, в том числе и опыта конструирования человеческих взаимосвязей, которые мы называем обществом. Это происходит потому, что осознание их происхождения из описания физико-химических процессов было утрачено, и теперь они кажутся общеупотребительными понятиями, отчасти даже обрели статус априорных представлений, которые присущи “разуму” до всякого опыта. При этом нам пока просто не хватает адекватных понятий для описания видов взаимосвязей и, следовательно, типов воздействий, которые выявляются в других областях знаний. Это легко видеть на приводимом примере. Есть ли сегодня специальные понятия, ясно показывающие, что принудительность воздействия общего языка на речь и мышление людей в контексте их межличностных отношений есть принудительность принципиально иного характера, нежели, например, принудительность “силы тяжести”, возвращающей обратно на землю подброшенный мяч? Вероятно, научные сообщества имеют больше возможностей для внедрения языковых инноваций, нежели другие типы сообществ. Но и здесь существуют границы; если переоценить эти возможности, возникает не только опасность утраты взаимопонимания, но и опасность потери контроля над собственным мышлением со стороны других, потери себя самого в безбрежности фантазии и игры разума. Трудно провести слова и мысли между могучими утесами физики и метафизики.

Поэтому от одной книги не следует ожидать слишком многого. Успехи радикальной переориентации и обновления, которые сегодня медленно начинаются в сфере социологического описания общественных взаимосвязей, не может зависеть только от представлений и изобретательности одного индивида. Работа одного может быть полезной. Но переориентация такого рода зависит от единого направленных усилий множества людей, она зависит от общего направления общественного развития, от развития межличностных структур вообще. Новая ориентация мышления может стать мощным фактором общесоциального процесса развития, если быстро изменяющиеся тенденции в разделении сил и борьбе за власть не заблокируют и не задушат ее безвозвратно. Особенная сложность современного положения в общественных науках, напоминающая проблемы, стоящие перед естественными в начальный период его развития, состоит в том, что шансы перейти к менее фантастическому и более приближенному к реальности мышлению тем меньше, чем яростнее эта борьба. И наоборот, ярость и накал борьбы тем труднее держать под контролем, чем фантастичнее и дальше от реальности человеческое мышление. Краткий взлет реалистически ориентированного мышления о природе в древности и его скорый распад под воздействием мощной

волны мифологизации, порожденной гибелью мелких самоуправляемых государств в недрах империй, — пример хрупкости таких начальных попыток, как и переход от утопического к научному социальному мышлению в XIX и XX вв. Заколдованный круг, с которым мы здесь сталкиваемся, сам по себе есть один из примеров принудительности действия человеческих образований, требующий пристального рассмотрения. Здесь достаточно указать на него, как на один из аспектов процесса онаучивания, которому сегодня уделяется гораздо меньше внимания, чем он заслуживает.

Характерное свойство, благодаря которому научный тип приобретения знаний отличается от донаучного, относится к большей ориентированности на предмет и на реальность. Отличительная особенность его в том, что научный тип познания дает человеку шанс на каждом последующем шаге все четче проводить границу между фантазийными и ориентированными на реальность представлениями. На первый взгляд это может показаться достаточно банальным утверждением. Но мощная волна философского номинализма, который все еще захлестывает научно-теоретическое мышление, создала несколько дурную славу понятиям вроде “реальность” или “факт”. Здесь речь идет вовсе не об умозрительном философском заключении, будь то номиналистическое или позитивистское, а о научно-теоретическом утверждении, которое через отдельные наблюдения можно подтвердить или опровергнуть. Так, ранее люди представляли себе Луну как божество. Сегодня мы имеем отражающую действительность, реалистичное представление о Луне. Завтра, возможно, в нашем современном представлении будет открыто новое фантазийное содержание, и будет создана новая реалистичная картина Луны, Солнечной системы и Млечного пути. В этом утверждении такой компаративный подход, сравнение, весьма важно: с его помощью можно направить мысль мимо обоих статичных подводных камней номинализма и позитивизма в русло долгосрочного развития мышления и знания. О направлении течения этого русла можно говорить, если одним из отличительных свойств “онаучивания” мышления выделяется уменьшение доли фантазийности и увеличение реалистического содержания. Колебания в балансе, в относительной доле фантазийных и реалистических картин в обыкновенных представлениях человеческого общества могут быть исследованы и гораздо более обстоятельно, чем это предложено здесь. Оба эти понятия многослойны. Понятие фантазий или образов может распространяться, к примеру, на мечты и желания отдельных людей, на их сны, на фантазии, находящие художественное выражение, на метафизически-философские умозрительные рассуждения, на коллективные представления о вере, или идеологии, и на многое другое.

Но одна функция фантазий, а именно та, что развивается через тесную связь с наблюдением фактов, играет в процессе “онаучивания” и растущего освоения реальности людьми незаменимую роль. Номиналистические фило-

софы, которые опасаются включить в свое рассмотрение комплексную связь фантазии и реальности и понятийно их обработать, вряд ли смогут объяснить тот факт, что растущее “онаучивание” мышления через внечеловеческие естественные взаимосвязи также увеличивает шансы людей одновременно через постоянную обратную связь снизить свои риски и эффективнее управлять событиями в соответствии с собственными целями. Как иначе можно, например, рост благосостояния и улучшение состояния здоровья людей в ряде обществ понятийно описать, нежели как через тот факт, что в этих областях наше знание менее подвержено влиянию чувств и фантазий, носит менее мистически-магический и гораздо более предметноориентированный характер.

Многие люди, не в последнюю очередь и социологи, говорят сегодня о науках с неудовольствием, а иногда и с известной долей презрения: “Что дали нам научные открытия? Машины, фабрики, крупные города, атомные бомбы и другие ужасы научных войн”. Возможно, до сих пор недостаточно однозначно говорилось, что такая аргументация есть типичный случай вытеснения, displacement, более желаемым объяснением менее желаемого. Водородная бомба, разработанная, в конце концов, по инициативе государственных мужей и в случае необходимости, могущая быть использованной по их же приказу, служит чем-то вроде фетиша, вещью, на которую можно направить свой страх. Настоящая же опасность лежит в двусторонней угрозе, противопоставляющей друг другу враждебные, и отчасти из-за этой враждебности взаимозависимые группы людей, связи, из которой участники ее не видят выхода. Жалобы на бомбу и на ученых, чьи реалистично ориентированные исследования ее создали, есть отговорка, с помощью которой пытаются скрыть свое собственное соучастие во взаимной угрозе сторон или, в любом случае, собственную беспомощность в вопросе очевидной неизбежности взаимных угроз людей. Одновременно эти жалобы избавляют от труда искать реалистическое описание тех общественных связей, которые ведут к эскалации конфликтов между группами людей. Аналогично обстоит дело с жалобой на то, что “все мы стали рабами машин”, или техники. Вопреки кошмарам от science-fiction, машины не имеют собственной воли. Они не изобретают себя сами, не строят себя сами и не принуждают нас им служить. Все совершаемые ими решения и действия являются, по сути, человеческими. Влияния и опасности, которые мы приписываем машинам, относятся при ближайшем рассмотрении к взаимозависимым группам людей, в связи между которыми вовлечены машины. Другими словами, это влияния и опасности общественного характера. Переводя свою неудовлетворенность жизнью в научно-технически-промышленных обществах на бомбы и машины, на естественно-научных ученых и инженеров, мы пытаемся избежать тяжелой и неприятной задачи — найти ясную реалистическую картину человеческих конструкций, особенно в конфликтных ситуациях. Эти конструкции и отвечают за развитие и возможное использование наукоем-

кого оружия, или за несправедливости жизни в технологичных больших городах. Несомненно, техническое развитие вносит свой вклад в направления развития человеческих конструкций. Но далеко не техническая “вещь в себе”, а ее использование и внедрение людьми в общественные устройства объясняет это влияние на людей и это недовольство людей. Следует бояться разрушительной силы людей, а не атомной бомбы, или, точнее, разрушительной силы человеческих “сплетений”, конструкций. Опасность заключается не в прогрессе науки и техники, а в использовании результатов прогресса и технологических нововведений людьми, подверженными влиянию “переплетенных” взаимозависимостей и связанной с этим борьбы за власть. В последующем “введении в социологию” об этих проблемах будет говорить мало. Речь там пойдет прежде всего о том, чтобы способствовать развитию социологической описательной силы и социологического мышления в направлении адекватного восприятия этих переплетений, этих конструкций, которые люди составляют друг с другом. Но для введения необходимо привести пример проблем в этих “переплетениях”.

Обманчивая фиксация сознания на известных и материальных вещах вроде атомной бомбы и машин, или, в более широком смысле, естественных наук и технологии и, параллельно, сокрытие настоящих, общественных поводов для страха и испытываемой неприязни, весьма симптоматичны для одной из основных структур современной эпохи. Имеется в виду расхождение между относительно большими возможностями предметно-ориентированно преодолевать проблемы внечеловеческих природных явлений и сравнительно небольшими возможностями столь же устойчиво делать доступными для решения проблемы человеческого и общественного сосуществования.

Общественные стандарты нашего мышления и восприятия, нашего получения знаний своеобразно расщеплены. В области внечеловеческих, природных взаимосвязей все эти виды деятельности в достаточно большом и растущем объеме обращены на восприятие действительности. Область знаний может быть безграничной, но внутри нее в процессе систематической научной работы устойчиво растет запас достаточно надежного реалистичного знания. Стандарт самодисциплины и отказа от личных эгоцентрических устремлений, соответствующий предметноориентированности сознания в научной и технической работе и поддержанный достаточно эффективным взаимным самоконтролем исследователей, весьма высок. Пространство для влияния на результаты исследований эгоцентрических или этноцентрических фантазий, которые не дисциплинируются и не ограничиваются тщательной проверкой через сравнение с отдельными исследованиями, достаточно узко. Высокая степень самоконтроля собственно в мышлении в области этих естественных взаимосвязей и соответствующая степень предметноориентированности, реализма и рациональности мышления и действия в этих областях поэтому совсем не ограничена только на специалистах иссле-

дования. Такие образы мышления и действия теперь относятся к основным установкам людей в развитых обществах вообще. Будучи связанными с технизацией даже самых интимных уровней жизни, они проникают на все уровни мышления и действий людей. В частной жизни остается пространство для эгоцентричных фантазий о взаимосвязях в природе, и часто люди отдадут себе отчет в них как в личных фантазиях.

В противовес этому в тех же обществах пространство для эгоцентричных и этноцентричных фантазий как определяющих факторов восприятия, мышления и действия в сферах общественной жизни, не связанных с естественно-научными и технологическими проблемами, сравнительно велико. Даже специалисты, представители научных сообществ, располагают весьма ограниченными общими стандартами двустороннего контроля и самоконтроля, которые бы позволили им с той же уверенностью, что и коллегам в естественных науках, проверять произвольные личные фантазийные представления, политические или национальные представления и ориентированные на реальность теоретические модели с помощью эмпирических исследований, и различать их между собой.

И в обществе в целом существующий стандарт мышления об общественных проблемах позволяет людям в определенной мере создавать общие фантазии, не признавая их таковыми, что напоминает масштаб фантазийных представлений о природных явлениях в средние века. В средние века чужестранцы, в особенности евреи, обвинялись в переносе чумы и подвергались массовому уничтожению. Тогда в распоряжении людей не было реалистично ориентированных, научных объяснений таким явлениям, как массовая гибель от эпидемий. Еще не сдерживаемый реалистичным знанием страх, боязнь необъяснимых ужасов эпидемий, лютая злость в ответ на непонятную опасность, которая угрожала каждому человеку, — все это находило выход в фантазиях правящего класса. Они представляли социально более слабых, аутистичных, как источник этих проблем, что приводило к массовому истреблению этих социально более слабых слоев. В XIX в., в течение которого множественные эпидемии холеры поражали европейские общества, распространение инфекционных заболеваний этого вида было наконец остановлено благодаря росту государственного надзора за здравоохранением, прогрессу научного знания и расширению научных форм объяснения эпидемий. В XX в. были достигнуты нужная предметноориентированность естественно-научного знания и соответствующий уровень общественного благосостояния, позволивший применить эти знания на практике через соответствующие профилактические мероприятия в области общей гигиены. Это привело к тому, что впервые за все время жизни людей на европейском континенте угроза эпидемий инфекционных заболеваний этого вида почти полностью исчезла, а в настоящее время и практически полностью забылась.

Но в том, что касается общественного сосуществования людей, мышление людей сейчас стоит примерно на той же ступени развития, как и отно-

шение средневековых людей к чуме. В этой области люди все еще очень сильно подвержены влиянию необъяснимых для них воздействий, опасений. Так как людям необходимы какие-то объяснения их забот и проблем, эти “лакуны” знания заполняются фантазиями. Национал-социалистический миф в наше время — пример такого вида “объяснений” общественных трудностей и возмущений, которые искали выражения в действии. Как в случае чумы, и здесь возмущение во многом неправильно осознанными причинами общественных трудностей и массовых страхов нашло разрядку в фантазийных объяснениях, которые заклеямили социально более слабые меньшинства как виновников этих трудностей и таким образом привели к их уничтожению. При этом видно уже характерное для нашего времени одновременно высокореалистичное, практически ориентированное понимание физико-технических аспектов и фантазийное решение общественных проблем, подходить к которым со столь же практически ориентированными объяснениями и решениями люди не хотят или не могут.

Национал-социалистическая надежда на решение общественных проблем через истребление евреев — один из особенно экстремально выраженных случаев проявления все еще распространенной сегодня модели общественного поведения. Это наглядно показывает функцию фантазийного объяснения общественных проблем там, где реалистичное объяснение использовать не могут или не хотят. При этом симптоматично внутреннее противоречие современного сознания: общественные фантазии здесь маскируются естественнонаучным, биологическим мотивом.

Слово “фантазия” само по себе звучит достаточно безобидно. Неоспоримая высококонструктивная роль фантазии в жизни людей здесь не ставится под сомнение. Как способность плакать или смеяться, как разнообразие человеческой мимики, так и способность к фантазии есть уникальное свойство человека. Однако здесь речь идет о фантазиях другого рода, точнее говоря, о фантазиях на “неправильном месте” в социальной жизни людей. Не находясь под контролем предметноориентированного знания, они, особенно в кризисных ситуациях, дают ненадежные и часто опасные побуждения к действию. В таких ситуациях даже здравомыслящие люди способны дать своим фантазиям волю.

Достаточно часто сегодня удовлетворяются представлением о том, что содержание фантазий, играющее значительную роль в ориентации на цели общего мышления и поведения группы, лишь инсценировано. Они есть не что иное, как притягательный пропагандистский лозунг, которым правящие группы прикрывают свои хладнокровно просчитанные и в рамках их интересов высококорональные цели. Такое, несомненно, имеет место. Но использование понятий “целесообразность” в выражениях вроде “государственный интерес”, или “реализм” в выражениях вроде “реалистическая политика” и использование других подобных выражений соответствуют широко распространенному представлению о том, что так называемые “рацио-

нальные” реалистично ориентированные рассуждения в общественной постановке целей группами людей в их взаимодействиях играют обычно главную роль. Преобладающее сегодня использование понятия “идеология” показывает — даже среди социологов — ту же тенденцию. При более пристальном рассмотрении можно без особого труда установить, в каком объеме в картине “групповых интересов” выражаются фантазийные и реальные представления. Относительно реалистичные и целеустремленные планы общественного развития, построенные с использованием научных моделей, есть достижения лишь новейшего развития; а модели развития сами по себе еще, очевидно, несовершенны и недостаточно хорошо корреспондируют с меняющимися общественными структурами.

Вся история до настоящего момента есть, по сути, кладбище человеческих грез. В краткосрочной перспективе они часто реализовывались; в долгосрочном же рассмотрении заканчивались опустошением содержания и разрушением. В особенности это происходило потому, что цели и ожидания настолько поддерживались фантазиями, что действительный ход общественных событий шоками реальности изобличал в них “мечты”. Своеобразная “сухость” многих идеологических анализов основывается не в последнюю очередь на склонности рассматривать идеологии как в корне рациональные, согласованные с действительными групповыми интересами умственные построения. При этом их фантазийное наполнение, элементы “аффекта”, эгоцентрическая или этноцентрическая нереальность как выражение рассчитанного сокрытия высокорационального зерна в расчет не берутся.

Можно рассмотреть, например, современные конфликтные ситуации в больших государствах, которые в растущей мере влияют на конфликты во всем мире. Представители этих больших государств, возможно, мечтают о том, чтоб обладать единственной в своем роде национальной харизмой и что только им и их идеалам должна принадлежать власть в мире. Реалистичные противоречия интересов, которые могут объяснить чрезмерную эскалацию военной напряженности, в действительности трудно обнаружить. Различия в общественной практике, очевидно, менее велики, чем может показаться из противоречий системы идеалов и веры. Взаимным угрозам больших держав — и, конечно, не только им — “коллизия грез” в большей мере добавляет твердости и непоколебимости, нежели какие-либо противоречия интересов, которые можно обозначить как “реальные”. На охватившей уже все уголки Земли ступени развития эта поляризация имеет некоторую структурную близость с более ранней поляризацией в Европе во время “коллизии грез” католических и протестантских правителей. Тогда люди были готовы массово убивать друг друга за систему веры с такой же страстностью, с которой готовы убивать друг друга сегодня по причине того, что одни предпочитают русскую, а другие американскую или китайскую идеологию. Насколько можно увидеть, прежде всего противоположность таких национальных идеологий и харизмы национальных идей (которые, кстати, все

вместе весьма мало связаны с высокореалистично ориентированным анализом классовой борьбы) делают этот тип неразделимого переплетения непрозрачным и неконтролируемым для его участников.

Это, в том числе, также служит примером специфической динамики социальных структур, систематическими исследованиями которых занимается социология. На этом уровне в специфические конструкции вовлечены уже не отдельные взаимозависимые люди, а взаимозависимые группы национально или государственно организованных людей. И в этом случае в мышлении людей это выражается так, словно понятия, о которых они говорят от первого лица, и не только в единственном, а и во множественном числе, т.е. не только “я”, но и “мы”, полностью автономны. Уже с малолетства, со школьной скамьи люди усваивают, что национальное государство имеет неограниченный суверенитет, т.е. абсолютно не зависит от других. Этноцентрическая картина человечества со многими государствами поэтому подобна эгоцентрической, изображенной на рис. 1. Правящие элиты и люди, принадлежащие к нации, или, в любом случае, большие державы видят себя в центре человечества, как в крепости, окруженными другими нациями и одновременно отделенными от них. И в этом случае редко в мысли и действии достигается тот уровень самосознания, который бы соответствовал рис. 2 (где вместо отдельных людей рассматриваются отдельные нации). Образ собственной нации как одной среди подобных, понимание структуры конструкций, которые создает эта нация в силу взаимозависимости с другими, еще очень слабо развиты. Только иногда присутствует ясная социологическая модель динамики государственных “переплетений” — как динамика “замороженного клинча” крупных держав. В силу нее каждая страна-участница из страха перед возможным ростом силового потенциала соперник наращивает свой силовой потенциал, тем самым побуждая остальных к подобным же действиям с их стороны, что в свою очередь вновь дает ей мотив наращивать потенциал, и т.д. Так как в этой ситуации нет арбитра, обладающего достаточной силой, чтобы разрешить этот клинч, то без одновременного осознания всеми участниками имманентной динамики конструкции, которую они составляют, эскалацию усилий по увеличению силового потенциала завершить сложно.

В настоящее время вместо этого у взаимозависимых противников и главным образом у партийных олигархов правящих партий обеих сторон преобладает представление о том, что состояние опасности и постоянные стремления нарастить силовой потенциал следует всегда объяснять, только ссылаясь на других, на противников и их “неправильную модель общества”, их “опасные национальные идеологии” и пр. Они не принимают при этом во внимание самих себя и собственное участие в составлении конструкции, имманентная динамика которой вынуждает к такому действию. Неподвижность поляризованной системы национальных идеологий ограждает партийных олигархов от понимания того, что они сами, их партийные традиции и

социальные идеалы, которые служат им для оправдания их претензий на власть, все менее и менее заслуживают доверия. Например, из-за опасности военных столкновений, которую они сами и вызывают, расходуя созданное человеческим трудом богатство на создание средств проявления силы и их использование. В этом случае мы вновь сталкиваемся в парадигматической форме с одновременно высокореалистичным подходом к решению физико-технических проблем и высокофантазийным подходом к межчеловеческим и общественным проблемам.

Несложно найти и другие примеры такого расхождения в отношении наших современников к естественным (природным) и общественным взаимосвязям. К последствиям этого относится, например, то, что люди часто считают самих себя воплощением “рациональности”, независимыми от уровня развития общественного знания, и считают себя в состоянии решать общественные проблемы столь же предметноориентированно, сколь физик или инженер решают проблемы естественно-научные.

Так, сегодняшние правительства, возможно, и из лучших побуждений, необоснованно заявляют, что способны “рационально” или “реалистично” решать общественные проблемы своей страны, тогда как в действительности они заполняют “лакуны” в еще почти зачаточном предметном знании о динамике общественных переплетений догматическими доктринами идеологий, рутинными решениями или решениями, соответствующими краткосрочным партийным интересам, и принимают решения большей частью наугад. В соответствии с этим они все больше становятся “пешками” в цепи событий, которые они понимают не больше, чем управляемые ими народы. Управляемые же народы подчиняются их руководству, веря в то, что они смогут одолеть опасности и проблемы или что они хотя бы знают, куда движутся события. Что же касается управленческого аппарата, бюрократии, возможно, стоит сказать, что, как имел в виду М. Вебер, бюрократия в своей структуре и поведении собственно управленцев в сравнении с прошлыми веками стали рациональнее. Но вряд ли уместно говорить (как, собственно, считал Вебер), что современная бюрократия есть рациональная форма организации, и что поведение бюрократов есть рациональное поведение. Это в высшей степени ошибочно. Так, например, наблюдается бюрократическое сокращение общественных взаимосвязей до отдельных разделов управления, с четким разделением компетенций и с составом из иерархически организованных специалистов и олигархической верхушки, редко задумывающейся о чем-то вне подвластной им сферы. Это в гораздо большем объеме имеет характер непродуманной традиционалистской организации, нежели четко продуманной и постоянно проверяемой на соответствие своим задачам.

На этом, пожалуй, можно закончить. С помощью подобных примеров возможно, наверно, с некоторых сторон более ясно очертить круг задач социологии. Общественные единицы мира людей составлены из нас самих.

И это легко позволяет забыть, что их развитие, их структуры и способы функционирования вместе с их объяснением нами самими, людьми, пока не менее неисследованы и не в меньшей мере суть объект для постоянных открытий, нежели развитие, структуры, функции и пр. физико-химических и биологических единиц.

Повседневность встречи с самими собой легко маскирует тот факт, что мы сами есть все еще весьма неисследованный регион, белое пятно на карте человеческого знания, словно полюса на Земле или пятна на Луне. Иногда люди опасаются дальнейшего исследования этого региона, как боялись когда-то люди научного исследования человеческого организма. И как когда-то, и сегодня многие из них аргументируют это тем, что невозможно исследование людьми людей, которые того не желают. Но та беспомощность, с которой люди без прочно обоснованного понимания динамики создаваемых ими структур движутся от одного разочарования к другому, точно лодка без весел, лишает романтическое неведение, пространство для грез, большой доли его привлекательности.

П. Уинч

Эпистемология и понимание общества

Хотелось бы дать здесь первичное представление о том, каким образом это эпистемологическое предприятие может влиять на наше понимание социальной жизни. Рассмотрим еще раз формулировку Бернетом главного вопроса философии. Он спрашивает, какое изменение внесет в жизнь человека тот факт, что его сознание может иметь контакт с реальностью. Давайте сперва попытаемся ответить на этот вопрос в более простой форме: ясно, что люди действительно решают, как они должны вести себя на основании их мнения о том, что представляет собой мир вокруг них. Например, человек, который должен успеть на ранний утренний поезд, поставит свой будильник сообразно своему представлению о времени, в которое должен отойти этот поезд. (Если кто-то захочет возразить против этого примера по причине его тривиальности, позволим ему подумать о том, какие изменения вносит в человеческую жизнь существование будильников, ходящих по расписанию поездов и методов определения истинности утверждений о времени отхода поездов и так далее.) Философию в данном случае интересует следующий вопрос: что включается в понятие “иметь знание” о фактах, подобных этому, и что представляет собой общая природа поведения, решение о котором принимается в соответствии с таким знанием?

Источник: Уинч П. Идея социальной науки и ее отношение к философии / Пер. с англ. М. Горбачева, Т. Дмитриева. М.: Русское феноменологическое общество, 1996. С. 16—24.

Природа данного вопроса, возможно, станет более ясной, если сравнить его с другим вопросом по поводу важности знания мира, каков он есть в человеческой жизни. Имеется в виду этический вопрос, так хорошо разработанный в пьесах Ибсена “Дикая утка” и “Приведения”: насколько важным для человеческой жизни является тот факт, что он должен прожить ее, четко осознавая факты собственной ситуации и собственные отношения с окружающими? В “Привидениях” данный вопрос представлен рассмотрением человека, чья жизнь подвергается разрушению из-за игнорирования им правды о своей наследственности. “Дикая утка” начинается иначе: здесь мы встречаем человека, полностью удовлетворенного жизнью, которая тем не менее основана на полном непонимании им отношения к нему тех, кого он знает, — должен ли он быть лишен своей иллюзии и счастья в интересах истины? Необходимо отметить, что наше понимание обеих ситуаций зависит от нашего признания *prima facie* важности понимания ситуации, в которой человек живет. Вопрос в “Дикой утке” не в том, важно ли это или нет, а в том, *важнее ли* это счастья.

Интерес эпистемолога в таких ситуациях состоит в том, чтобы пролить свет на то, *почему* такое понимание должно иметь важное значение в жизни человека, показав, что включается в такое понимание. Используя кантовскую фразу, его интерес состоит в вопросе: каким образом такое понимание (или, на самом деле, любое понимание) возможно. Для ответа на этот вопрос необходимо показать центральную роль, которую играет концепция понимания в видах деятельности, характерных для человеческого общества. Так, дискуссия о том, что составляет понимание реальности, переходит в дискуссию о различии, которое можно ожидать от обладания таким пониманием, которое вносится в жизнь человека. А это опять-таки включает в себя рассмотрение общей природы человеческого общества и, таким образом, анализ понятия “человеческого общества”.

Социальные отношения человека к себе подобным смешаны с его идеями о реальности. На самом деле, выражение “смешаны” в данном случае представляет собой недостаточно сильное слово: социальные отношения являются выражениями идей о реальности. В вышеупомянутых ситуациях у Ибсена, например, было бы невозможно выразить отношения персонажа к окружающим его людям, кроме как в терминах его идей о том, что они думают о нем, что они делали в прошлом, что они скорее всего сделают в будущем и т.д.; а в “Привидениях” — идей персонажа о том, как он биологически соотносится с ними. С другой стороны, монах имеет определенные характерные социальные отношения со своими братьями и с мирянами, но было бы невозможно дать более чем легкий набросок этих отношений, без учета религиозных идей, вокруг которых вращается жизнь монаха.

Сейчас становится более понятно, каким образом подход, применяемый здесь, вступает в конфликт с широко распространенным взглядом на социологию и на социальные исследования в целом. Например, он конфликтует с таким взглядом Эмиля Дюркгейма.

“Я считаю крайне плодотворной идею, что социальная жизнь должна объясняться не в понятиях тех, кто участвует в ней, но более глубокими причинами, которые не воспринимаются сознательно, и, полагаю, что эти причины должно искать главным образом в том способе, которым группируются ассоциированные индивидуумы. Кажется, только таким способом история может стать наукой, социология иметь существование”. См. анализ Дюркгейма работ А. Лабриолы “Essais sur la conception materialiste de l’histoire” в “Revue Philosophique” за декабрь 1897 г. [рус. пер. см.: Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. С. 199—207. — *Пер.*].

Наш подход противоречит также представлению фон Визе о задаче социологии как науки, дающей описание социальной жизни “несмотря на культурные цели индивидуумов в обществе, с целью изучить влияния, которые они оказывают друг на друга, помимо результата жизни сообщества”¹.

Критической проблемой в данном случае является, конечно, то, насколько осмыслена идея Дюркгейма о “способе, которым группируются ассоциированные индивидуумы” в отрыве от “понятий” о таких индивидуумах, или насколько имеет смысл говорить об индивидуумах, оказывающих влияние друг на друга (в концепции фон Визе) в абстракции от “культурных целей” таких индивидуумов. Мы постараемся отдельно рассмотреть эти центральные вопросы позднее. Сейчас мне просто хотелось бы отметить, что такие предположения действительно противоречат философии, воспринимаемой как исследование природы человеческого знания о реальности и о том различии, которое возможность такого знания вносит в человеческую жизнь.

Правила: анализ Витгенштейна

Теперь мы должны попытаться дать более детальную картину того, каким образом эпистемологическая дискуссия о человеческом понимании реальности проливает свет на природу человеческого общества и на социальные отношения между людьми. Для достижения этого я предлагаю дать описание того влияния, которое оказало на эпистемологический вопрос обсуждение Витгенштейном понятия “следования правилу” в его “Философских исследованиях”.

Бернет говорил о “контакте” сознания с реальностью. Давайте представим очевидный *prima facie* случай такого контакта и рассмотрим, что в него включается. Предположим, что я задаю вопросом, в каком году был впервые покорен Эверест. Я думаю про себя: “Гора Эверест была покорена в 1953 году”. В данном случае я хочу узнать, что имеется в виду, когда я говорю, что я “думаю о горе Эверест”? Каким образом моя мысль соотносится с вещью, а именно — с горой Эверест, о которой я думаю? Давайте еще более заострим вопрос. Для того чтобы снять сложности, связанные с функцией ментальных образов в таких ситуациях, будем предполагать, что я выражаю свою мысль в словах. Правильным вопросом тогда станет: что есть такого в

¹ Aron R. German Sociology. L., 1957. P. 8.

моем произношении слов “гора Эверест”, что делает возможным сказать, что я имею в виду под этими словами определенный пик в Гималаях? (Я ввел данную проблему таким окольным способом для того, чтобы выявить связь между вопросом о природе “контакта”, который сознание имеет с реальностью и вопросом о природе значения. Я выбрал в качестве примера слово, которое используется для того, чтобы означить что-либо, такой случай, в котором это слово используется для *отсылки* к чему-то, не потому, что я придаю какой-либо специальный логический или метафизический приоритет этому типу значения, но потому только, что в таком случае связь между вопросом о природе значения и вопросом об отношении между мыслью и реальностью является особенно впечатляющей.)

Первым естественным ответом на поставленный вопрос является тот, что я способен иметь что-то в виду, говоря слова “гора Эверест”, потому что они были определены для меня. Существует большое количество способов, которыми это могло произойти: мне могли показать Эверест на карте, мне могли сказать, что он является самой высокой вершиной мира, или я мог лететь над Гималаями на самолете, и мне показали сам Эверест. Для избежания дальнейших трудностей давайте предположим, что верно последнее, т.е.: используя техническую терминологию логики, давайте сконцентрируемся на случае *остенсивного* определения. [Определение путем демонстрации определяемой вещи или определяемого качества. — *Ред.*]

Тогда ситуация выглядит следующим образом. Мне показали Эверест и сказали, что его имя — “Эверест” — и в силу этих действий в прошлом теперь я способен *иметь в виду* под словами “гора Эверест” данный пик в Гималаях. До сих пор все хорошо. Но теперь мы вынуждены задать следующий вопрос: какова связь между этими действиями в прошлом и моим произнесением слов “гора Эверест” теперь, которая придает этому моему выражению то значение, которое оно имеет? Что означает “следовать” определению? Опять существует поверхностный, очевидный ответ на такой вопрос: определение задает значение, и использовать слово в его корректном значении означает использовать его так же, как было заложено в определении. В некотором смысле, конечно, этот ответ будет весьма корректным и неизбежным; его единственный недостаток состоит в том, что он не разрешает философской проблемы, поскольку что означает использовать слово *так же*, как это задано в его определении? Каким образом я решаю, таким же является данное предлагаемое использование или оно отличается от заданного в определении?

То, что этот вопрос не является праздным, показывает следующее рассуждение. Судя только по внешним признакам, остенсивное определение состоит просто в жесте и звуке, произнесенном в момент, когда мы пролетаем над Гималаями. Но предположим, что этим жестом мой учитель определял для меня слово “гора”, как, возможно, было бы в случае, скажем, моего изучения английского языка? В этом случае мое восприятие правиль-

ного использования слова “гора” проявилось бы в продолжении использования его тем же способом, как оно было дано в определении. В то же время правильное использование слова “гора”, конечно же, не совпадает с правильным использованием слова “Эверест”! Таким образом, очевидно, что слово “также” представляет для нас новый пример систематической неоднозначности; мы не знаем, могут ли две вещи считаться одинаковыми или нет, пока нам ни говорят о контексте, в котором возникает данный вопрос. Однако, как бы нам ни хотелось думать по-другому, не существует абсолютного неизменного смысла слова “такой же”.

“Но разве то же самое уж во всяком случае не является *тем же самым*?”

Кажется, будто бы мы располагаем безупречной парадигмой тождества — в виде тождества вещи самой себе. Так и хочется сказать: «Здесь уж не может быть различных толкований. Видя перед собой вещь, тем самым видят также и тождество».

Выходит, две вещи тождественны, если они как *одна* вещь? Ну, а как то, что показывает *одна* вещь, применять к случаю с двумя вещами?”¹

Я сказал, что особенная интерпретация, которую следует придавать слову “такой же”, зависит от контекста, в котором возникает такой вопрос. Это можно выразить точнее. Только в рамках данного *правила* мы можем придавать специфический смысл слову “такой же”. В терминах правила, управляющего использованием слова “гора”, человек, который использует его для отсылки к горе Эверест в одном случае и к горе Монблан в другом случае, использует его тем же способом в обоих случаях. Но тот, кто отошлет к горе Монблан как к “Эвересту”, не может считаться использующим это слово так же, как кто-то, отсылающий им к Эвересту. Таким образом, вопрос “Что означает для слова иметь значение?” приводит к вопросу “Что означает для кого-то следовать правилу?”

Давайте опять начнем с рассмотрения очевидного ответа. Хотелось бы сказать так: кто-то следует правилу, если он всегда действует схожим способом в схожих обстоятельствах. Но такой ответ, хотя он и является правильным, опять-таки не продвигает нас к решению наших проблем, поскольку, как мы уже видели, только в понятиях определенного правила слово “схожий” приобретает четкий смысл. “Употребление слова «правило» переплетено с употреблением слова «схожий» (Как употребление слова «пропозиция» — с употреблением слова «истинный»)»². Так проблема предстает в следующем виде: каким образом придается смысл слову “схожий” или в каких обстоятельствах имеет смысл говорить о ком-то, что он следует правилу в том, что он совершает?

Предположим, что слово “Эверест” только что было остенсивно определено для меня. Можно полагать, что я могу с самого начала задать то, что считать корректным использованием этого слова в будущем, если приму

¹ Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994. С. 166.

² Там же. С. 168.

сознательное решение по этому поводу: “Я буду использовать это слово, только отсылая к *этой* горе”. И это, конечно, в контексте языка, на котором мы говорим и который понимаем, будет совершенно осмыслено. Но, именно поскольку такой шаг уже предполагает существование института языка, на котором мы все говорим и понимаем, он не проливает никакого света на философскую трудность. Очевидно, что мы не имеем права предполагать заранее существование того, возможность существования чего мы исследуем. Прежде всего, так же трудно описать то, что означает “действовать в соответствии с моим решением”, как и описать то, что означает “действовать в соответствии с остенсивным определением”. Как бы усиленно я не указывал на эту гору и не произносил слова “эта гора”, мое решение должно *применяться* в будущем, и нас интересует как раз то, что вовлечено в такое применение. Таким образом, никакая *формула* не поможет разрешить эту проблему, мы постоянно приходим к тому, что мы вынуждены описывать применение такой формулы.

Каково различие между кем-то, действительно применяющим правило, и тем, кто его не применяет? Проблема здесь в том, что любые серии действий, которые способен совершать человек, можно подвести под ту или иную формулу, если только мы готовы сделать их достаточно сложными. В то же время то, что человеческие действия *могут* интерпретироваться как применение какой-то формулы, само по себе не является гарантией того, что он действительно применяет эту формулу. Какова же разница между этими случаями?

Представим себе человека — давайте назовем его А, — который пишет следующие цифры на доске: “1 3 5 7”. Теперь А спрашивает своего друга В, каково продолжение этой серии. Практически любой в этой ситуации, не имея особых оснований для подозрительности, ответит: “9 11 13 15”. Предположим, что А отказывается принять такой ответ в качестве продолжения своей серии, утверждая, что она выглядит следующим образом: “1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 13 15 9 11 13 15”. Потом он просит В продолжить с этого момента. В этом моменте у В имеется ряд альтернатив для выбора. Предположим, что он делает выбор, и А опять отказывается принять его, предложив собственное продолжение. И предположим, что так продолжается некоторое время. Несомненно, ситуация достигнет момента, когда В совершенно справедливо скажет, что А на самом деле не следует никакому *математическому* правилу, хотя все продолжения, которые он сделал до этого момента, *можно* подвести под какую-то формулу. Конечно, А следует правилу, но его правилом является всегда предлагать продолжение, отличное от предложенного В на каждом этапе. И хотя само по себе это очень даже хорошее правило, оно не принадлежит арифметике.

Конечная реакция В и сам факт того, что она будет совершенно оправдана, особенно если в игру вовлечено еще несколько человек, и А всегда отказывается принять предлагаемые ими продолжения в качестве правиль-

ных, предполагает очень важную характеристику понятия следования правилу. Она предполагает, что необходимо не только принимать во внимание действия человека, который является кандидатом на следование правилу, но и *реакции других людей* на то, что он делает. Точнее, только в ситуации, в которой кто-то еще может в принципе обнаружить правило, которому следую я, можно осмысленно говорить, что я вообще следую правилу.

Давайте рассмотрим это более подробно. Важно помнить, что когда А написал “1 3 5 7”, В (который представляет собой любого, знающего элементарную арифметику) продолжил серию, написав “9 11 13 15” и так далее, *как само собой разумеющееся*. Сам факт, что я могу написать “и так далее” после этих цифр и что я могу быть уверенным, что я буду понят так, а не иначе, практически всеми моими читателями, является демонстрацией того же самого. “Чтобы правило могло представляться мне чем-то, заведомо выявляющим все свои следствия, оно должно быть для меня *само собой разумеющимся*. Так же как само собой разумеется для меня называть этот цвет «голубым»”¹. Необходимо понимать, что эти замечания относятся не только к случаю применения математических формул, но ко всем случаям повиновения правилу. Они применимы, например, к использованию слов “Эверест” и “гора”; получив определенные навыки, каждый действительно, как само собой разумеющееся, продолжает применять эти слова так же, как и все остальные.

Именно это позволяет нам придать смысл выражению “такой же” в определенном контексте. Исключительно важно отметить, что следование одним путем, а не другим как само собой разумеющееся, не должно быть особенностью человека, чье поведение претендует на то, чтобы считаться повинующимся правилу. Его поведение принадлежит к этой категории, только если для кого-нибудь еще возможно понять, что он делает как само собой разумеющееся.

“Представьте себе, что кто-то так использует линию в качестве правила: он держит циркуль, одну ножку которого ведет вдоль линии — правила. Второй ножкой он проводит другую линию, соответствующую правилу. И, двигая ножку циркуля по линии правила, он, выказывая необычайную добросовестность, меняет величину раствора циркуля, всегда глядя при этом на линию, служащую правилом, как бы определяющим его действия. Мы же, глядя на него, не видим в этих увеличениях и уменьшениях раствора циркуля никакой закономерности. Мы не можем из этого усвоить его способ следовать за линией. В таком случае мы, пожалуй, сказали бы: «Кажется, что образец *подсказывает* ему, как нужно действовать. Но он не является правилом!»”²

Почему это нельзя назвать правилом? Потому что понятие “следования правилу” логически неотделимо от понятия “совершения ошибки”. Если можно сказать о ком-то, что он следует правилу, это означает, что можно спросить, делает ли он это правильно или нет. Иначе в его поведении нет ничего, что позволило бы применить понятие “следования правилу” — тог-

¹ Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 170.

² Там же.

да нет никакого смысла в описании его поведения таким способом, поскольку все, что он делает, так же правильно, как и то, что он мог бы делать, в то время как суть понятия “правила” в том, что она позволяет нам *оценивать* то, что было сделано.

Рассмотрим, что включается в совершение ошибки. (Которое состоит, конечно, и в рассмотрении того, что включается в совершение чего-либо правильно.) Ошибка противопоставляется тому, что утверждено как правильное, как таковая она должна признаваться как такое противопоставление. То есть, если я совершаю ошибку, скажем, используя слово, другие люди должны быть способны указать мне на нее. Если это не так, я могу делать, что хочу, и не существует никакой внешней проверки того, что я делаю — т.е. ничто не утверждено. Утверждение стандарта не представляет собой деятельности, которую имеет смысл приписывать индивидууму в полной изоляции от других людей, поскольку именно только контакт с другими людьми делает возможным внешний критерий проверки деятельности индивидуума, который невозможно отделить от утвержденного стандарта.

Для избежания возможного непонимания здесь необходимо сделать пояснение. Конечно, возможно, в рамках человеческого общества, каким мы знаем его, с утвержденными языком и институтами, для индивидуума придерживаться *частного* правила поведения. Витгенштейн настаивает, однако, на том, что, во-первых, должно быть в принципе возможным для других людей понять правило и судить, правильно ли ему следуют, во-вторых, что не имеет смысла предполагать, что кто-то способен утвердить чисто личный стандарт поведения, *если* он никогда не имел опыта человеческого общества с его социально утвержденными правилами. В данном разделе философии нас интересует *общая концепция* следования правилу, поэтому мы не можем, объясняя то, что включается в эту концепцию, принимать за данность ситуацию, в которой эта концепция заранее предполагается.

*П. Бурдьё, Ж.-К. Шамборедон,
Ж.-К. Пассерон*

Эпистемология и методология

Огюст Конт говорил: “Изучение методологии должно проводиться в контексте того исследования, где она применяется. Без этого мы не сможем вдохнуть жизнь в наши теоретические изыскания, а наш разум никогда не

Источник: Bourdieu P., Chamboredon J.-C., Passeron J.-C. The Craft of Sociology. Epistemological Preliminaries. Berlin; N.Y.: Walter de Gruyter, 1991. P. 1—10. Пер. с англ. С. Циркуновой.

обогатится новым знанием. В результате отвлеченного анализа методологии мы получаем лишь несколько общих утверждений, настолько неконкретных, что они никак не могут повлиять на наш образ мышления. Даже если логика наших рассуждений строится в соответствии с такими принципами, как: основа любого знания — наблюдение, от констатации фактов мы иногда должны переходить к закономерностям, а иногда, наоборот, от закономерностей к фактам и т.д., — мы тем не менее не сможем постичь соответствующую методологию настолько, насколько это было бы возможно для ученого, который, не ставя перед собой никаких философских целей, ведет исследование, никогда не выходя за границы одной единственной отрасли науки. Именно вследствие того, что наши психологи никогда не учитывали это чрезвычайно важное положение, их мечты и фантазии часто выдаются за науку психологию, а сами они уверены, что просто прочитав труды Бэкона и Декарта, они полностью овладели позитивистской методологией.

Не знаю, станет ли в будущем возможно проводить серьезное исследование методологии на основе рассуждения *a priori*, полностью абстрагируясь от философского подхода к изучению науки, но, по моему убеждению, в настоящее время это неосуществимо, так как нельзя с достаточной точностью обосновать наиболее значительные логические методологии вне сферы их применения. Более того, рискну добавить, что, даже если, в конце концов, можно было бы осуществить подобную попытку, преуспеть в создании стройной системы мыслительных навыков (именно это в итоге и является целью изучения методологии), это было бы возможно только с помощью исследования специфики применения научных методов”.

Кажется, к сказанному нечего добавить. Однако проблеме методологии посвящено огромное число работ, которые производят на исследователей ложное впечатление научности. Возможно, они были написаны пророками, восставшими против естественной неизбежности эмпирического подхода, хотя не ясно, считают ли эти исследователи рутинные задачи научной деятельности недостойными тех высоких целей, которые они перед собой ставят, или того разума науки, воплощением которого они себя представляют. Авторитеты в области методологии с радостью заставили бы всех ученых провести остаток жизни на скамье методологического катехизиса. Работы тех, кто разглагольствует о том, что такое быть подлинным социологом, или о том, в каком направлении должна развиваться социология, если она хочет остаться наукой, часто обнаруживают отсутствие связи между методом или теорией (не говоря уже о теории методологии или теории теории) и действиями, предпринимаемыми в ходе исследования.

Цель данной книги состоит в том, чтобы на основе опыта проведения исследований в современных условиях продемонстрировать “систему мыслительных навыков”, соответствующую стоящим перед нами целям. Книга предназначена для тех, кто занимается практикой эмпирической социологии, кому не нужно лишний раз напоминать о необходимости наличия

системы измерения и ее теоретическом и техническом основании. Они, как и мы, исходят из того, что нельзя пренебрегать ни одним концептуальным или теоретическим инструментом, который позволяет задействовать в полной мере все возможности экспериментального исследования. Только те, кто не имеет или сознательно избегает опыта проведения экспериментальных исследований, расценит эту работу, нацеленную на критический анализ сложившейся практики социологических исследований, как попытку дискредитировать эмпирическую социологию.

Если правда, что в процессе изучения научной дисциплины как преподаватель, так и студенты обращаются к собственному опыту практической деятельности, тогда “абстрактная и неприменимая методология, программы для некоего идеального исследования, составленные кем-то оценочные отзывы о работе и тому подобные инструменты и случаи разглагольствования по поводу методологии” вряд ли смогут заменить анализ используемых методик и признание того, что ряд принципов не могут считаться истинными *a priori*, потому что они сами являются принципами поиска истины. И если правда, что методики и методы — это не одно и то же, по крайней мере в том смысле, что последние “справедливы для всех наук или большей части из них”, то размышления о методологии должны включать классические примеры эпистемологического анализа из области естественных наук. Но, возможно, социологи должны прийти к согласию по поводу основополагающих принципов, как это принято у ученых-естественников или специалистов по теории науки, благодаря чему им удастся избежать концептуальной анархии, на которую они обречены вследствие собственного пренебрежения эпистемологическим анализом. В действительности, попытка применить такие общие эпистемологические принципы к какой-либо конкретной науке, в частности, к социологии, не просто оправдана, но даже необходима. Специфика социологии, начиная от гуманистического стереотипа о предельности гуманитарных наук и заканчивая особенностями подбора и обучения будущих социологов, не говоря уже о существовании многочисленных специалистов по методологии, специализирующихся на выборочной интерпретации наследия других наук, только усугубляет пренебрежение к эпистемологическому наследию. Таким образом, мы должны рассмотреть сложившуюся в социологии практику проведения исследований в контексте эпистемологической полемики для того, чтобы дать определение особому подходу и продемонстрировать его необходимость. Мы подразумеваем подход, исследующий механизм совершенных ошибок и, таким образом, позволяющий использовать имеющийся негативный опыт для того, чтобы исправить ошибки. Наша цель состоит в том, чтобы предоставить исследователю средства для критического анализа собственной работы. Такой подход отличается от призывов к порядку со стороны цензоров, чей догматический негативизм может внушить лишь смертельный страх перед ошибкой, и как следствие, возврат к методике, основанной на магических заклинаниях.

Как следует из работ Гастона Башлара, эпистемология отличается от абстрактной методологии тем, что она пытается постичь логику, которая привела к ошибке, и на этой основе выстроить логику, которая приведет к истине, как противоположности ошибки. Таким образом, это попытка подвергнуть все научные положения, которые принято считать истинными, и все научные методы перманентному очищению от элементов ошибки. Но полемический потенциал научного мышления не может быть задействован в полную силу, если нет возможности способствовать углублению его анализа при помощи изучения социальных условий, в которых рождаются работы по социологии. Социолог обнаруживает очень важный инструмент, способствующий повышению эпистемологической бдительности, в сфере социологии знания. Это то средство, которое дает возможность яснее понять причины ошибки и условия, вызвавшие ее или сделавшие ее неизбежной. Следовательно, любые остающиеся здесь элементы того, что, вероятно, является полемикой *ad hominem*, объясняются ограниченностью социологического понимания условий ошибки. Для обращающейся к социологии знания эпистемологии нехарактерно возлагать вину за ошибки на субъектов, которые никогда их не совершали. Перефразируя известное высказывание Маркса, подчеркнем, что мы не стремились нарисовать портрет эмпирика, интуитивиста или методолога. Мы не имели в виду конкретных людей, за исключением тех случаев, когда они воплощают собой соответствующие эпистемологические позиции, понятные в полной мере только в контексте социальных условий, в которых они были сформулированы.

Обучение методике проведения исследования

Форма и содержание данной работы определены ее целью. Обучение методике проведения исследования, которое ставит перед собой цель сформулировать принципы профессиональной деятельности и одновременно с этим привить определенное отношение к этой деятельности, т.е. обеспечить как инструментами, незаменимыми при изучении объекта с точки зрения социологии, так и умением использовать их адекватно, порывает с однообразием педагогических рассуждений и восстанавливает всю эвристическую силу концепций и подходов, которые почти полностью были “нейтрализованы”, выхолащены каноническим изложением. Вот почему данная работа, целью которой является обучение наиболее важным аспектам социологической практики, начинается с рассуждения, направленного на систематизацию и определение значения любой практики, неважно, хорошей или плохой, установление принципа эпистемологической “зоркости” в форме практических инструкций. Далее мы попытаемся определить функции и условия применения теоретических схем, к которым социологии приходится обращаться для создания объекта своего исследования — не претендуя на представление

этих первых принципов специфического социологического исследования в качестве законченной социологической теории, и уж тем более в качестве общей и универсальной теории социальной системы. Эмпирическому исследованию не нужно применять такую теорию для того, чтобы избавиться от эмпиризма как особенности применяемого подхода, при условии, что на всех стадиях исследования эффективно реализуются принципы, придающие ему научный статус, снабжая его объектом с определенной степенью теоретической связности. Тогда концепции или методы могут рассматриваться в качестве инструментов, которые можно извлечь из первоначального контекста и найти им новое применение. Знакомство с новым интеллектуальным инструментом будет всякий раз сопровождаться примерами его использования, благодаря чему мы надеемся избежать представления о социологии как о наборе технических приемов или банке концепций, не связанных с их применением в ходе исследования.

Мы поставили перед собой задачу извлечь как теоретические принципы, так и технические приемы, завещанные нам историей социологической науки, из “системы доводов”, частью которой они являлись, не просто для того, чтобы разорвать оковы дидактической традиции, которая намеренно не проявляет интереса к истории доктрин или концепций, чтобы предоставить дипломатическую неприкосновенность ценностям, освященным традицией или модой. Мы также не стремились просто освободить эвристический потенциал, который часто оказывается больше, чем это предполагалось. Мы это сделали в первую очередь для того, чтобы создать теорию социологического знания, которая способствовала бы превращению социологии в систему принципов, определяющих условия осуществления всех относящихся к социологии действий и научных дискуссий вне зависимости от теории социальной системы, характерной для тех, кто разрабатывает или разработал социологические концепции во имя этих принципов. Вопрос взаимоотношений конкретного социологического исследования с конкретной теорией социальной системы (будь то теория Маркса, Вебера или Дюркгейма) всегда вторичен по сравнению с вопросом, имеет ли вообще исследование отношение к социологии. Единственным позволяющим об этом судить критерием является то, насколько данное исследование применяет фундаментальные принципы теории социологического знания, которые сами по себе никоим образом не могут отделить друг от друга авторов, чьи позиции в отношении теории социальной системы полностью противоположны. Даже если очень многие авторы не проводили различий между конкретной теорией социологической системы и теорией социологического знания, на которую они опирались, по крайней мере в своей социологической практике, в рамках эпистемологического проекта мы можем использовать это предварительное различие как основу для противопоставления авторов, которые, используя противоположные доктрины, тем не менее не противоречат друг другу с точки зрения эпистемологического подхода.

Нас могут упрекнуть в том, что наш проект приведет к смешению принципов, заимствованных из разных теоретических традиций, или к установлению набора схем, не связанных с принципами, которые служат их фундаментом. В этом случае следует вспомнить о том, что примирение, принципы которого мы пытаемся выработать, в действительности касается того, насколько социолог последователен в своей практической деятельности, в своем ремесле (*habitus*), которое как система более или менее удачно ассимилированных и взаимозаменяемых схем мышления есть не что иное, как усвоение принципов теории социологического знания. Возникающее всякий раз искушение преобразовать методологические указания в научные схемы или лабораторную аппаратуру можно побороть только путем постоянной тренировки научной “зоркости”, которая, подчиняя использование профессиональных приемов и теоретических концепций анализу условий и пределов их истинности, исключает автоматическое применение проверенных и испытанных процедур. Таким образом, даже самое рутинное действие должно быть обдуманно заново как само по себе, так и в связи с конкретным случаем. Только в результате мистической интерпретации требований системы измерения возможно одновременно прийти, с одной стороны, к переоценке значимости действий, являющихся всего лишь маленькими профессиональными хитростями, а с другой, превратив методологическую бдительность в священный трепет, к отказу от использования инструментов, судить о которых следует только по результатам их применения или к ограниченному применению этих инструментов с дрожью в руках из-за страха не выполнить какое-либо из ритуальных условий. Те, кто одержим критичностью методологического подхода, похожи на одного из пациентов доктора Фрейда — пациента, который все время протирал очки, но никогда не надевал их.

Серьезный подход к проекту последовательного распространения того, что называется *ars inveniendi*, подразумевает нечто большее и иное, нежели *ars probandi*, как предлагают те, кто смешивает механическую логику подтверждений и доказательств с подлинными процессами изобретения. Необходимо также понять, что существующие на сегодняшний день рассуждения о методах исследования все еще нельзя в полном смысле считать работами на тему социологической методологии.

В отличие от традиции, которая ограничивается логикой доказательств, отказываясь по принципиальным соображениям вступить в непознанную область изобретения и, тем самым, обрекая себя на существование, ограниченное с одной стороны риторикой формального объяснения, а с другой — книжной психологией открытия, в своей работе мы пытаемся найти средства формирования особого расположения ума, являющегося необходимой предпосылкой как для изобретения, так и для доказательства. Если примирение невозможно, необходимо оставить все надежды на то, чтобы оказать

помощь в осуществлении открытий. Остается лишь уповать на чудеса творческого озарения, о которых говорит агиография научного открытия, или на тайны глубинной психологии. [Агиография — жития святых. Здесь этот термин употребляется в практическом смысле по отношению к идеализированным представлениям о жизни науки и ученых. — *Ред.*]

Хотя приобретенные навыки сокращают необходимость перманентного изобретения, не следует полагать, что субъект научного изобретения является неким *automaton spirituale*, который управляется при помощи встроенных механизмов методологического программирования, в который программа вводится раз и навсегда. Это привело бы исследователя к слепому подчинению программе, которая исключает критическое переосмысление самой программы, что является необходимой предпосылкой для изобретения новых программ. Методология, как говорил Вебер, “есть в такой же степени предпосылка для продуктивной интеллектуальной работы, как знание анатомии есть предпосылка для «правильной» ходьбы”. Тщетны надежды на то, что науке удастся открыть истинный способ осуществления научной деятельности, или на то, что логике удастся найти альтернативные методы осуществления контроля за наукой в процессе ее развития или доказательства истинности проведенных исследований. Но вряд ли можно оспорить утверждение Дж. С. Милза: “Изобретению необходимо обеспечить благоприятные условия”. Следовательно, даже частичное описание логики изобретения может способствовать рационализации обучения способности изобретать.

Эпистемология общественных наук и эпистемология естественных наук

Причина большинства ошибок, которые могут возникать в социологической практике и теории, лежит в неверном представлении об эпистемологии естественных наук и ее отношении к эпистемологии общественных наук. Эти эпистемологии в своих программных утверждениях отличаются друг от друга так же сильно, как дильтеанский дуализм, устанавливающий специфику методологии общественных наук только в противопоставлении с естественными науками, от позитивизма, который стремится подражать естественным наукам, следуя созданному именно в этих целях представлению о них. Обе эпистемологии в разной степени лишены однозначных принципов, характерных для точных наук. Неправильное восприятие привело к тому, что одни изобретают искусственные различия между двумя методологиями для того, чтобы потакать гуманистической ностальгии или благочестивым устремлениям; другие возвещают об открытиях, которые не открывают ни-

чего нового; но тем не менее некоторые обращаются к позитивизму, который безыскусно воспроизводит представление об опыте как уменьшенной копии действительности.

Достаточно очевидно, что позитивизм перенимает методологию точных наук только в карикатурном виде, *ipso facto* (в силу самого факта) не достигая строгой эпистемологии общественных наук. Действительно, тот факт, что критика механического позитивизма служит усилению субъективного характера социологического фактического материала и невозможности использования в отношении него точных научных методов, является характерной особенностью истории философии. Таким образом, заметив, что “методы, которые ученые и интересующиеся естественными науками люди так часто пытались приложить по отношению к общественным наукам, скорее только предполагались, чем действительно использовались учеными в своей области науки”, Хайек незамедлительно сделал вывод, что фактический материал общественных наук, будучи мнениями и взглядами определенных людей, отличается от фактического материала физических наук и, следовательно, не может быть определен с точки зрения того, что мы можем узнать об этих фактах с помощью объективных научных методов, а только в отношении того, что конкретная личность думает о них. Любой вопрос о произвольном подражании естественным наукам автоматически ассоциируется с субъективистской критикой объективности социальных фактов, и поэтому любая попытка затронуть специфичные проблемы, связанные с переносом эпистемологического наследия естественных наук в науки общественные, часто может быть расценена как подтверждение неотъемлемых прав субъективности.

Методология и искажение принципов бдительности

Чтобы не увязнуть в академических дебатах, необходимо подвергнуть научную практику такому рассмотрению, которое в отличие от классической философии обращено не к науке, которая уже разработана — к истинной науке, для которой необходимо определить условия возможности и последовательности существования или критерии легитимности — а к развивающейся науке. Эта специфически эпистемологическая задача заключается в том, чтобы определить в рамках самой научной практики, немислимой без борьбы с ошибками, условия, позволяющие извлекать истинное из ложного, двигаясь от менее истинного к более истинному знанию, или, как говорил Башлар, “к знанию, приближающемуся к истине, а значит, очищенному знанию”. Перенесенное в сферу общественных наук данное понимание научной деятельности как “непрерывной полемической деятельности разума” может породить принципы рассуждения, способные послужить вдох-

новением для конкретной подлинно научной деятельности, а также контролировать ее, определив специфику принципов “регионального рационализма”, типичного для социологии. Жесткий рационализм, вдохновивший ученых на исследование классической философии знания, сегодня чаще всего находит применение в работах социологов, пытающихся свести исследования по методологии к формальной научной логике. Однако, как указывает Пол Фейерабенд, “любой вид значимого инварианта непременно приведет к трудностям, как только возникнет задача ... дать надлежащее объяснение приросту знания и открытиям, способствующим этому росту”. Точнее говоря, забота исключительно о вневременных взаимоотношениях между абстрактными утверждениями приводит к тому, что процессы, благодаря которым каждое утверждение или концепция были выработаны и привели к появлению других утверждений и концепций, остаются без внимания. Это вряд ли помогает тем, кто вовлечен в научную работу, ибо все действие происходит за кулисами, а зрители могут увидеть только развязку. Полностью посвятив себя поиску идеальной логики проведения исследования, методологи могут обратиться лишь к исследователю, который при абстрактном определении способен достичь этих стандартов совершенства — он безупречен, т.е. нерелевантен или неспособен к социдантов. Полное подчинение тому, что называется *organon* логических правил, приводит к эффекту “преждевременного закрытия”, устраняя то, что Фрейд называет “эластичностью определений”, а Карл Гемпель — “открытостью значения” научных терминов, что по крайней мере на определенных стадиях истории развития науки или описания механизмов исследования является одним из условий изобретения.

Это не дает оснований отрицать тот факт, что формализация логики, трактуемая как средство тестирования логики проводящегося исследования и когерентности его результатов, является одним из наиболее эффективных инструментов эпистемологического контроля. Но таким легитимным использованием логических инструментов часто злоупотребляют, чтобы найти оправдание извращенному пристрастию к упражнениям в методологии, не имеющим иных целей кроме как продемонстрировать арсенал доступных средств. Столкнувшись с каким-либо исследованием, которое проводится в целях логики или методологии, вспоминаешь рассказ Абрахама Каплана о том, как “пьяный искал возле уличного фонаря ключ, потерянный в другом месте. Когда его спросили, почему он не ищет ключ там, где он его потерял, пьяный ответил: «Здесь светлее!»”.

Строгость технологии, возведенная в культ, основана на вере в строгость вообще, которая была сформулирована раз и навсегда вне зависимости от конкретной ситуации, т.е. на фиксированном представлении об истине, или соответственно ошибке, как о трансгрессии [лат. *transgressio* — переход. — *Ред.*] безусловных норм. Такому культу противостоит поиск *особых типов строгости*, основанный на понимании истины как субстанции, очищенной от элементов ложного. “Знание”, по словам Башлара, “должно про-

исходить от известного”. Таким образом, попытки определить логику, не принимая во внимание историю развития науки, обречены на провал. Для того чтобы постигнуть суть процессов исследования, необходимо проанализировать то, как развивалось исследование, а не огораживать его со всех сторон, следуя заповедям, которые обладают приоритетом перед практической деятельностью лишь потому, что они были раньше сформулированы. Для того, чтобы избежать ошибок в математике, достаточно правильно выбрать метод. Отдельные исследователи, очарованные этим фактом, провозгласили, что возможно определить истину как продукт интеллектуальной деятельности, отвечающий ряду норм. Они требуют применять к экспериментальным данным такой же подход, какой математики применяют к аксиомам в геометрии. Они надеются сформулировать правила мышления, которые будут играть ту же роль, что и логика в математике. Отталкиваясь от ограниченного эксперимента, они пытаются сформулировать его теорию за одну операцию. Счет развивался очень медленно. Для того чтобы четко сформулировать идею числа, потребовалось два с половиной тысячелетия. Процедуры, устанавливающие требование строгости, возникают как ответы на вопросы, которые нельзя ставить *a priori*. Только развитие науки способствует их появлению. От наивности нельзя избавиться сразу. Это справедливо в отношении математики и *a fortiori* в отношении наук, основанных на наблюдении, в которых каждая неудачная теория способствует ужесточению требований строгости. Таким образом, нет смысла пытаться сформулировать *a priori* условия, делающие возможным истинное мышление в науке.

На более глубинном уровне настоятельные призывы к совершенствованию методологии скорее всего приведут к замещению эпистемологической бдительности. Вместо того чтобы, к примеру, рассмотреть объект измерения и спросить себя, стоит ли проводить его измерение, какую степень точности желательно при этом достичь, какая степень точности будет достаточной с точки зрения конкретных обстоятельств измерения, или даже просто проследить за тем, чтобы инструменты измеряли то, что, собственно, предполагалось измерять, исследователи часто идут на поводу собственного желания перенести абстрактную идею методологической строгости в сферу реализуемых задач и, одержимые десятичностью, преследуют противоречивый идеал, по существу, неопределимой точности. Не следовало бы забывать тот факт, что, как указывает А.Д. Ритчи, “метод, который производит измерение с большей степенью точности, чем это необходимо, так же плох, как и тот, который недостаточно точен”. Аналогично, Н.Р. Кэмпбел замечает, что когда установлено, что все утверждения, содержащиеся в пределах определенных границ, эквивалентны, а утверждение, определенное приблизительно, находится в пределах данных границ, “приблизительность является полностью оправданной”. Понятно, что при такой казуистике этика методологического долга порождает процедурный ритуализм, похожий на карикатуру методологической строгости. Однако у него не будет ничего общего с эпистемологи-

ческой бдительностью. Особенно важен тот факт, что статистика как наука об ошибке и приблизительном знании, применяющаяся в таких стандартных процедурах, как вычисление величины погрешности или пределов истинности, оказывается не чем иным, как поиском научного алиби или оправданием слепого подчинения власти технических инструментов.

Аналогично, только необходимость поддержать престиж теоретического изыскания заставляет ученых-практиков хоть на словах отдать дань уважения теоретикам, когда они обращаются к эмпирическому исследованию и его концептуальному инструментарию для того, чтобы проанализировать какую-либо теорию в отрыве от научного наследия, которое данная теория пытается обобщить и на господство над которым претендует. И всякий раз, когда интеллектуальный климат способствует тому, чтобы ученые, абсолютно чуждые практической деятельности, навязывали другим свой собственный логический или семантический идеал законченной, всегда связанной системы концепций, наступает паралич исследовательской работы, проникающий настолько глубоко, насколько им удалось вселить в научный мир одержимость к концептуализации всего, во всем, во всех отношениях и сразу. В реальных условиях научной практики построение новых теорий или разработка новой проблематики требует от ученых отказа от амбиций сказать все, обо всем и в нужной последовательности.

Эпистемологический порядок рассуждения

Но приведенные выше образцы социологического или психологического анализа извращенного понимания методологии или спекулятивного отклонения от ее принципов не могут заменить собственно эпистемологическую критику, на необходимость которой они указывают. Ученый должен критически относиться к высказываемым методологами предупреждениям об опасности, ибо, привлекая внимание прежде всего к формальному контролю за экспериментальными процедурами и операционными концепциями, они оставляют незамеченными более серьезные проблемы. Тот мощный инструментарий и та неоценимая помощь, которые методологический анализ способен предоставить, оборачиваются против ученого, если не выполняются необходимые предпосылки их применения. Теория соблюдения условий формальной строгости при проведении научных операций, представляющая в маске оперативной версии эпистемологической бдительности, возможно, уходит корнями в желание обеспечить автоматическое применение принципов и теорий, определяющих понятие методологической бдительности. Поэтому необходимо дополнительно следить за тем, чтобы автоматически не произошло такой подмены.

Как говорил Соссюр, “лингвисту необходимо показывать, что он делает”. Чтобы спросить, что означает заниматься наукой, или, скорее, чтобы попытаться выяснить, чем занимается ученый (вне зависимости от того,

знает ли он сам, что он делает), недостаточно только провести анализ эффективности и формальной строгости доступных теорий и методов. Необходимо проанализировать методы и теории в тот самый момент, когда они применяются, чтобы определить, как они влияют на объекты и какие объекты они образуют. Порядок, согласно которому данный анализ должен проводиться, определяется как эпистемологическим анализом факторов, препятствующих познанию, так и социологическим анализом эпистемологического потенциала современной социологии. Эти две составляющие определяют иерархию факторов эпистемологической опасности и, следовательно, порядок приоритетов.

Идея Башлара о том, что научный факт *выигрывается в борьбе, конструируется и подтверждается*, ставит под сомнение как эмпиризм, редуцирующий научное действие до одной лишь ратификации, так и конвенционализм, возражающий лишь против предварительного конструирования. Придавая такую большую значимость императиву ратификации в противоположность умозрительной традиции социальной философии, от которой социологическое сообщество стремится избавиться, социологи сегодня склонны забывать об эпистемологической иерархии научных действий, которая подчиняет ратификацию конструированию, а конструирование отказу от самоочевидных фактов. В экспериментальной науке обращение к экспериментальным доказательствам является лишь тавтологией, если одновременно не производится экспликация теоретических принципов, являющихся основой подлинного экспериментирования. В свою очередь данная экспликация сама по себе не имеет эвристической ценности, если одновременно не объясняется суть эпистемологических препятствий, возникающих в специфичной форме в каждом конкретном случае научной практики.

П. Лазарсфельд

Релевантность методологии

Природа современной методологии

Предполагается, что социолог превращает огромную и постоянно меняющуюся паутину социальных отношений в понятную систему знаний. Объектом методологического анализа является раскрытие и оценка того способа,

Источник: Lazarsfeld P. The Relevance of Metodology // Paul Lazarsfeld on Social Research and its Language / Ed. by R. Boudon. Chicago: University of Chicago Press, 1993. P. 225—249. Пер. с англ. Л. Ясной, В. Ясной.

каким это делается. Социологи изучают человека в обществе; методологи изучают социолога за работой. В мире естественных наук это является важным видом деятельности, которая в некоторые решающие моменты, например, в годы, предшествовавшие открытию Эйнштейном теории относительности, оказала значительное влияние на развитие самой науки. Для сравнения стоит вспомнить на минуту, что обычно делают философы науки. Их деятельность концентрируется вокруг понятия *экспликация* [лат. explicatio — истолкование, объяснение. — *Ред.*] Гемпель, ведущий немецкий представитель этого направления, сейчас работающий в Соединенных Штатах, следующим образом описал эту идею:

“Целью экспликации является уменьшение ограничений, двусмысленностей и непоследовательности в обычном использовании языка с помощью реинтерпретации, с намерением *повысить ясность и точность значений*, а также их способность функционировать в процессах и теориях с объяснительной и предсказывающей силой”¹.

Когда мы переносим такие термины, как “личность”, “закон” или “причина” из повседневного языка в научный оборот, мы всегда должны принимать решения, за которые сами несем ответственность. Мы отбрасываем некоторые коннотации этих терминов для того, чтобы сделать оставшиеся более точными и легче поддающимися верификации и доказательству. В этом смысле, как подчеркивает Гемпель, экспликацию нельзя определять просто как истинную или ложную; но о ней можно судить более или менее адекватно по степени, в какой она достигает своих целей.

Социальные ученые, занимающиеся методологией, легко могут найти случай использования такой экспликации как для старых умозрительных трудов о социальных явлениях, так и для массивов современных эмпирических исследований. Поучительно исследовать работы классического автора, скажем, в области изучения общественного мнения, и посмотреть, как его утверждения могут быть переведены на язык современных исследовательских процедур². Окажется, с одной стороны, что такие труды содержат огромное богатство идей, которые могут быть с пользой включены в современную эмпирическую работу. С другой стороны, окажется, что такой автор допускает значительную неопределенность выражений. Путем должной экспликации мы можем выявить более точные значения, которые могут быть ему приписаны. Как социальным ученым нам будет особенно интересно увидеть, какие из его утверждений дают возможность верификации. Задача такой экспликации — не критиковать работу, но скорее перекинуть мост, в

¹ Hempel C.G. Fundamentals of Concept Formation in Empirical Science. Chicago: University of Chicago Press, 1952. (International Encyclopedia of United Science. Vol. II. N 7).

² Lazarsfeld P.F. Public Opinion and the Classical Tradition // Public Opinion Quarterly. 1957. Vol. 21. P. 39—53.

данном случае, между старой гуманистической традицией и новой, более эмпирически ориентированной. Наши французские коллеги признают, что это является применением “*explication des textes*” [метод литературной критики с детальным анализом каждой части работы. — *Пер.*] к социологическим трудам и эмпирическим социологическим исследованиям.

Фактически необходимость такой экспликации особенно остра в социальных науках. Когда ученый-естественник делает открытие, оно обычно оказывается настолько отличным от повседневного опыта, что сама природа феномена заставляет его разрабатывать точную и определенную терминологию. Крайний пример этого, конечно же, математика. Но в разговоре о человеческих проблемах мы привыкли к здравому смыслу, обыденному языку и не можем избежать перенесения этих коллоквиализмов (разговорных выражений) в школьные классы и аудитории, где мы обсуждаем социальные вопросы. Однако обыденный язык известен своей неопределенностью, и поэтому прояснение и очищение речи (слова) очень важны для социального ученого. Мы должны предпринимать специальные усилия для семантического анализа.

Другое, родственное, направление интеллектуальной деятельности было названо “*критика теории*”. Слово “критика” было взято из немецкой философии и легко может быть неправильно понято. Когда Кант писал свою “Критику чистого разума”, он, очевидно, не хотел критиковать рациональное мышление. Под “критикой” он имел в виду анализ условий, при которых возможно такое мышление. То же значение обнаружено и в области литературы и художественной критики. Здесь также смысл не в том, что критик непременно осуждает художественное произведение, а в том, что он анализирует его структуру. Таким же образом критика теоретических систем подразумевает только то, что их основные принципы и неявные допущения ясно раскрываются.

Бриджмен — главный представитель критического анализа в США, и его короткий очерк является, возможно, лучшим введением к критике такого рода. В предисловии к своему очерку Бриджмен ставит задачу вполне четко: “Попытка понять, почему происходит так, что некоторые виды теорий работают, а другие нет, — это *дело физика как критика, в противоположность физика как теоретика*. Материалом для физика как критика является физическая теория, так же как материалом для физика как теоретика является эмпирическое знание”¹.

Различие между “теорией” и “критикой” имеет большое значение. Критик имеет дело с эмпирическим материалом, но с некоторого расстояния. Выявив точно, что теоретик (или аналитик) делает со своими исходными данными, он по-своему содействует продвижению исследования. Во введе-

¹ Bridgeman P.W. The Nature of Physical Theory. Princeton: Princeton University Press, 1936.

нии и заключении к этому очерку Бриджмен дает американскому читателю понимание общего интеллектуального влияния, которое исходило в начале века от таких авторов, как Пуанкаре во Франции и Мах в Германии. Если бы кто-то решил написать интеллектуальную историю поколения европейских студентов, которые выросли в первые десятилетия двадцатого столетия, он, возможно, включил бы критику такого рода в один ряд с психоанализом и марксизмом как главными интеллектуальными влияниями, которые формировали климат мышления в тот период.

Интересно, что Бриджмен делает акцент на образовательной ценности такой критики. Он подчеркивает, что трудность усвоения чужих творческих идей значительно недооценивается в современном образовании. И он считает, что если бы был сделан больший акцент на развитии критических способностей, то способность к творчеству и изобретательность молодого ученого-естественника значительно возросли бы.

Есть веская причина говорить в нашей области знаний скорее о методологии, чем о философии науки. На основании приведенной цитаты можно сделать вывод, что в естественных науках акцент делается на экспликации теорий. В нашей области теории пока еще по-настоящему не разработаны. То, что называют социальной теорией, — это либо системы понятий (например, творчество фон Визе или Парсонса), либо указания, выделяющие те аспекты социальных явлений, на которые мы должны обратить особое внимание (лучший пример этой интеллектуальной деятельности — экспликация Мертоном функционального анализа)¹. Вместо того, чтобы говорить о “философии социальных наук”, я предпочитаю говорить о методологии науки — этот термин более скромный и больше соответствует существующему положению дел. Он подразумевает, что конкретные исследования тщательно рассматриваются в отношении используемых ими процедур, лежащих в их основе предположений, способов объяснения, принимаемых как удовлетворительные. Методологический анализ в этом ключе предоставляет элементы, из которых может быть построена будущая философия социальных наук. Если меня не подводит чувство языка, термин должен передавать значение экспериментальности; методолог систематизирует текущие исследовательские практики с тем, чтобы выявить, что в них устойчиво и заслуживает быть принятым во внимание в следующий раз.

Методология и родственные виды деятельности — экспликация и критический анализ — развились скорее как склонность ума, чем как система организованных принципов и процедур. Методолог — это ученый, который является прежде всего *аналитиком* в подходе к своему предмету, будь то его собственное исследование или исследование других людей. Он говорит другим ученым, что они сделали или могли бы сделать, а не что они должны делать. Он не говорит им, какой результат предпочтителен или нежелате-

¹ Merton R.K. *Elements de Methode Sociologique*. Paris: Librairie Plon, 1953. Ch. 3.

лен, но сообщает, какого порядка выводы получены в их исследовании. Такого рода аналитический интерес требует, с одной стороны, самоосознания, а с другой — терпимости. Методолог знает, что одна и та же цель может быть достигнута разными путями, и осознает, что инструменты должны быть приспособлены к выполняемой ими функции, а не быть бесполезно острыми.

Возможно, необходимо напомнить о том, каким образом методология здесь *не* определяется. Например, она, возможно, является менее жесткой, чем формальная логика; с другой стороны, в ней меньше предметного содержания и она более формальна, чем то, что называется психологией или социологией знания. Подобным же образом методолог не является техническим советником; он не указывает исследователям, какие конкретно процедуры составления выборки или измерения они должны использовать при проведении исследования. В его задачу также не входит определение проблем, выбираемых для исследования. Но когда тема для исследования уже выбрана, он может предложить общие типы процедур, которые, в свете заявленных целей, кажутся наиболее подходящими. Я хочу привести два примера такого рода методологической деятельности, которые, я думаю, внесут ясность, и в ходе рассказа я остановлюсь на тех моментах, которые требуют дальнейшего толкования.

Переход от понятий к процедурам измерения

Мой первый пример касается взаимоотношений между понятиями и их представлением с помощью операций эмпирического исследования. Я ограничусь классификационными понятиями — такими, как сплоченность группы или честолюбие человека, которые разработаны, в основном, для того, чтобы классифицировать группы и людей по степени сплоченности или честолюбия соответственно. Приписывание этих характеристик взаимозаменяемо называется описанием, классификацией или измерением. Конечной целью является разработка утверждений, говорящих, например, о том, что сплоченные группы рабочих отличаются более высокой производительностью, или что честолюбивым людям в большей степени недостает теплых человеческих отношений с другими людьми. Мы назовем индексы или тесты, с помощью которых получают такие классификации, “вариатами” [variates]; этот термин напоминает более известный математический термин “переменная”, но включает ранжирование и другие качественные характеристики. Процесс, с помощью которого понятия переводятся в вариаты, использующиеся в эмпирическом исследовании, состоит, в общем, из четырех шагов: первоначальное создание представления о понятии, уточнение измерений, выбор достойных внимания индикаторов и комбинация индикаторов в индексы.

(а) *Создание представления.* Процесс обдумывания и анализа, который заканчивается созданием измерительного инструмента, обычно начинается с того, что могло бы быть названо созданием представления. Погружаясь во все детали теоретической проблемы, аналитик создает довольно неопределенный образ или конструкт. Творческий акт может начаться с осознания того, что многие несравнимые явления имеют некоторые общие базовые характеристики. Или исследователь мог наблюдать определенные закономерности и пытается объяснить их. В любом случае понятие, когда оно впервые создается, является смутно постигаемой сущностью, которая делает наблюдаемые отношения значимыми.

Предположим, мы хотим изучать промышленные предприятия. Естественно, мы хотим измерить качество управления предприятием. Что мы понимаем под управлением? Это понятие возникло, возможно, тогда, когда кто-то заметил, что при одних и тех же условиях фабрика иногда работает хорошо, а иногда плохо. Что-то делалось для того, чтобы заставить людей и технику быть более производительными. Это “что-то” было названо управлением, и с тех пор исследователи промышленных организаций пытались сделать это понятие более конкретным и точным. Такой же процесс происходит и в других областях. К настоящему времени разработка тестов интеллекта стала огромной индустрией. Но представление об интеллекте возникло тогда, когда вы, наблюдая за маленькими мальчиками, были поражены тем, что одни сметливы и интересны, а другие скучны и неинтересны. Такого рода первоначальные наблюдения заводят механизм, приводящий нас к проблеме измерения.

(б) *Уточнение понятия.* Следующий шаг состоит в том, чтобы взять это первоначальное представление и разбить его на составляющие. Понятие определяется в ходе тщательного обсуждения явлений, из которых оно возникло. Мы разрабатываем “аспекты”, “компоненты”, “измерения” и подобные детали. Иногда они выводятся логически из общего понятия, или один аспект выводится из другого, или из эмпирически наблюдаемых корреляций. Оказывается, что понятие состоит из сложной комбинации явлений, а не является простым и непосредственно наблюдаемым предметом.

Предположим, мы хотим узнать, является ли рабочий коллектив эффективным. У Вас есть первоначальное понятие (представление) об эффективности. Кто-то приходит и говорит: “Что Вы на самом деле имеете в виду? Кто более эффективен — тот, кто работает быстро и делает много ошибок, так что у Вас много брака, или тот, кто работает медленно, но делает очень мало брака?” Вы можете ответить в зависимости от того, что производите: “Ну, если подумать, я имею в виду тех, кто работает медленно, но делает мало ошибок”. Но хотите ли Вы, чтобы они работали так медленно, что в течение десяти лет не будет никакого брака? Это тоже будет плохо. В конце концов вы разделяете понятие эффективности (производительности) на та-

кие компоненты, как скорость, точность, последовательность и т.д., и неожиданно у Вас получается то, что теория измерения называет набором измерений [dimensions].

(в) *Выбор индикаторов.* После того как мы решили вопрос с измерениями, мы переходим к третьему шагу: определение индикаторов этих измерений. Здесь мы сталкиваемся с рядом проблем. Прежде всего, как “придумывают” эти индикаторы? Это старая проблема.

Уильям Джеймс писал в “Значении истины”:

“Предположим, например, что мы говорим о человеке, что он благогазумы. Конкретно это означает, что он всегда покупает страховку, избегает заключать пари, смотрит под ноги прежде чем прыгнуть... Имея в виду постоянную привычку человека, неизменную черту характера, принято называть его благогазумы, абстрагируясь от всех его действий... В его психогазумыческой системе имеются особенности, которые заставляют его действовать благогазумычно...”

Здесь Джеймс совершает переход от образа к ряду индикаторов, подсказанных непосредственно жизненным опытом. Сегодня мы более точно определим отношение этих индикаторов к лежащему в их основе качеству. Мы не ждем, что рассудительный человек будет избегать пари или страховать свою жизнь от любой рискованной ситуации. Вместо этого мы будем говорить о вероятности, что он совершит какое-нибудь специгазумыческое действие по сравнению с менее рассудительным человеком. И мы будем знать, что индикаторы могут значительно различаться в зависимости от социального окружения индивида. Например, среди студентов Протестантского колледжа мы могли бы обнаружить очень мало случаев заключения пари и покупки страховки. И все же можно найти способ измерения рассудительности, которая будет соответствовать окружению. Записывает ли студент, когда одалживает кому-то книгу, всегда ли запирает дверь комнаты при уходе и т.д. — все это можно использовать в качестве индикаторов.

Тот факт, что любой индикатор не имеет абсолютного, но лишь вероятностное отношение к нашему базовому понятию, заставляет нас рассматривать огромное количество возможных индикаторов. Случай тестов интеллекта — хороший пример. Сначала интеллект был разделен на такие измерения, как способности к ручному труду, вербальный интеллект, способность к воображению и т.д. Но даже в этом случае нет единого индикатора, которым может быть измерена способность к воображению. Мы должны использовать множество индикаторов, чтобы добраться до нее.

Вряд ли найдется наблюдение, которое в то или иное время не использовалось бы в качестве индикатора чего-то, что мы хотим измерить. В качестве одного из индикаторов способности человека мы используем его зарплату, но мы не полагаемся исключительно на нее, иначе нам пришлось бы считать большинство бизнесменов более способными, чем ведущие университетские профессора. Мы принимаем число пациентов, вылеченных докто-

ром, в качестве индикатора его способностей; но мы знаем, что у хорошего хирурга больше вероятности потерять пациента, чем у дерматолога. Мы принимаем количество книг в публичной библиотеке за индикатор культурного уровня населения, но мы знаем, что качество книг имеет такое же значение, как и количество.

(г) *Построение индексов.* Четвертый шаг состоит в том, чтобы снова “Шалтая-Болтая собрать”. После того как эффективность коллектива или интеллектуальные способности мальчика были разделены на шесть измерений и для каждого измерения были выбраны десять индикаторов, нам надо снова соединить их вместе, так как мы не можем оперировать всеми этими измерениями и индикаторами по отдельности.

Для некоторых ситуаций нам надо сделать из них один общий индекс. Если у меня есть шесть студентов и только одна стипендия, мне нужно провести общий рейтинг всех шести. Для того чтобы это сделать, мне нужно каким-то образом свести всю информацию, которая у меня есть о каждом студенте, в один индекс. В другой раз нас должно больше интересовать, как каждое из нескольких измерений связано с внешними переменными. Но даже в этом случае мы должны найти способ комбинирования индикаторов, так как по природе индикаторы многочисленны, и их связи с внешними переменными обычно и слабее, и более неустойчивы, чем базовая характеристика, которую мы хотели бы измерить.

Выражаясь более формальным языком, каждый отдельный индикатор имеет только вероятностное отношение к тому, что мы действительно хотим узнать. Человек может сохранять свою базовую позицию, но случайно изменяться по отдельным индикаторам или изменять свою базовую позицию, но случайно оставаться стабильным по какому-то конкретному индикатору. Но если у нас много таких индикаторов в индексе, крайне маловероятно, что большое число их изменится в одном направлении случайно, когда человек, которого мы изучаем, фактически не изменил свою базовую позицию.

Иначе говоря, нам необходимо провести очень большое исследование, чтобы узнать, что человек действительно может или какое положение он действительно занимает. Однако это создает огромные трудности в четвертом шаге последовательности измерения, которую мы описали выше. Если у нас много индикаторов и не все они движутся в одном и том же направлении, как нам свести их в один индекс? Только недавно мы поставили вопрос: можем ли мы разработать теорию для того, чтобы свести все разнообразие индикаторов вместе? Это очень обширная тема, и здесь невозможно вдаваться в детали. Цель всегда состоит в том, чтобы изучить, как эти индикаторы взаимосвязаны, и вывести из этих взаимосвязей некоторые общие математические представления о том, что можно было бы назвать силой одного индикатора по сравнению с другим в конкретном измерении, которое мы хотим произвести. При формировании индексов широких социальных

или психологических понятий мы обычно выбираем относительно небольшое число показателей из большого числа возможных, предполагаемых этим понятием и сопутствующими образами. Луис Гуттман говорит соответственно о множестве возможных индикаторов и об их выборке, которая в действительности используется¹.

Некоторые нерешенные проблемы отношений между понятиями и индексами

Каковы же некоторые проблемы, связанные с этим переходом от понятий к формированию индексов? Начать с того, что не просто произвести точное различие между классификационными и другими типами понятий. Определение понятия “роли” или “системы соотнесения” [frame of reference], вероятно, не может быть отнесено к только что предложенной экспликации. Эти понятия носят более абстрактный характер, препятствующий включению в эмпирическое утверждение. Тем не менее некоторая экспликация необходима и возможна.

До недавнего времени, например, ролевое поведение определялось как ожидания общества относительно людей, занимающих определенные социальные позиции. Но когда дело дошло до эмпирического изучения того, какого рода ожидания имеются в “обществе” относительно, скажем, роли школьного директора, оказалось, что нужно различать участников того, что называется “набор ролей”². У члена школьного совета ожидания относительно директора будут другими, чем у учителей³. Не только исполнитель роли, в данном случае школьный директор, вынужден находить компромисс между этими различными ожиданиями, но и другие участники ролевого набора должны определить свое отношение друг к другу.

Система соотнесения обычно определялась как тот социальный и биографический опыт, который влияет на то, как человек воспринимает или оценивает конкретную ситуацию. Когда проводились эмпирические исследования систем соотнесения, оказалось, что это понятие включает два совершенно различных значения. Иногда оно обозначало то, что отдельный объект воспринимался по-разному в соответствии с тем, какие сравнения производились имплицитно: одна и та же сумма денег может быть большой для бедного человека и маленькой для богатого. Это представление о точке

¹ Guttman L. The Problem of Attitude and Opinion Measurement // Measurement and Prediction / Stouffer S. et al. Princeton: Princeton University Press, 1950. Ch. 2.

² Merton R.K. The Role-Set: Problems in Sociological Theory // British Journal of Sociology. 1951. Vol. 8. P. 106—120.

³ Explorations in Role Analysis / Gross N. et al. N.Y.: Wiley, 1958.

отсчета по одному измерению. Но в других контекстах система соотнесения означает выбор одного измерения среди нескольких. Лес — многомерный объект, который характеризуют различные цвета и животные, живущие в нем. Но художник использует только одно, а охотник другое измерение.

Однако эти примеры довольно случайны. Отношение неклассификационных понятий к эмпирическим данным отнюдь не ясно. Фактически сама проблема формулируется не просто, как мы увидим, когда позже подойдем к разговору о понятии структуры.

Следующая трудность наступает во второй фазе, когда мы точно определяем измерения понятия. Когда мы хотим иметь дело с довольно сложным понятием как целым и когда мы хотим делить его на отдельные варианты? Дюркгеймовское понятие сплоченности [cohesion], к примеру, содержит по крайней мере два измерения. Одно из них относится к частоте и близости контакта между людьми, а другое — к согласованности их ценностей. Мы либо можем смотреть на контакты и интеграцию ценностей как на два набора индикаторов для одного и того же понятия, либо можем предположить, что нужно различать два разных понятия, скажем, социальная сплоченность и ценностная сплоченность. И вновь можно отметить, что не разрабатывались общие идеи, которыми можно было бы руководствоваться в этом вопросе или с помощью которых эксплицировать последствия того или иного выбора.

Та же проблема проявляется обратным образом, когда дело доходит до перечисления индикаторов. Есть известное американское исследование, которое показывает, что люди с авторитарной личностью с большей вероятностью дискриминируют национальные меньшинства, такие, как евреи и негры. Индикаторы авторитарной личности очень разнообразны: недоверие, неспособность переносить неопределенность, склонность к предрассудкам и т.д. Тем не менее может возникнуть вопрос: возможно, дискриминация национальных меньшинств не является частью совокупности индикаторов, которыми операционально представлено понятие авторитарной личности. Выражаясь более общими словами: сложно определить, что должно быть индикатором, а что коррелятом понятия. Возможно, только с течением времени можно будет узнать, насколько широкими или узкими должны быть понятия.

Природа самих индикаторов требует дальнейшего разъяснения. Сравним два следующих случая: в одном мы хотим знать, действительно ли много путешествовавший бизнесмен имеет более либеральные экономические взгляды, чем тот, кто никогда не выезжал из дома. Как мы охарактеризуем много путешествовавшего бизнесмена? С помощью количества совершенных им поездок, количества стран, которые он посетил? В соответствии с современной практикой мы, вероятно, соединим все эти индикаторы в один индекс. В другом случае возьмем один из проективных тестов, с помощью которого измеряется тревожность. Мы показываем испытуемому неопределенную картинку движущегося человека, которую можно интерпретировать

либо как человека в полете, либо как делающего зарядку. На практике будет, конечно, несколько таких неструктурированных картинок. Людей можно классифицировать по тому, как часто они интерпретируют ситуацию как опасную или стрессовую.

Эта пара примеров дает возможность провести некоторые различия между наборами индикаторов. Интерпретация ответов на проективные тесты предполагает, например, гораздо больше психологических допущений, чем при разработке индекса “частоты путешествий” [wide-travelledness]. Индикаторы “частоты путешествий” непосредственно связаны со своим понятием, в то время как проективные методики являются косвенными и зависят в своей интерпретации от большого объема ранее существовавших знаний. В физических науках с их хорошо разработанной теорией косвенные методы, конечно, наиболее распространены — например, использование световых спектрограмм для измерения температуры или скорости. Другое различие может состоять в том, что понятие “частоты путешествий” имеет условный характер — его индикаторы собраны вместе, потому что исследователь думает, что это опыты, которые могут иметь сходное влияние на критериальную переменную — политические установки. Не предполагается, что различные индикаторы встречаются вместе в реальном мире или отражают базовую черту личности. Понятие тревожности, с другой стороны, это реальное качество. Оно не столько создается, сколько обнаруживается исследователем и может рассматриваться как представляющее некоторую базовую черту личности. У исследователя в более или менее явном виде есть теория, связывающая индикаторы с этой чертой. Все это только предположения. Пока что у нас нет хорошей классификации основных видов индикаторов. Вероятно, будет необходима целая теория знаков, прежде чем в этой области будет наведен порядок.

Пока что мы можем прибегнуть к правилу большого пальца, которое было названо взаимозаменяемостью индексов. Если у нас есть множество приемлемых индикаторов какого-то понятия, кажется, неважно, какой набор мы выберем для формирования конечного индекса. В исследовании социальных ученых, упомянутом выше, мы обнаружили, что более знаменитые профессора были более прогрессивны в политическом отношении¹. Мы измеряли знаменитость различными способами, например, в одном случае использовали в качестве индикаторов публикации человека, а в другом — награды, которые были ему вручены. В то время как два индекса не коррелировали значимо друг с другом, они были взаимозаменяемы в том смысле, что они показывали одинаковую корреляцию с индексом прогрессивности. В то же время мы смогли показать, что прогрессивность сама по себе могла быть измерена многими способами, и при этом не затрагивались основные

¹ Lazarsfeld P.F., Thielens W. *The Academic Mind*. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1958.

эмпирические предположения. Но даже здесь скрывается проблема. Что это за множество приемлемых индикаторов? Очевидно, мы могли включить и неприемлемые, которые могли нарушить правило взаимозаменяемости. Не ясно, сможем ли мы ответить на этот вопрос, не обращаясь к здравому смыслу исследователя.

Вероятно, наилучшим образом обстоит дело с четвертым шагом — комбинацией индикаторов в один общий инструмент — индекс или шкалу. Для таких процедур имеются вполне явные математические модели, но здесь нет места для дальнейшего обсуждения этого вопроса.

Можно спросить, как нам помогает начальный анализ перехода от понятия к индексу, когда каждый шаг представляет собой еще нерешенные проблемы? Ответ, я думаю, состоит из двух частей. Сами проблемы не могли быть точно сформулированы без начального анализа. И, кроме того, экспликация, даже если она не полная, уберет нас от неопределенной, расплывчатой и саркастической дискуссии о возможности измерения в социальных науках. Сравнение естественных и социальных наук вряд ли целесообразно, но тот, кто вынужден заниматься этим, также обнаружит, что точный анализ того, что мы делаем в социальных науках, определит моменты сходства и различия между различными областями.

Измерение коллективных свойств

Предшествующий анализ измерения применяется к характеристикам как индивидов, так и коллективов. Верно, что до недавнего времени большинство исследований касалось свойств индивидов. Но в последние годы все больше попыток предпринимается для описания с помощью количественных измерений коллективов — малых групп, больших организаций, сообществ и т.д. Мы назовем такие варианты “коллективными свойствами” просто, чтобы избежать неуклюжего термина “свойства коллективов”. Примеры привести нетрудно. Социологи образования измеряли качество школ, используя в качестве индикаторов перечень действий, которые считаются желательными; другие разрабатывали качественные индексы, комбинируя уровень подготовки учителей, размер школьной библиотеки, бюджетные средства в расчете на каждого учащегося и т.д. Некоторые промышленные социологи классифицировали заводы по уровню влияния, которое имеют профсоюзы в их управлении. Процедура состояла в том, чтобы составить перечень сфер принятия решений, в которых профсоюзы могли бы или не могли бы участвовать: установление зарплат, разрешение конфликтов, техника безопасности, продвижение по работе и т.д. Другие разрабатывали классификацию моделей контроля. Создавался список типов решений, которые принимал мастер в течение рабочего дня. Они оценивались как ориентированные более либо на потребности рабочих, либо на техническую производительность за-

вода. Отдельные пункты комбинировались в индекс, который соответствовал широкой характеристике контроля, с “ориентацией на рабочего”, с одной стороны, и “ориентацией на производительность” — с другой.

Неудивительно, что наиболее часто попытки измерения коллективных свойств предпринимаются относительно организаций, где существует много сравнимых единиц и можно относительно легко собрать данные. Но быстро развивается тенденция измерять коллективные свойства таких разнообразных организаций, как церковные приходы, местные партийные организации и жилищные сообщества. Так как на этот относительно дорогой тип работы начинают выделять все больше средств, можно рассчитывать на дальнейшее накопление опыта в такого рода измерении. Значение этих разработок для социологического анализа очень велико и приводит ко второму примеру методологии, который я хочу представить.

Контекстуальные утверждения

В нашей теоретической литературе в целом можно обнаружить желание выявить специфическую природу социологического мышления. Это проявляется различными способами. Дюркгейм настаивал на особой природе социологических фактов. Современные критики микросоциологической работы жалуются на то, что она упускает специфически социологические признаки социальных институтов. Более философско-ориентированные коллеги всегда жаждут обсуждения и определения термина “структура”, который, кажется, символизирует сущность истинно социологических единиц анализа. Все эти усилия, несомненно, оправданы, но сомнительно, станут ли явными их достоинства, если обсуждение будет происходить на общем и только вербальном уровне. Я предложу одну возможную формулировку, которая очень конкретна и выведена из опыта эмпирических исследований. Я не претендую на то, что она решит все проблемы тех, кто борется на службе истинно социологического и структурного мышления. Но я утверждаю, что вычленение одного особого типа структурного мышления поможет всем, кого волнует, как лучше выразить свою собственную проблему, даже если это произойдет только в результате явного противопоставления той парадигме, которую я предлагаю.

Позвольте мне дать следующее определение контекстуального утверждения.

(а) Оно содержит, по крайней мере, три варианта.

(б) По крайней мере, один из них является коллективным свойством, т.е. характеристикой индивидов по типам коллективов, к которым они принадлежат.

(в) Взаимосвязь между двумя вариантами сама оказывается под влиянием коллективного свойства.

Для того чтобы не быть слишком абстрактным, я сначала приведу конкретный пример. Ранее в тексте я упоминал недавнее исследование американских социальных ученых. Изучались профессора, преподававшие в 165 колледжах¹. Колледжи классифицировались по тому, насколько прогрессивны в среднем были в них социальные ученые. (Здесь нет необходимости входить в детали этого измерения.) Таким образом, мы имели дело с коллективным свойством: колледжи были разделены на консервативные, прогрессивные и промежуточные. Мы, конечно, оценивали также степень прогрессивности каждого преподавателя по шестибальной шкале.

Уже давно известно, что в американском населении в целом пожилые люди более консервативны, чем молодые. Но интерпретация этого общего вывода была не ясна. Это могло бы означать, что в процессе старения утрачивается жизненная энергия, и это ведет к снижению стремления к социальному изменению; или это может быть чисто социальным явлением: жизнь, в основном, в консервативном обществе с необходимостью приводит к росту конформизма. Возможно, в коммунистическом обществе люди становятся с возрастом более прокоммунистически настроенными, т.е. более ортодоксальными в отношении коммунистического режима.

Наши данные позволили провести предварительную проверку этих интерпретаций в том отношении, что мы знаем, в каком непосредственном социальном контексте провели свою жизнь профессора, которых мы изучали; мы знаем, прогрессивны или консервативны их коллеги по колледжу. Если возрастающий консерватизм пожилых людей является адаптацией к преобладающему национальному климату общественного мнения, тогда снижение прогрессивности с возрастом должно быть наименьшим в прогрессивных колледжах, где местный климат противоположен национальному, и наибольшим в консервативных колледжах, где оба вида климата общественного мнения совпадают. Следующая таблица показывает данные, которые мы получили.

**Средний уровень прогрессивности в зависимости от возраста
в трех группах колледжей**

“Климат” в колледже	Возраст профессоров		
	до 40 лет	41—50 лет	50 лет и старше
Прогрессивный	3,13	2,98	2,76
Средний	2,81	2,49	2,13
Консервативный	1,90	1,54	1,46

¹ Lazarsfeld P.F., Thielens W. The Academic Mind.

Сравнивая две первые колонки, мы обнаруживаем, что снижение в прогрессивных колледжах составляет 15 пунктов по нашей измерительной шкале; в средних колледжах — 32 пункта и в консервативных — 36 пунктов. Таким образом, действительно, снижение прогрессивности заметно меньше в либеральных колледжах и является наибольшим в консервативных. Сравнивая вторую и третью колонки, мы видим, что тенденция продолжается и после 50 лет, за кажущимся исключением в наиболее консервативных колледжах. Однако это, возможно, объясняется тем фактом, что наша шкала не дает достаточно низкого ранга, позволяющего полностью измерить консерватизм в очень консервативных учреждениях. Но здесь именно мы обнаруживаем, что корреляция между возрастом и прогрессивностью зависит от контекста, в котором работают эти преподаватели.

Литература последнего времени дает нам все большее число примеров таких контекстуальных утверждений. Особенно выдающимся является исследование моего коллеги Липсета, который сравнивал установки работников типографии в 80 различных предприятиях¹. Коллективным свойством, которое появляется в его утверждениях, является размер предприятия. Чем больше предприятие, например, тем более активными и лучше информированными о работе профсоюзов являются работники типографии. Но влияние размера предприятия более заметно на председателях местных профсоюзных ячеек, чем на рядовых рабочих. Рост профсоюзной активности в зависимости от размера предприятия также более заметен у рабочих, чьи первичные дружеские группы состоят в основном из коллег, чем у тех, чьи социальные отношения не связаны с местом работы. В своем неопубликованном исследовании Г. Зейсель [H. Zeisel] обнаружил, что чем выше средний уровень благосостояния в округе, тем больше вознаграждение, которое присуждает суд присяжных в несчастных случаях; но внутри округов более богатые присяжные голосуют за меньшее вознаграждение, чем более бедные, возможно, потому, что первые идентифицируют себя больше со страховыми компаниями, в то время как более бедные идентифицируют себя с пострадавшей стороной. Интерпретация указывает на взаимосвязь между коллективными нормами и индивидуальной системой соотнесения. К тому же классу результатов относится известный вывод Стауффера, что в военных подразделениях боевой дух выше у тех солдат, которые продвигались по службе. Но если делать сравнения между подразделениями, боевой дух понижается с общим числом продвижений, вероятно, потому, что неподвигавшиеся солдаты чувствуют себя особенно обделенными, когда общие ожидания не оправдываются для них лично².

¹ Lipset S., Trow M., Coleman J. Union Democracy. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1956.

² The American Soldier / Stouffer S. et al. Princeton: Princeton University Press, 1949. Vol. I. P. 250—258.

Мне кажется, что такие эмпирические данные подходят очень близко к пониманию того, что имеют в виду социальные теоретики, когда утверждают, что они учитывают ситуацию в целом или подчеркивают важность структур в противопоставление атомистическому подходу эмпирических исследований. Сущность контекстуального утверждения заключается в том, что оно действует одновременно на двух уровнях. Оно связывает индивидуальные свойства и в то же время учитывает характеристики коллектива более высокого уровня, в которых находятся индивиды. Конечно, не всегда возможно спланировать исследование, где бы участвовало достаточное количество коллективов для того, чтобы создать вариаты на обоих уровнях — индивидуальном и коллективном. Иногда мы можем сравнивать только две ситуации, которые должны уметь выбрать, чтобы они представляли крайние случаи контекстуальной ситуации. Иногда, когда мы не можем провести исследование за пределами одного контекста, мы должны удовлетвориться воображаемой интерпретацией его возможной роли. Многие из вас, я уверен, знают об экспериментах профессора Соломона Аша, показывающих, что студенты готовы неправильно называть длину физических объектов, если достаточное количество людей в их окружении настаивают, что факты противоречат восприятию испытуемых, участвовавших в эксперименте¹. Утверждали, что это не является всеобщим психологическим феноменом, но характерно для американских студентов, которые выросли в конформистской культуре. Это контекстуальное возражение может быть оправдано, но верно оно или нет, необходимо решить с помощью повторения экспериментов Аша в другой культуре.

С вычленения понятия контекстуального утверждения работа методолога только началась. Теперь будет необходимо обратиться к трудам более теоретического или философского характера и изучать строчку за строчкой утверждения этих авторов. Какие из них могут быть воспроизведены предложенной здесь формулой? В случаях, когда это невозможно, будет необходимо искать дальнейшие разъяснения. Может быть, например, что не все характеристики коллектива должны считаться структурными свойствами. Они могли бы рассматривать в качестве структурных свойств степень иерархии социальных отношений в колледже или типографии, а не размер этих коллективов или распределение установок (климат общественного мнения) внутри них. Цель моего примера — не утверждать, что он вносит полную ясность в запутанную дискуссию, но что он показывает способ, с помощью которого можно добиться большей ясности.

Перспективы

Позвольте мне закончить несколькими короткими ссылками на другие методологические разработки. Некоторые из них, вероятно, появятся в специальных сессиях этого раздела нашего конгресса. Если же нет, я, по край-

¹ Asch S. *Social Psychology*. N.Y.: Prentice-Hall, 1952.

ней мере, дам некоторые библиографические указания тем участникам, которые заинтересованы в более детальном изучении моей темы. Я обхожу роль математических моделей, потому что немногие социологи сегодня имеют подготовку для их использования и оценки. Но есть очень простые формальные приемы, которые вряд ли заслуживают названия математики, но которые доказали свою полезность. Один из них — использование простых комбинаций черт для проверки и разработки описательных типологий¹. Другой — представление данных в матричной форме. Без использования матричной алгебры, только понимая значение строк и столбцов и средних по ним, можно прояснить большое число социологических понятий, например, связанных с социальной мобильностью или отношениями между индивидами в группе². Понятие вероятностей перехода также очень простое. Если они применяются к повторяющимся наблюдениям, например, установок или социального поведения, они играют для дискуссии о социальных процессах ту же роль, какую понятие контекстуальных утверждений играет для понятия структур³.

Другая сфера, в которой была достигнута значительная ясность недавними дискуссиями, — это целый комплекс каузальных анализов. Как мы можем отличить ложную корреляцию и ту, что соответствует каузальной последовательности? Достаточно простые техники классификации людей одновременно по нескольким переменным могут помочь освещению отношений между ними⁴. Каково соотношение между объяснением единичного случая и применением статистической закономерности?⁵ Если кто-то хочет испытать ощущение прогресса в знании в результате тщательной экспликации процедуры социального исследования, он может обратиться к недавней дискуссии между двумя философами истории, Дреем и Гардинером⁶. Два философа расходятся во мнениях по многим вопросам, но они оба согласны, что намерения не подвергаются эмпирическому исследованию. Ни один из них не слышал о тщательных эмпирических исследованиях, проведенных для выявления факторов, связанных с осуществлением или неис осуществлением различных намерений, например, намерения голосовать, рабо-

¹ Barton A.H. The Concept of Property Space in Social Research // The Language of Social Research. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1955. P. 40—53.

² Festinger L., Schachter S., Back K. Matrix Analysis of Group Structures // The Language of Social Research. P. 358—367.

³ Lazarsfeld P.F., Merton R.K. Friendship as Social Process: A Substantive and Methodological Analysis // Freedom and Control in Modern Society / Ed. by M. Berger, T. Abel, C.H. Page. N.Y.: Van Nostrand, 1954.

⁴ Lazarsfeld P.F. The Interpretation of Statistical Relations as a Research Operation // The Language of Social Research. P. 115—124.

⁵ Zeisel H. Say It with Figures. 4th ed. revised. N.Y.: Harper, 1957. Ch. VI, VII.

⁶ Dray W. Laws and Explanations in History. L.: Oxford University Press, 1957; Gardiner P. The Nature of Historical Explanation. L.: Oxford University Press, 1952.

тать в определенных профессиях, делать капиталовложения¹. Это несколько напоминает гегелевское доказательство существования семи планет незадолго перед открытием восьмой.

Я только упомянул исследования, которые предсказывают поведение людей исходя из их намерений. Это не будет иметь смысла, если мы хотим предсказать успешность брака или профессии. Здесь каждый хочет преуспеть, и поэтому шансы на успех должны быть выведены из длительности помолвки в первом случае или вида обучения во втором. Логика этих различных исследований предсказания была значительно прояснена с помощью недавнего методологического анализа². Сложнее сравнивать статистические предсказания с индивидуальными предсказаниями клинических психологов или консультантов по выбору профессии. Пол Меель собрал имеющиеся данные, которые не дают явного преимущества ни одной из двух процедур³. Его монография также ставит вопрос о том, действительно ли индивидуальное предсказание использует скрытое статистическое знание или применяет качественные процедуры. Вопрос по-прежнему спорный, как и вообще роль качественных методов в эмпирическом исследовании. Доктор Бартон и я сделали обзор большого количества качественных исследований и пришли к выводу, что это сфера, где экспликации особенно недостает и где она особенно необходима⁴.

Я говорил выше, что, по моему мнению, еще не существует никакой социальной теории в строгом смысле слова. И все же делаются попытки теоретизирования, и они заслуживают и требуют экспликации. Мой коллега Роберт Мертон осуществил тщательный анализ работы, сделанной представителями функционального анализа⁵. Его очерк был переведен на французский и поэтому я полагаю, что он известен многим европейцам. Может быть, неизвестно, что американский философ Эрнест Нагель продвинул достижения Мертона на шаг дальше⁶. Он перевел формулировку Мертона на математический язык и поэтому смог показать ее сходство с анализом систем, осуществляемым биологами. Другой аспект формирования теории изучался Гансом Зеттербергом⁷. Он взял выводы четырнадцати эмпирических исследований малых

¹ Clausen J.A. The Prediction of Soldiers' Return to Pre-War Employment // *The Language of Social Research*. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1955. P. 260—267.

² The Prediction of Personal Adjustment / Horst P. et al. N. Y.: Social Science Research Council, 1941.

³ Meehl P.E. *Clinical vs. Statistical Prediction*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1954.

⁴ Barton A., Lazarsfeld P.F. Some Functions of Qualitative Analysis in Social Research // *Frankfurter Beiträge zur Sociologie*. 1955. Vol. I. Sociologica. P. 321—351.

⁵ Merton R.K. *Elements de Methode Sociologique*.

⁶ Nagel E. *A Formalization of Functionalism // Logic without Metaphysics*. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1956.

⁷ Zetterberg H. *On Axiomatic Theories in Sociology // The Language of Social Research*. P. 533—539.

групп и показал, что они могли быть сделаны всего лишь из четырех. Он подчеркивает тот факт, что различные комбинации из четырех выводов могут сформировать аксиоматическую базу для всех остальных.

Очень может быть, что некоторые из этих кратких ссылок звучат более интересно, чем два примера, на которых я останавливался более детально. Обсуждение этого доклада должно обеспечить возможность для дальнейшей разработки этих идей. На чем бы ни делался акцент, я не должен скрывать от наших европейских коллег, что в США у моего подхода в целом есть оппоненты. Достаточно большое число моих американских коллег считают, что озабоченность методологией не соответствует способности к предметным исследованиям. Конечно, никто не знает ответа, но я пытаюсь защититься, обращаясь к старому афоризму, согласно которому поэзия — это эмоция, воссоздаваемая в спокойном состоянии. Я считаю, что методология — это творческая работа, воссоздаваемая в том же настроении. Я не вижу никаких причин, почему нельзя перемещаться туда и обратно между творческой предметной работой и размышлениями о процедурах, которыми она руководствуется.

Другое возражение касается тщетности методологических усилий: говорят, что социальные ученые либо наделены способностями, либо нет, и что нельзя научить творчеству. Здесь я обычно провожу параллель из мира спорта. Иногда трудно понять, как это получается, что спортивные рекорды, например, установленные на Олимпийских играх, постоянно улучшаются — бегуны бегут быстрее, прыгуны с шестом покоряют все большую высоту и т.д. Маловероятно, что за последние пятьдесят лет способности *homo athleticus* улучшились в дарвиновском смысле. Но методы обучения, стили бега, атлетическое снаряжение постоянно совершенствовались. Великими атлетическими звездами рождаются; но хорошие тренеры могут так повысить средний уровень техники, что когда появляются звезды, они начинают с более высокого уровня, чем звезды предыдущего поколения. Поэтому они способны добиться более высокого уровня достижений, даже если их индивидуальные способности не больше, чем у их предшественников. В этом же смысле методология, самоосознание области исследования обеспечивает более хорошие стартовые возможности для творческого ученого.

Однажды я использовал параллель, которой я мог бы закончить этот доклад. Существует хорошо известная история о многоножке, которая потеряла способность ходить, когда ее спросили, в каком порядке она передвигает ноги. Но другие подробности этой истории скрыты заговором молчания. Прежде всего, нет никакого упоминания того факта, что вопрос исходил от методолога, который хотел улучшить эффективность ходьбы в сообществе многоножек. Затем, мало внимания уделяется другим многоножкам, которые участвовали в исследовании. Не все они реагировали с такими катастрофическими последствиями. Некоторые были способны дать более разумные ответы; и с ними исследователь усердно работал, чтобы вывести общие принципы поведения при ходьбе.

Когда методолог, наконец, опубликовал свои данные, стали раздаваться громкие крики, что он только сообщил факты, которые все уже знали. Тем не менее, сформулировав четко свои знания и добавив по некоторым пунктам ранее не замечаемые факты, он в конечном счете дал возможность средней многоножке в сообществе ходить лучше. Приблизительно через поколение эти знания уже вошли в учебники и дошли до учащихся на самых низких ступенях обучения. В ретроспективе это было выдающимся результатом. Конечно, для великого балетного танцора среди многоножек или других художников творческой ходьбы по-прежнему необходимы были наследственные способности, и их не могла произвести школьная система. Но средний уровень ходьбы, характеризующий многоножку с улицы, улучшился. И благодаря этому те несколько индивидов, что были одарены огромными личными способностями, начали с более высокого уровня и достигли творческих высот, не имеющих себе равных в прошлом.

П. Фейерабенд

Допустимо все

Это доказывается и анализом конкретных, исторических событий, и абстрактным анализом отношения между идеей и действием: единственным принципом, не препятствующим прогрессу, является принцип *допустимо все* (*anything goes*).

Идея метода, содержащего жесткие, неизменные и абсолютно обязательные принципы научной деятельности, сталкивается со значительными трудностями при сопоставлении с результатами исторического исследования. При этом выясняется, что не существует правила — сколь бы правдоподобным и эпистемологически обоснованным оно ни казалось, — которое в то или иное время не было бы нарушено. Становится очевидным, что такие нарушения не случайны и не являются результатом недостаточного знания или невнимательности, которых можно было бы избежать. Напротив, мы видим, что они необходимы для прогресса науки. Действительно, одним из наиболее замечательных достижений недавних дискуссий в области истории и философии науки является осознание того факта, что такие события и достижения, как изобретение атомизма в античности, коперниканская революция, развитие современного атомизма (кинетическая теория, теория дисперсии, стереохимия, квантовая теория), постепенное построение волновой теории света, оказались возможными лишь потому, что некоторые

Источник: Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки / Пер. с нем. А.Л. Никифорова. М.: Прогресс, 1986. С. 153—159.

мыслители либо сознательно решили разорвать пути “очевидных” методологических правил, либо произвольно нарушали их. Еще раз повторяю: такая либеральная практика есть не просто *факт* истории науки — она и разумна, и *абсолютно необходима* для развития знания. Для любого данного правила, сколь бы “фундаментальным” или “необходимым” для науки оно ни было, всегда найдутся обстоятельства, при которых целесообразно не только игнорировать это правило, но даже действовать вопреки ему. Например, существуют обстоятельства, при которых вполне допустимо вводить, разрабатывать и защищать гипотезы *ad hoc*, гипотезы, противоречащие хорошо обоснованным и общепризнанным экспериментальным результатам, или же такие гипотезы, содержание которых меньше, чем содержание уже существующих и эмпирически адекватных альтернатив, или просто противоречивые гипотезы и т. п.

Существуют даже обстоятельства — и встречаются они довольно часто, — при которых *аргументация* лишается предсказательной силы и становится препятствием на пути прогресса. Никто не станет утверждать, что обучение *маленьких детей* сводится исключительно к рассуждениям (хотя рассуждение должно входить в процесс обучения, и даже в большей степени, чем это обычно имеет место), и сейчас почти каждый согласен с тем, что те факторы, которые представляются результатом рассудочной работы — овладение языком, наличие богатого перцептивного мира, логические способности, — частично обусловлены обучением, а частично — процессом *роста*, который осуществляется с силой естественного закона. В тех же случаях, где рассуждения представляются эффективными, их эффективность чаще всего обусловлена *физическим повторением*, а не *семантическим содержанием*.

Согласившись с этим, мы должны допустить возможность нерассудочного развития и у *взрослых*, а также в теоретических построениях таких *социальных институтов*, как наука, религия, проституция и т.п. Весьма сомнительно, чтобы то, что возможно для маленького ребенка — овладение новыми моделями поведения при малейшем побуждении, их смена без заметного усилия, — было недоступно его родителям. Напротив, катастрофические изменения нашего физического окружения, такие, как войны, разрушения систем моральных ценностей, политические революции, изменяют схемы реакций также и взрослых людей, включая важнейшие схемы рассуждений. Такие изменения опять-таки могут быть совершенно естественными, и единственная функция рационального рассуждения в этих случаях может заключаться лишь в том, что оно повышает то умственное напряжение, которое предшествует изменению поведения и *вызывает* его.

Если же существуют факторы — не только рассуждения, — *заставляющие* нас принимать новые стандарты, включая новые и более сложные формы рассуждения, то не должны ли в таком случае сторонники *status quo* представить противоположные *причины*, а не просто контраргументы? (“Добродетель без террора бессильна”, — говорил Робеспьер.) И если старые формы

рассуждения оказываются слишком слабой причиной, то не обязаны ли их сторонники уступить либо прибегнуть к более сильным и более “иррациональным” средствам? (Весьма трудно, если не невозможно, преодолеть с помощью рассуждения тактику “промывания мозгов”.) В этом случае даже наиболее рафинированный рационалист будет вынужден отказаться от рассуждений и использовать *пропаганду* и *принуждение* и не вследствие того, что его *доводы* потеряли значение, а просто потому, что исчезли *психологические условия*, которые делали их эффективными и способными оказывать влияние на других. А какой смысл использовать аргументы, оставляющие людей равнодушными?

Разумеется, проблема никогда не стоит именно в такой форме. Обучение стандартам и их защита никогда не сводятся лишь к тому, чтобы сформулировать их перед обучаемым и сделать по мере возможности *ясными*. По предположению, стандарты должны обладать максимальной *каузальной силой*, что весьма затрудняет установление различия между *логической силой* и *материальным воздействием* некоторого аргумента. Точно так же, как хорошо воспитанный ученик будет повиноваться своему воспитателю независимо от того, насколько велико при этом его смятение и насколько необходимо усвоение новых образцов поведения, так и хорошо воспитанный рационалист будет повиноваться мыслительным схемам *своего* учителя, подчиняться стандартам рассуждения, которым его обучили, придерживаться их независимо от того, насколько велика путаница, в которую он погружается. При этом он совершенно не способен понять, что то, что ему представляется “голосом разума”, на самом деле есть лишь *каузальное следствие* полученного им воспитания и что апелляция к разуму, с которой он так легко соглашается, есть не что иное, как политический маневр.

Тот факт, что заинтересованность, насилие, пропаганда и тактика “промывания мозгов” играют в развитии нашего знания и науки гораздо большую роль, чем принято считать, явствует также из анализа *отношений между идеями и действием*. Предполагается, что ясное и отчетливое понимание новых идей предшествует и должно предшествовать их формулировке и социальному выражению. (“Исследование начинается с проблем”, — говорит Поппер.) *Сначала* у нас есть идея или проблема, *а затем* мы действуем, т.е. говорим, созидаем или разрушаем. Однако маленькие дети, которые пользуются словами, комбинируют их, играют с ними, прежде чем усвоят их значение, первоначально выходящее за пределы их понимания, действуют совершенно иначе. Первоначальная игровая активность является существенной предпосылкой заключительного акта понимания. Причин, препятствующих функционированию этого механизма, у взрослых людей нет. Можно предположить, например, что *идея* свободы становится ясной только благодаря тем действиям, которые направлены на ее *достижение*. Создание некоторой *вещи* и полное понимание *правильной идеи* этой вещи *являются, как правило, частями единого процесса* и не могут быть отделены одна от другой

КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД: ЭМИЛЬ ДЮРКГЕЙМ И МАКС ВЕБЕР

Э. Дюркгейм

Социальные факты как вещи

Положение, согласно которому социальные факты должны рассматриваться как вещи, — положение, лежащее в самой основе нашего метода, — вызвало больше всего возражений. То, что мы уподобляем реальность социального мира реальностям мира внешнего, нашли парадоксальным и возмутительным. Это значит глубоко заблуждаться относительно смысла и значения данного уподобления, цель которого — не низвести высшие формы бытия до уровня низших форм, но, наоборот, востребовать для первых уровня реальности, по крайней мере равного тому, который все признают за вторыми. На самом деле мы не утверждаем, что социальные факты — это материальные вещи; это вещи того же ранга, что и материальные вещи, хотя и на свой лад.

Что такое в действительности вещь? Вещь противостоит идее, как то, что познается извне, тому, что познается изнутри. Вещь — это всякий объект познания, который сам по себе непроницаем для ума; это все, о чем мы не можем сформулировать себе адекватного понятия простым приемом мысленного анализа; это все, что ум может понять только при условии выхода за пределы самого себя, путем наблюдений и экспериментов, последовательно переходя от наиболее внешних и непосредственно доступных признаков к менее видимым и более глубоким. Рассматривать факты определенного порядка как вещи — не значит зачислять их в ту или иную категорию реальности; это значит занимать по отношению к ним определенную мыслительную позицию. Это значит приступать к их изучению исходя из принципа, что мы ничего не знаем о том, что они собой представляют, а их характерные свойства, как и неизвестные причины, от которых они зависят, не могут быть обнаружены даже самой внимательной интроспекцией.

Источник: Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр. А.Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. С. 8—20.

Если определить термины таким образом, то наше утверждение, отнюдь не будучи парадоксом, могло бы считаться почти трюизмом, если бы оно еще слишком часто не отвергалось в науках о человеке, особенно в социологии. Действительно, в этом смысле можно сказать, что всякий объект науки есть вещь, за исключением, может быть, математических объектов. Что касается последних, то, поскольку мы сами конструируем их, от самых простых до самых сложных, нам, чтобы знать их, достаточно посмотреть внутрь себя и внутри анализировать мыслительный процесс, из которого они протекают. Но если речь идет о фактах в собственном смысле, то, когда мы приступаем к их научному исследованию, они обязательно являются для нас неизвестными, неведомыми *вещами*, так как представления о них, возникшие в жизни, сформированные без методического и критического анализа, лишены научной ценности и должны быть устранены. Даже факты, относящиеся к индивидуальной психологии, отличаются этим признаком и должны рассматриваться под этим же углом зрения. Действительно, хотя они, по определению, и внутренние для нас, наше сознание не обнаруживает нам ни их внутреннюю сущность, ни генезис. Оно позволяет нам знать их, но только до определенной степени, так же, как ощущения дают нам знать о теплоте или свете, звуке или электричестве; оно дает нам о них смутные, мимолетные, субъективные впечатления, а не ясные, четкие, объясняющие понятия. Именно по этой причине в течение этого столетия сформировалась объективная психология, основное правило которой — исследовать факты сознания извне, т.е. как вещи. Тем более так должно быть с социальными фактами, так как сознание не может быть более компетентным в их познании, чем в познании своего собственного существования <...>

Могут возразить, что поскольку они — дело наших рук, то нам достаточно осознать самих себя, чтобы узнать, что мы в них вложили и как мы их сформировали. Но прежде всего, наибольшая часть социальных институтов передана нам в совершенно готовом виде предшествующими поколениями; мы не приняли никакого участия в их формировании, и, следовательно, обращаясь к себе, мы не сможем обнаружить породившие их причины. Кроме того, даже тогда, когда мы соучаствовали в их возникновении, мы едва сможем, смутно и чаще всего неточно, разглядеть подлинные причины, заставившие нас действовать, и природу наших действий. Даже тогда, когда речь идет просто о наших частных поступках, мы очень плохо представляем себе относительно простые мотивы, управляющие нами. Мы считаем себя бескорыстными, тогда как действуем как эгоисты; мы уверены, что подчиняемся ненависти, когда уступаем любви, разуму — когда являемся пленниками бессмысленных предрассудков и т.д. Как же сможем мы яснее различать значительно более сложные причины, от которых зависят поступки группы? Ведь участие каждого в ней составляет лишь ничтожную часть; существует масса других членов группы, и то, что происходит в их сознаниях, ускользает от нас.

Таким образом, наше правило не включает в себе никакой метафизической концепции, никакой спекуляции относительно основы бытия. Оно требует только одного: чтобы социолог погрузился в состояние духа, в котором находятся физики, химики, физиологи, когда они вступают в новую, еще не исследованную область своей науки. Нужно, чтобы, проникая в социальный мир, он осознал, что вступает в неизведанное. Нужно, чтобы он чувствовал, что находится в присутствии фактов, законы которых неизвестны так же, как неизвестны были законы жизни до создания биологии. Нужно, чтобы он был готов совершить открытия, которые его поразят, приведут в замешательство. Но социология далека от этой степени интеллектуальной зрелости. В то время как ученый, исследующий физическую природу, обладает весьма острым ощущением сопротивления, которое она оказывает ему и которое ему так трудно преодолеть, кажется, что социолог движется среди вещей, непосредственно данных и прозрачных для ума, настолько велика легкость, с которой, как мы видим, он готов решать самые запутанные вопросы. В современном состоянии научного знания мы даже не знаем доподлинно, что представляют собой основные социальные институты, такие, как государство или семья, право собственности или договор, наказание и ответственность. Мы почти совсем не знаем их причин, выполняемых ими функций, законов их эволюции; в некоторых вопросах мы едва начинаем видеть какие-то проблески. И однако достаточно бегло просмотреть труды по социологии, чтобы увидеть, насколько редко встречается ощущение этого неведения и отмеченных трудностей. Мало того, что считают как бы своей обязанностью поучать по всем проблемам одновременно, но думают, что можно на нескольких страницах или в нескольких фразах постигнуть самое сущность самых сложных явлений. Это значит, что подобные теории выражают не факты, которые не могут быть исчерпаны столь поспешно, но предвзятое понятие о фактах, которое существовало у автора до исследования. Конечно, идея, которую мы себе создаем о коллективных обычаях, о том, что они собою представляют или чем они должны быть, есть фактор их развития. Но сама данная идея — это факт, который также следует изучать извне, чтобы подобающим образом его определить. Ведь важно узнать не то, каким образом тот или иной мыслитель лично представляет себе такой-то институт, но понимание этого института группой; только такое понимание действительно. Но оно не может познаваться простым внутренним наблюдением, поскольку целиком оно не находится ни в ком из нас; нужно, стало быть, найти какие-то внешние признаки, которые делают его ощутимым. Кроме того, это понимание не родилось из ничего; само оно — следствие внешних причин, которые нужно знать, чтобы иметь возможность оценить его роль в будущем. Таким образом, что бы мы ни делали, нам постоянно необходимо обращаться к тому же методу.

<...>

Другое положение дебатировалось не менее оживленно, чем предыдущее; оно характеризует социальные явления как внешние по отношению к индивидам. С нами теперь охотно соглашались, что факты индивидуальной и коллективной жизни в какой-то степени разнородны. Можно даже сказать, что по этому вопросу формируется если не единодушное, то, по крайней мере, весьма широкое согласие. Уже почти нет социологов, которые бы отказывали социологии в какой бы то ни было специфике. Но поскольку общество состоит только из индивидов <...>, то с позиции здравого смысла кажется, что социальная жизнь не может иметь иного субстрата, кроме индивидуального сознания; иначе она кажется висящей в воздухе и плывущей в пустоте.

Однако то, что так легко считается невозможным, когда речь идет о социальных фактах, обычно допускается в отношении других природных сфер. Всякий раз, когда какие-либо элементы, комбинируясь, образуют фактом своей комбинации новые явления, нужно представлять себе, что эти явления располагаются уже не в элементах, а в целом, образованном их соединением.

Живая клетка не содержит в себе ничего, кроме минеральных частиц, подобно тому как общество ничего не содержит в себе вне индивидов. И тем не менее совершенно очевидно, что характерные явления жизни не заключаются в атомах водорода, кислорода, углерода и азота. И как жизненные движения могли бы возникнуть внутри неживых элементов? Как к тому же биологические свойства распределились бы между этими элементами? Они не могли бы обнаруживаться одинаково у всех, поскольку эти элементы различны по своей природе; углерод — не азот и, следовательно, не может ни обладать теми же свойствами, ни играть ту же роль. Так же трудно предположить, чтобы каждый аспект жизни, каждый из ее главных признаков был воплощен в отдельной группе атомов. Жизнь не может разлагаться таким образом; она едина и, следовательно, может иметь своим местонахождением только живую субстанцию в ее целостности. Она в целом, а не в частях. Отнюдь не неживые частицы клетки питаются, воспроизводятся — одним словом, живут; живет сама клетка, и только она. И то, что мы говорим о жизни, можно повторить о всех возможных синтезах. Твердость бронзы не заключена ни в меди, ни в олове, ни в свинце, послуживших ее образованию и являющихся мягкими и гибкими веществами; она в их смешении. Текучесть воды, ее пищевые и прочие свойства сосредоточены не в двух газах, из которых она состоит, но в сложной субстанции, образуемой их соединением.

Применим этот принцип к социологии. Если указанный синтез *sui generis*, образующий всякое общество, порождает новые явления, отличные от тех, что имеют место в отдельных сознаниях (и в этом с нами согласны), то нужно также допустить, что эти специфические факты заключаются в том самом обществе, которое их создает, а не в его частях, т.е. в его членах.

В этом смысле, следовательно, они являются внешними по отношению к индивидуальным сознаниям, рассматриваемым как таковые, точно так же, как отличительные признаки жизни являются внешними по отношению к минеральным веществам, составляющим живое существо. Невозможно растворять их в элементах, не противореча себе, поскольку, по определению, они предполагают нечто иное, чем то, что содержится в этих элементах. Таким образом, получает новое обоснование установленное нами далее разделение между психологией в собственном смысле, или наукой о мыслящем индивиде, и социологией. Социальные факты не только качественно отличаются от фактов психических; у них другой субстрат, они развиваются в другой среде и зависят от других условий. Это не значит, что они также не являются некоторым образом психическими фактами, поскольку все они состоят в каких-то способах мышления и действия. Но состояния коллективного сознания по сути своей отличаются от состояний сознания индивидуального; это представления другого рода. Мышление групп иное, нежели отдельных людей; у него свои собственные законы. Обе науки поэтому настолько явно различны, насколько могут различаться науки вообще, какие бы связи между ними ни существовали.

В этом вопросе, однако, уместно провести одно различие, которое, возможно, несколько проясняет суть спора. Для нас совершенно очевидно, что *материя* социальной жизни не может объясняться чисто психологическими факторами, т.е. состояниями индивидуального сознания. Действительно, коллективные представления выражают способ, которым группа осмысливает себя в своих отношениях с объектами, на нее влияющими. Но группа устроена иначе, чем индивид, и влияющие на нее объекты — иные по своей сути. Представления, которые не выражают ни тех же субъектов, ни те же объекты, не могут зависеть от тех же причин. Чтобы понять, каким образом общество представляет себе само себя и окружающий его мир, необходимо рассматривать сущность не отдельных индивидов, а общества. Символы, в которых оно осмысливает себя, меняются в зависимости от того, что оно собой представляет. Если, например, оно воспринимает себя как происшедшее от животного, чье имя оно носит, значит, оно образует одну из специфических групп, называемых кланом. Там же, где животное заменено человеческим, но также мифическим предком, клан изменил свою сущность. Если над местными или семейными божествами общество помещает другие божества, от которых считает себя зависимым, то это происходит потому, что местные и семейные группы, из которых оно состоит, стремятся к концентрации и объединению, и степень единства религиозного пантеона соответствует степени единства, достигнутого обществом в то же время. Если оно осуждает некоторые способы поведения, то потому, что они задевают какие-то его основные чувства, а эти чувства связаны с его устройством так же, как чувства индивида с его физическим темпераментом и умственным складом. Таким образом, даже тогда, когда у индивидуальной психологии

больше не будет от нас секретов, она не сможет предложить нам решение ни одной из отмеченных проблем, поскольку они относятся к категориям фактов, которые ей неизвестны.

Но как только эта разнородность признана, можно задаться вопросом: не сохраняют ли тем не менее индивидуальные представления и коллективные представления сходства благодаря тому, что и те, и другие в равной мере являются представлениями, и не существуют ли вследствие этих сходств некоторые абстрактные законы, общие для обоих миров? Мифы, народные предания, всякого рода религиозные воззрения, нравственные верования и т.п. выражают не индивидуальную реальность; но бывает, что способы, которыми они притягиваются или отталкиваются, соединяются или разъединяются, независимы от их содержания и обусловлены исключительно их общим свойством представлений. Будучи сделаны из разной материи, они будут в своих взаимоотношениях вести себя так же, как ощущения, образы или понятия у индивида. Нельзя ли, например, предположить, что логические сопряженность и сходство, противоречия и антагонизмы могут действовать одинаково, каковы бы ни были представляемые вещи? Мы приходим, таким образом, к пониманию возможности сугубо формальной психологии, которая была бы чем-то вроде общей территории для индивидуальной психологии и социологии. Возможно, именно из-за этого некоторые умы испытывают колебания перед необходимостью четкого различения этих двух наук. Строго говоря, при нынешнем состоянии наших познаний вопрос, поставленный таким образом, не может быть однозначно разрешен. Действительно, с одной стороны, все, что мы знаем о способах, которыми комбинируются индивидуальные понятия, сводится к нескольким весьма общим и расплывчатым положениям, обычно называемым законами ассоциации идей. А что касается законов коллективного образования понятий, то они тем более неизвестны. Социальная психология, задачей которой должно бы было быть установление этих законов, скорее является лишь словом, обозначающим всякого рода общие рассуждения, разноречивые, неточные и без определенного объекта. А нужно бы было посредством сравнения мифологических тем, народных преданий и традиций, языков исследовать, каким образом социальные представления нуждаются друг в друге или несовместимы друг с другом, смешиваются между собой или различаются и т.д. В общем, если проблема и заслуживает внимания исследователей, то едва ли можно сказать, что к ней прикасались; а пока не будут найдены какие-то из этих законов, очевидно, будет невозможно достоверно узнать, повторяют они законы индивидуальной психологии или нет.

Хотя и не достоверно, но, по крайней мере, вероятно существование не только сходств между этими двумя видами законов, но и не менее важных различий. В самом деле, невозможно предположить, чтобы содержание представлений не оказывало воздействия на способы их комбинаций. Правда, психологи говорят иногда о законах ассоциации идей так, как если бы они

были одинаковыми для всех видов индивидуальных представлений. Но нет ничего менее правдоподобного: образы сочетаются между собой не так, как ощущения, а понятия — не так, как образы. Если бы психология была более развита, она бы несомненно установила, что каждой категории психических состояний присущи свои особые законы. Если это так, то надо *a fortiori* предположить, что соответствующие законы социального мышления будут специфическими, как и само это мышление. Если в действительности хоть немного иметь дело с данной категорией фактов, трудно не ощутить эту специфику. Не благодаря ли ей, в самом деле, нам кажутся столь странными особые способы, которыми религиозные воззрения (являющиеся прежде всего коллективными) смешиваются или разделяются, превращаются друг в друга, образуя противоречивые соединения, контрастирующие с обычными результатами нашего индивидуального мышления? Если же, как можно предположить, некоторые законы социального мышления действительно напоминают те, которые устанавливают психологи, то это не потому, что первые — просто частный случай последних, но потому, что между теми и другими наряду с несомненно важными различиями имеются сходства, которые абстрактно можно выявить и которые, впрочем, пока неизвестны. Это значит, что в любом случае социология не сможет просто заимствовать у психологии то или иное положение, чтобы применить его в готовом виде к изучению социальных фактов. Коллективное мышление целиком, как его форма, так и содержание, должно изучаться само по себе, для самого себя, с ощущением того, что в нем есть специфического, и нужно оставить на будущее заботу о том, чтобы обнаружить, в какой мере оно подобно мышлению отдельных людей. В сущности, эта проблема относится скорее к общей философии и абстрактной логике, чем к научному исследованию социальных фактов <...>

Нам остается сказать несколько слов об определении социальных фактов, которое мы даем в первой главе. На наш взгляд, они состоят в способах действий или мышления, распознаваемых по тому свойству, что они способны оказывать на отдельные сознания принуждающее воздействие. По этому поводу возникла путаница, которую стоит отметить.

Привычка применять к социологическим предметам формы философского мышления настолько укоренилась, что в этом предварительном определении часто видели нечто вроде философии социального факта. Было сказано, что мы объясняем социальные явления принуждением, точно так же, как Тард объясняет их подражанием. У нас нет подобного стремления, и нам даже не приходило на ум, что можно будет нам его приписывать, настолько оно противоречит всякому методу. Мы предложили не предвосхищение философским взглядом выводов науки, а просто определение того, по каким внешним признакам можно узнавать подлежащие научному исследованию факты, чтобы ученый мог замечать их там, где они существуют, и не смешивал их с другими фактами. Речь шла о том, чтобы ограни-

читать поле исследования настолько, насколько возможно, а не пытаться охватить все чем-то вроде всеохватывающего предчувствия. Поэтому мы весьма охотно принимаем адресованный этому определению упрек, что оно выражает не все признаки социального факта и, следовательно, не является единственно возможным. Действительно, нет ничего немислимого в том, что он может характеризоваться самыми различными способами, так как нет никаких оснований для того, чтобы у него было лишь одно отличительное свойство <...>. Важно лишь выбрать то из них, которое наилучшим образом подходит поставленной цели. Весьма возможно даже использование нескольких критериев соответственно обстоятельствам. И мы признавали это иногда необходимым в социологии, так как встречаются случаи, когда принудительный характер факта нелегко обнаружить. Все, что требуется, поскольку речь идет о первоначальном определении, — это чтобы используемые характеристики были непосредственно различимы и могли быть замечены до исследования. Но именно этому условию не соответствуют определения, которые иногда противопоставлялись нашему. Утверждалось, например, что социальный факт — это “все, что производится в обществе и обществом”, или же “то, что интересует группу и влияет на нее каким-то образом”. Но является или нет обществом причиной факта, или же этот факт имеет социальные последствия, можно узнать только тогда, когда научное исследование уже продвинулось достаточно далеко. Подобные определения, стало быть, не могут служить определению объекта начинающегося исследования. Чтобы можно было ими воспользоваться, нужно было бы, чтобы исследование социальных фактов уже достаточно далеко продвинулось и, следовательно, чтобы было обнаружено какое-то другое предварительное средство их распознавания.

Одновременно с тем, что наше определение нашли слишком узким, было обнаружено, что оно слишком широкое и охватывает почти всю реальность. Утверждалось, в самом деле, что всякая физическая среда оказывает принуждение в отношении существ, испытывающих ее воздействие, так как они вынуждены в определенной мере к ней адаптироваться. Но эти два вида принуждения разделены между собой так же радикально, как среда физическая и среда нравственная. Давление, оказываемое одним или несколькими телами на другие тела или даже на воли, нельзя смешивать с давлением, оказываемым сознанием группы на сознания ее членов. Специфика социального принуждения состоит в том, что оно обусловлено не жесткостью определенных молекулярных устройств, а престижем, которым наделены некоторые представления. Правда, приобретенные или унаследованные привычки в некоторых отношениях обладают тем же свойством, что и физические факторы. Они господствуют над нами, навязывают нам верования или обычаи. Но они господствуют над нами изнутри, так как целиком заключены в каждом из нас. Социальные же верования и обычаи, наоборот, действуют на нас извне; поэтому влияние, оказываемое теми и другими, весьма различно.

Впрочем, не нужно удивляться тому, что другие явления природы в других формах содержат тот же признак, которым мы определили социальные явления. Это сходство происходит просто оттого, что и те, и другие представляют собой реальные явления. А все, что реально, обладает определенной природой, которая навязывается, с которой надо считаться и которая, даже тогда, когда удастся нейтрализовать ее, никогда не оказывается полностью побежденной. В сущности, это самое существенное в понятии социального принуждения. Все, что оно в себе заключает,— это то, что коллективные способы действия или мышления существуют реально вне индивидов, которые постоянно к ним приспособляются. Это вещи, обладающие своим собственным существованием. Индивид находит их совершенно готовыми и не может сделать так, чтобы их не было или чтобы они были иными, чем они являются. Он вынужден поэтому учитывать их существование, и ему трудно (мы не говорим: невозможно) изменить их, потому что в различной степени они связаны с материальным и моральным превосходством общества над его членами. Несомненно, индивид играет определенную роль в их возникновении. Но чтобы существовал социальный факт, нужно, чтобы, по крайней мере, несколько индивидов соединили свои действия и чтобы эта комбинация породила какой-то новый результат. А поскольку этот синтез имеет место вне каждого из нас, так как он образуется из множества сознаний, то он непременно имеет следствием закрепление, установление вне нас определенных способов действий и суждений, которые не зависят от каждой отдельно взятой воли. Как было ранее отмечено <...>, есть слово, которое, если несколько расширить его обычное значение, довольно хорошо выражает этот весьма специфический способ бытия; это слово “институт”. В самом деле, не искажая смысла этого выражения, можно назвать *институтом* все верования, все образцы поведения, установленные группой. Социологию тогда можно определить как науку об институтах, их генезисе и функционировании.

Э. Дюркгейм

Черты социологического метода

В целом изложенный метод отличается следующими признаками.

Во-первых, он независим от всякой философии. Так как социология возникла из великих философских доктрин, то она сохранила привычку опираться на какую-нибудь систему, с которой она, таким образом, оказы-

Источник: Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр. А.Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. С. 153—158.

вается связанной. Поэтому она была последовательно позитивистской, эволюционистской, спиритуалистской, тогда как она должна довольствоваться тем, чтобы быть просто социологией. Мы не решились бы даже назвать ее натуралистской, если только этим термином не обозначать то, что она считает социальные факты объяснимыми естественными причинами. А в этом случае эпитет довольно бесполезен, так как он просто указывает на то, что социолог — не мистик и занимается наукой. Но мы отвергаем это слово, если ему придается доктринальное значение, касающееся сущности социальных явлений, если, например, подразумевается, что последние могут быть сведены к другим космическим силам. Социологии не следует принимать сторону какой-нибудь из великих метафизических гипотез. Ей не нужно утверждать ни свободы, ни детерминизма. Она требует только признания, что к социальным явлениям применим принцип причинности. Даже этот принцип она выдвигает не как непреложный постулат разума, а как постулат эмпирический, результат правомерной индукции. Так как закон причинности признан для других областей природного царства и признание его господства постепенно расширялось, распространялось от мира явлений физико-химических на явления биологические, от последних — на мир явлений психических, то мы вправе допустить, что он также верен и для мира социального. И можно добавить к этому, что исследования, предпринятые на основе этого постулата, судя по всему, его подтверждают. Но вопрос, исключает ли природа причинной связи всякую случайность, этим еще не решается.

К тому же сама философия весьма заинтересована в этом освобождении социологии. Пока социолог не освободился вполне от влияния философа, он рассматривает социальные явления только с их наиболее общей стороны, с той, с которой они более всего походят на другие явления Вселенной. Если же, находясь в таком положении, социология и может иллюстрировать философские положения любопытными фактами, то она не может обогатить ее новыми взглядами, поскольку не обнаруживает ничего нового в изучаемом объекте. Но в действительности, если основные факты других областей обнаруживаются и в сфере социальных явлений, то лишь в особых формах, делающих их природу более понятной, потому что они являются высшим ее выражением. Только для того, чтобы видеть их с этой стороны, нужно выйти за пределы общих положений и обратиться к детальному изучению фактов. Таким образом, социология, по мере того как она будет специализироваться, будет доставлять все более оригинальный материал для философского размышления. Уже предшествующее изложение могло показать, что такие существенные понятия, как вид, орган, функция, здоровье, болезнь, причина, цель, предстают в совершенно новом свете. К тому же разве не социология призвана наиболее рельефно выразить идею ассоциации, которая может быть основанием не только психологии, но и целой философии?

Относительно практических учений наш метод позволяет и рекомендует ту же независимость. Социология, понимаемая таким образом, не будет ни индивидуалистической, ни коммунистической, ни социалистической в

том значении, которое обыкновенно придается этим словам. Она принципиально будет игнорировать эти теории, за которыми не может признать научной ценности, поскольку они прямо стремятся не выразить, а преобразовывать факты. По крайней мере, если она и заинтересуется ими, то лишь в той мере, в какой увидит в них социальные факты, которые могут помочь ей понять социальную реальность, обнаруживая потребности, волнующие общество. Это не значит, впрочем, что она не должна интересоваться практическими вопросами. Наоборот, можно было заметить, что мы постоянно стараемся ориентировать ее таким образом, чтобы она могла делать практические выводы. Она непременно сталкивается с этими проблемами в конце своих исследований. Но уже благодаря тому, что они возникают перед ней только в этот момент и, следовательно, выводятся из фактов, а не из страстей, то можно предвидеть, что они предстают перед социологом в совершенно ином виде, чем перед толпой, и что предлагаемые им решения, впрочем, частичные, не могут вполне совпадать с решениями какой-либо партии. Но с этой точки зрения роль социологии должна состоять именно в том, чтобы освободить нас от всех партий, не столько противопоставляя одну доктрину другой, сколько приучая умы заниматься по отношению к этим вопросам особую позицию, которую может внушить только наука посредством прямого соприкосновения с вещами. Только она может научить относиться с уважением, но без фетишизма к исторически сложившимся институтам, каковы бы они ни были, указывая нам, что в них необходимо и временного, какова их прочность и бесконечная изменчивость.

Во-вторых, наш метод объективен. Он весь проникнут идеей, что социальные факты суть вещи и должны рассматриваться как таковые. Конечно, этот принцип встречается в несколько иной форме и в основе доктрин Конта и Спенсера. Но эти великие мыслители скорее дали его теоретическую формулу, чем применили его на практике. Для того чтобы он не остался мертвой буквой, недостаточно было провозгласить его, нужно было сделать его основанием дисциплины, которая завладела бы ученым в тот самый момент, когда он приступает к предмету своих исследований, и которая постоянно сопровождала бы его во всех его попытках. Именно за установление такой дисциплины мы и взялись. Мы показали, как социолог должен устранять имеющиеся у него заранее понятия о фактах, чтобы стать лицом к лицу с самими фактами; как он должен находить их по наиболее объективным признакам и в них самих искать признаки для разделения их на здоровые и болезненные; как, наконец, он должен проникнуться тем же принципом и в даваемых им объяснениях, и в способе доказательств этих объяснений. Понимая, что имеют дело с вещами, не станут уже объяснять их утилитарными расчетами или какими бы то ни было рассуждениями.

Тогда становится слишком очевидным разрыв между подобными причинами и следствиями. Вещь есть сила, которая может быть порождена только другой силой. Следовательно, для того чтобы объяснить социальные фак-

ты, нужно найти энергии, способные произвести их. При таких условиях изменяются не только объяснения, но и процесс их доказательства или, точнее, лишь тогда чувствуют необходимость доказывать их. Если социологические явления суть лишь системы объективированных идей, то объяснить их — значит вновь рассмотреть эти идеи в их логическом порядке, и такое объяснение является своим собственным доказательством; самое большее, что остается сделать, — это подтвердить его несколькими примерами. Наоборот, лишь методически правильными опытами можно проникнуть в тайну вещей. Но если мы и рассматриваем социальные факты как вещи, то как *вещи социальные*.

Третья характерная черта нашего метода состоит в том, что он является исключительно социологическим. Часто казалось, что эти явления вследствие своей чрезвычайной сложности или вовсе не поддаются научному исследованию, или могут стать объектом его лишь будучи сведены к своим элементарным условиям, психическим или органическим, т.е. утратив свойственный им характер. Мы же, наоборот, попытались доказать, что их можно изучать научно, не лишая их специфических свойств. Мы даже отказались свести характерную для них нематериальность *sui generis* к сложной нематериальности психологических явлений; тем более мы не позволили себе по примеру итальянской школы растворить ее в общих свойствах организованной материи <...>. Мы показали, что социальный факт можно объяснить только другим социальным фактом, и в то же время мы показали, как этот вид объяснения возможен, признав внутреннюю социальную среду главным двигателем социальной эволюции. Социология, следовательно, не есть приложение к какой-либо другой науке; она представляет собой особую и автономную науку, и ощущение специфики социальной реальности настолько необходимо социологу, что только особая социологическая культура может привести его к пониманию социальных фактов.

Мы считаем, что это самый важный шаг, который остается сделать социологии. Конечно, когда наука находится в процессе зарождения, для создания ее бывают вынуждены обращаться к единственным существующим моделям, т.е. к наукам, уже сложившимся. Там находятся сокровища уже проделанных опытов, не воспользоваться которыми было бы безумием. Тем не менее наука может считаться окончательно установленной только тогда, когда она стала независимой. В самом деле, она имеет право на существование лишь тогда, когда предметом ее служит категория фактов, не изучаемая другими науками. Невозможно, однако, чтобы одни и те же понятия были бы одинаково пригодны для разных по сути вещей.

Таковы, по нашему представлению, принципы социологического метода.

Эта совокупность правил покажется, быть может, излишне сложной по сравнению с обыкновенно используемыми приемами. Все эти приготовления и предосторожности могут показаться весьма затруднительными для науки, до сих пор требовавшей от лиц, посвящавших ей себя, лишь общей и

философской культуры. И действительно, применение подобного метода на практике не может увеличить интерес к социологическим предметам. Когда от людей требуется в качестве основного предварительного условия, чтобы они отрешились от тех понятий, которые они привыкли прилагать к какому-то разряду явлений, чтобы они заново пересмотрели их, нельзя рассчитывать найти многочисленных последователей. Но мы стремимся не к этому. Мы, наоборот, думаем, что для социологии настал момент отказаться от, так сказать, светских успехов и обрести эзотерический характер, приличествующий всякой науке. Таким образом она выиграет в достоинстве и авторитете настолько, насколько, быть может, проиграет в популярности. В самом деле, пока она остается втянутой в борьбу партий, пока она довольствуется лишь тем, что обрабатывает с большей логикой, чем толпа, общепринятые идеи и потому, следовательно, не требует никакой особой квалификации, она не вправе говорить так громко, чтобы заставить умолкнуть страсти и предрассудки. Конечно, еще далеко то время, когда она сможет выполнить эту задачу, но нам нужно трудиться уже теперь, чтобы когда-нибудь она была в состоянии ее осуществить.

Э. Дюркгейм

Ценностные суждения и “реальные” суждения

Как же понимать отношение ценностных суждений к “реальным” суждениям?

Из предыдущего следует, что между ними нет различий по существу. Ценностное суждение выражает связь вещи с идеалом. Но и идеал дан нам в качестве вещи, хотя и иным образом; он также своего рода реальность. Выражаемая связь, стало быть, соединяет два понятия точно так же, как в “реальном” суждении. Правда, можно сказать, что ценностные суждения опираются на идеалы. Но так же обстоит дело и с “реальными” суждениями. Ведь понятия — это также порождения духа, следовательно, идеалов. И нетрудно будет доказать, что это также коллективные идеалы, поскольку они могут формулироваться только в языке и через язык, представляющий собой вещь в высшей степени коллективную. Элементы суждения, стало быть, одни и те же в обоих случаях. Тем не менее это не значит, что первое из этих суждений сводится ко второму или наоборот. Они подобны друг другу, так

Источник: Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр. А.Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. С. 302—304.

как являются результатом действия одной-единственной способности. Не существует одного способа мыслить и судить по поводу реального существования и другого способа — для оценки ценностей. Всякое суждение необходимо имеет основу в данных опыта; даже те суждения, что относятся к будущему, пользуются материалом либо из настоящего, либо из прошлого. С другой стороны, всякое суждение приводит в действие идеалы. Следовательно, существует и должна существовать только одна способность суждения.

Тем не менее различие, отмеченное нами мимоходом, имеет место. Хотя всякое суждение приводит в действие идеалы, последние относятся к различным видам. Существуют такие идеалы, назначение которых только выражать реальности, к которым они прилагаются, выражать их такими, каковы они суть. Это понятия в собственном смысле. Существуют и другие, функция которых, наоборот, состоит в том, чтобы преображать реальности, к которым они относятся. Это ценностные идеалы. В первом случае идеал служит символом для вещи, способствуя ее усвоению мышлением. Во втором, наоборот, вещь служит символом для идеала и дает возможность представить ее себе разным людям. Естественно, суждения различаются согласно используемым ими идеалам. Первые ограничиваются анализом реальности и как можно более верно ее выражением. Вторые, наоборот, содержат высказывание о новом аспекте реальности, которым она обогатилась под действием идеала. И несомненно, последний аспект также реален, но в другом качестве и иначе, чем свойства, внутренне присущие объекту. Доказательством этого утверждения служит то, что одна и та же вещь может или утратить имеющуюся у нее ценность, или приобрести иную ценность, не изменяя свою природу; достаточно того, чтобы изменился идеал. Ценностное суждение, стало быть, добавляет нечто к данному в известном смысле, хотя то, что оно добавляет, взято у данного другого рода. Таким образом, способность суждения функционирует по-разному в зависимости от обстоятельств, но эти различия не нарушают фундаментального единства этой функции.

Позитивную социологию иногда упрекали в чем-то вроде эмпиристского фетишизма в отношении факта и в упорном безразличии к идеалу. Мы видим, насколько необоснован этот упрек. Основные социальные явления: религия, мораль, право, экономика, эстетика, — суть не что иное, как системы ценностей, следовательно, это идеалы. Социология, таким образом, изначально расположена в области идеала; она не приходит к нему постепенно, в результате своих исследований, а исходит из него. Идеал — это ее собственная сфера. Но она рассматривает идеал лишь для того, чтобы создать науку о нем (именно благодаря этому можно назвать ее позитивной, если только, будучи присоединенным к слову “наука”, это прилагательное не образует плеоназма [гр. *pleonasmus* — переизбыток. — *Ред.*]). Она не стремится его конструировать; как раз наоборот, она берет его как данность, как объект изучения, и пытается его анализировать и объяснять. В способности к идеалу она видит естественную способность, причины и условия ко-

торой она ищет с целью по возможности помочь людям отрегулировать ее функционирование. В конечном счете задача социолога должна состоять в том, чтобы вернуть идеал во всех его формах в природу, но оставив ему при этом все его отличительные признаки. И если подобная попытка не кажется ему безнадежной, то это потому, что общество соответствует всем условиям, необходимым для объяснения указанных противоположных признаков. Оно также происходит от природы, одновременно доминируя над ней. Причина в том, что все силы Вселенной не просто завершаются в обществе, но, более того, они синтезированы в нем таким образом, что порождают результат, который по богатству, сложности и мощи воздействия превосходит все, что послужило его образованию. Словом, оно есть природа, но достигшая наивысшей точки своего развития и концентрирующая всю свою энергию с тем, чтобы в каком-то смысле превзойти самое себя.

М. Вебер

Наука о действительности

Социальная наука, которой мы хотим заниматься, — наука о действительности. Мы стремимся понять окружающую нас действительную жизнь в ее своеобразии — взаимосвязь и культурную значимость отдельных ее явлений в их нынешнем облике, а также причины того, что они исторически сложились именно так, а не иначе. Между тем, как только мы пытаемся осмыслить образ, в котором жизнь непосредственно предстает перед нами, она предлагает нам бесконечное многообразие явлений, возникающих и исчезающих последовательно или одновременно “внутри” и “вне” нас. Абсолютная бесконечность такого многообразия остается неизменной в своей интенсивности и в том случае, когда мы изолированно рассматриваем отдельный ее “объект” (например, конкретный акт обмена), как только мы делаем серьезную попытку хотя бы только *исчерпывающе* описать это “единичное” явление во всех его индивидуальных компонентах, не говоря уже о том, чтобы постигнуть его в его каузальной обусловленности. Поэтому всякое мысленное познание бесконечной действительности конечным человеческим духом основано на молчаливой предпосылке, что в каждом данном случае предметом научного познания может быть только конечная *часть* действительности, что только ее следует считать “существенной”, т.е. “достойной знания”.

По какому же принципу вычленяется эта часть? Долгое время предполагали, что и в науках о культуре решающий признак в конечном итоге следует искать в “закономерной” повторяемости определенных причинных свя-

Источник: Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. М.И. Левиной. М.: Прогресс, 1990. С. 369—379.

зей. То, что содержат в себе “законы”, которые мы способны различить в необозримом многообразии смен явлений, должно быть — с этой точки зрения — единственно “существенным” для науки. Как только мы установили “закономерность” причинной связи, будь то средствами исторической индукции в качестве безусловно значимой, или сделали ее непосредственно зримой очевидностью для нашего внутреннего опыта — каждой найденной таким образом формуле подчиняется любое количество однородных явлений. Та часть индивидуальной действительности, которая остается непонятой после вычленения “закономерного”, рассматривается либо как не подвергнутый еще научному анализу остаток, который впоследствии в ходе усовершенствования системы “законов” войдет в нее, либо это просто игнорируют как нечто “случайное” и именно *поэтому* несущественно для науки, *поскольку* оно не допускает “понимания с помощью законов”. *следовательно*, не относится к рассматриваемому “типу” явлений и может быть лишь объектом “праздного любопытства”.

Таким образом, даже представители исторической школы все время возвращаются к тому, что идеалом всякого, в том числе и исторического, познания (пусть даже этот идеал перемещен в далекое будущее) является система научных положений, из которой может быть “дедуцирована” действительность.

Один известный естествовед высказал предположение, что таким фактически недостижимым идеалом подобного “препарирования” культурной действительности можно считать “астрономическое” познание жизненных процессов. Приложим и мы свои усилия, несмотря на то что указанный предмет уже неоднократно привлекал к себе внимание, и остановимся несколько конкретнее на данной теме. Прежде всего бросается в глаза, что “астрономическое” познание, о котором идет речь, совсем не есть познание законов, что “законы”, которые здесь используются, взяты в качестве *предпосылок* исследования из других наук, в частности из механики. В самом же познании ставится вопрос: к какому *индивидуальному* результату приводит действие этих законов на *индивидуально* структурированную *конstellацию*, ибо эти индивидуальные конstellации обладают для нас *значимостью*. Каждая индивидуальная конstellация, которую нам “объясняет” или предсказывает астрономическое знание, может быть, конечно, каузально объяснена только как следствие другой, предшествующей ей, столь же индивидуальной конstellации; и как бы далеко мы ни проникали в густой туман далекого прошлого, действительность, *для* которой значимы законы, всегда остается одинаково индивидуальной и в одинаковой степени невыводимой из законов. “Изначальное” космическое “состояние”, которое не имело бы индивидуального характера или имело бы его в меньшей степени, чем космическая действительность настоящего времени, конечно, явная бессмыслица. Однако разве в области нашей науки не обнаруживаются следы подобных представлений то в виде открытий естественного права, то в виде верифи-

цированных на основе изучения жизни “первобытных народов” предположений о некоем “исконном состоянии” свободных от исторических случайностей социально-экономических отношений типа “примитивного аграрного коммунизма”, “сексуального промискуитета” и т.д., из которых затем в виде некоего грехопадения в конкретность возникает индивидуальное историческое развитие?

Отправным пунктом интереса в области социальных наук служит, разумеется, *действительная*, т.е. индивидуальная, структура окружающей нас социокультурной жизни в ее универсальной, но тем самым, конечно, не теряющей своей индивидуальности связи и в ее становлении из других, также индивидуальных по своей структуре культур. Очевидно, здесь мы имеем дело с такой же ситуацией, которую выше пытались обрисовать с помощью астрономии, пользуясь этим примером как пограничным случаем (обычный прием логиков), только теперь специфика объекта еще определеннее. Если в астрономии наш интерес направлен только на чисто *количественные*, доступные точному измерению связи между небесными телами, то в социальных науках нас прежде всего интересует *качественная* окраска событий. К тому же в социальных науках речь идет о роли *духовных* процессов, “*понять*” которую в сопереживании — совсем иная по своей специфике задача, чем та, которая может быть разрешена (даже если исследователь к этому стремится) с помощью точных формул естественных наук. Тем не менее такое различие оказывается не столь принципиальным, как представляется на первый взгляд. Ведь естественные науки — если оставить в стороне чистую механику — также не могут обойтись без качественного аспекта; с другой стороны, и в нашей специальности бытует мнение (правда, неверное), что фундаментальное, по крайней мере для нашей культуры, явление товарно-денежного обращения допускает применение количественных методов и *поэтому* может быть постигнуто с помощью законов. И наконец, будут ли отнесены к законам и те закономерности, которые не могут быть выражены в числах, поскольку к ним неприменимы количественные методы, зависит от того, насколько узким или широким окажется понятие “закона”. Что же касается особой роли “духовных” мотивов, то она, во всяком случае, не исключает установления *правил* рационального поведения; до сих пор еще бытует мнение, будто задача *психологии* заключается в том, чтобы играть для отдельных “наук о духе” роль, близкую математике, расчленяя сложные явления социальной жизни на их психические условия и следствия и сводя эти явления к наиболее простым психическим факторам, которые должны быть классифицированы по типам и исследованы в их функциональных связях. Тем самым была бы создана если не “механика”, то хотя бы “химия” социальной жизни в ее психических основах. Мы не будем здесь решать, дадут ли когда-либо подобные исследования ценные или — что отнюдь не то же самое — приемлемые для наук о *культуре* результаты. Однако для вопроса, может ли быть посредством выявления закономерной

повторяемости достигнута *цель* социально-экономического познания в нашем понимании, т.е. познание действительности в ее культурном значении и каузальной связи, это не имеет ни малейшего значения. Допустим, что когда-либо, будь то с помощью психологических или любых иных методов, удалось бы проанализировать все известные и все мыслимые в будущем причинные связи явлений совместной жизни людей и свести их к каким-либо простым последним “факторам”, затем с помощью невероятной казуистики понятий и строгих, значимых в своей закономерности правил исчерпывающе их осмыслить, — что это могло бы значить для познания *исторически* данной культуры или даже какого-либо отдельного ее явления, например, капитализма в процессе его становления и его культурном значении. В качестве *средства* познания — не более и не менее чем справочник по соединениям органической химии для *биогенетического* исследования животного и растительного мира. В том и другом случае, безусловно, была бы проделана важная и полезная предварительная работа. Однако в том и другом случае из подобных “законов” и “факторов” не могла бы быть *дедущирована* реальность жизни, и совсем не потому, что в жизненных явлениях заключены еще какие-либо более высокие, таинственные “силы” (доминанты, “энтелехии” и как бы они ни назывались) — это вопрос особый, — но просто потому, что для понимания действительности нам важна *констелляция*, в которой мы находим те (гипотетические!) “факторы”, сгруппированные в историческое, *значимое* для нас явление культуры, и потому, что, если бы мы захотели “каузально объяснить” такую индивидуальную группировку, нам неизбежно пришлось бы обратиться к другим, столь же индивидуальным группировкам, с помощью которых мы, пользуясь теми (конечно, гипотетическими) понятиями “закона”, дали бы ее “объяснение”. Установить упомянутые (гипотетические) “законы” и “факторы” было бы для нас лишь *первой* задачей среди множества других, которые должны были бы привести к желаемому результату. Второй задачей было бы проведение анализа и упорядоченного изображения исторически данной индивидуальной группировки тех “факторов” и их обусловленного этим конкретно, в своем роде *значимого* взаимодействия, и прежде всего *пояснение* основания и характера этой значимости. Решить вторую задачу можно, только используя предварительные данные, полученные в результате решения первой, но сама по себе она совершенно новая и *самостоятельная* по своему типу задача. Третья задача состояла бы в том, чтобы познать, уходя в далекое прошлое, становление отдельных, значимых для *настоящего* индивидуальных свойств этих группировок, их историческое объяснение из предшествующих, также индивидуальных констелляций. И наконец, мыслимая четвертая задача — в оценке возможных констелляций в будущем.

Нет сомнения в том, что для реализации всех названных целей наличие ясных понятий и знания таких (гипотетических) “законов” было бы весьма ценным средством познания, но только средством, более того, в этом смысле

совершенно необходимым. Однако, даже используя такую их функцию, мы в *определенный* решительный момент обнаруживаем границу их значения и, установив последнюю, приходим к выводу о безусловном своеобразии исследования в области наук о культуре. Мы назвали “науками о культуре” такие дисциплины, которые стремятся познать жизненные явления в их культурном *значении*. *Значение* же явления культуры и причина этого значения не могут быть выведены, обоснованы и пояснены с помощью системы законов и понятий, какой бы совершенной она ни была, так как это значение предполагает соотнесение явлений культуры с *идеями ценности*. Понятие культуры — *ценностное понятие*. Эмпирическая реальность *есть* для нас “культура” потому, что мы соотносим ее с ценностными идеями (и в той мере, в какой мы это делаем), культура охватывает те — и *только* те — компоненты действительности, которые в силу упомянутого отнесения к ценности становятся значимыми для нас. Ничтожная часть индивидуальной действительности окрашивается нашим интересом, обусловленным ценностными идеями, лишь она имеет для нас значение, и вызвано это тем, что в ней обнаруживаются связи, *важные* для нас вследствие их соотнесенности с ценностными идеями. Только поэтому — и поскольку это имеет место — данный компонент действительности в его индивидуальном своеобразии представляет для нас познавательный интерес. Однако определить, *что* именно для нас значимо, никакое “непредвзятое” исследование эмпирически данного не может. Напротив, установление значимого для нас и есть предпосылка, в силу которой нечто становится *предметом* исследования. Значимое как таковое не совпадает, конечно, ни с одним законом как таковым, и тем меньше, чем более общезначим этот закон. Ведь специфическое значение, которое имеет для нас компонент действительности, заключено совсем *не* в тех его связях, которые общи для него и многих других. Отнесение действительности к ценностным идеям, придающим ей значимость, выявление и упорядочение окрашенных этим компонентом действительности с точки зрения их культурного *значения* — нечто совершенно несовместимое с гетерогенным ему анализом действительности посредством *законов* и упорядочением ее в общих понятиях. Эти два вида мыслительного упорядочения реальности не находятся в обязательной логической взаимосвязи. Они могут иногда в каком-либо отдельном случае совпадать, однако следует всячески остерегаться чрезвычайно опасного в своем последствии заблуждения, будто подобное случайное совпадение меняет что-либо в их *принципиальном* различии по существу. Культурное *значение* какого-либо явления, например обмена в товарно-денежном хозяйстве, *может* состоять в том, что оно принимает массовый характер; и таков действительно фундаментальный компонент культурной жизни нашего времени. В этом случае задача исследователя состоит именно в том, чтобы сделать понятным культурное *значение* того исторического факта, что упомянутое явление играет именно эту роль, дать каузальное объяснение его исторического возникновения.

Исследование *общих* черт обмена как такового и *техники* денежного обращения в товарно-денежном хозяйстве — очень важная (и необходимая!) *подготовительная* работа. Однако оно не только не дает ответа на вопрос, каким же образом исторически обмен достиг своего нынешнего фундаментального значения, но не объясняет прежде всего того, что интересует нас в первую очередь, — *культурного значения* денежного хозяйства, что вообще только и представляет для нас интерес в технике денежного обращения, из-за чего вообще в наши дни существует наука, изучающая этот предмет; ответ на такой вопрос не может быть выведен ни из одного общего “закона”. *Типовые признаки* обмена, купли-продажи и т.п. интересуют юриста; наша же задача — дать анализ *культурного значения* того *исторического* факта, что обмен стал теперь явлением массового характера. Когда речь идет об объяснении данного явления, и мы стремимся понять, чем же социально-экономические отношения нашей культуры *отличаются* от аналогичных явлений культур древности, где обмен обладал совершенно теми же типовыми качествами; когда мы, следовательно, пытаемся понять, в чем же состоит значение “денежного хозяйства”, тогда в исследование вторгаются логические принципы, совершенно гетерогенные по своему происхождению: мы, правда, пользуемся в качестве *средства* изображения теми понятиями, которые предоставляет нам изучение типовых элементов массовых явлений экономики, в той мере, в какой в них содержатся значимые компоненты нашей культуры. Однако каким бы точным ни было изложение этих понятий и законов, мы тем самым не только не достигнем своей цели, но и самый вопрос, что же должно служить материалом для образования типовых понятий, вообще не может быть решен “непредвзято”, а только в зависимости от *значения*, которое имеют для культуры определенные компоненты бесконечного многообразия, именуемого нами денежным обращением”. Ведь мы стремимся к познанию исторического, т.е. *значимого* в индивидуальном *своеобразии* явления. И решающий момент заключается в следующем: лишь в том случае, если мы исходим из предпосылок, что *значима* только *конечная* часть бесконечной полноты явлений, идея познания *индивидуальных* явлений может вообще обрести логический смысл. Даже при всеохватывающем знании всего происходящего нас поставил бы в тупик вопрос — как вообще *возможно каузальное объяснение индивидуального факта*, если даже любое *описание* наименьшего отрезка действительности никогда нельзя мыслить исчерпывающим? Число и характер причин, определивших какое-либо индивидуальное событие, всегда *бесконечно*, а в самих вещах нет признака, который позволил бы вычленивать из них единственно важную часть. Серьезная попытка “непредвзятого” познания действительности привела бы только к хаосу “экзистенциальных суждений” о бесчисленном количестве индивидуальных восприятий. Однако возможность такого результата иллюзорна, так как при ближайшем рассмотрении оказывается, что в действительности каждое отдельное восприятие состоит из бесконечного множества компо-

нентов, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть исчерпывающе отражены в суждениях о восприятии. Порядок в этот хаос вносит *только* то обстоятельство, что интерес и *значение* имеет для нас в каждом случае лишь часть индивидуальной действительности, так как только она соотносится с *ценностными идеями культуры*, которые мы прилагаем к действительности. Поэтому только определенные стороны бесконечных в своем многообразии отдельных явлений, те, которым мы приписываем общее *культурное значение*, представляют для нас познавательную ценность, только они являются предметом каузального объяснения.

Однако и в каузальном объяснении обнаруживается та же сложность: *исчерпывающее* каузальное сведение какого бы то ни было конкретного явления во всей *полноте* его действительных свойств не только практически невозможно, но и бессмысленно. Мы вычленим лишь те причины, которые в отдельном случае могут быть *сведены* к “*существенным*” компонентам события: там, где речь идет об *индивидуальности* явления, каузальный вопрос — вопрос не о *законах*, а о конкретных каузальных *связях*, не о том, под какую формулу следует подвести явление в качестве частного случая, а о том, к какой индивидуальной конstellляции его следует свести, другими словами, это вопрос сведения.

Повсюду, где речь идет о каузальном объяснении “явления культуры”, об “*историческом индивидууме*” (мы пользуемся здесь термином, который начинает входить в методологию нашей науки и в своей точной формулировке уже принят в логике), знание *законов* причинной обусловленности не может быть *целью* и является только *средством* исследования. Знание законов облегчает нам сведение компонентов явлений, обладающих в своей индивидуальности культурной значимостью, к их конкретным причинам. В той мере — и только в той мере, — в какой знание законов способствует этому, применение его существенно в познании индивидуальных связей. И чем “более общи”, т.е. абстрактны, законы, тем менее они применимы для каузального сведения *индивидуальных* явлений, а тем самым косвенно и для понимания значения культурных процессов.

Какой же вывод можно сделать из всего сказанного? Разумеется, это не означает, что в области наук о культуре знание *общего*, образование абстрактных родовых понятий, знание закономерности и попытка формулировать связи на основе “законов” вообще не имеют научного оправдания. Напротив, если каузальное познание историка есть *сведение* конкретных результатов к их конкретным причинам, то *значимость* сведения какого либо индивидуального результата к его причинам без применения “номологического” знания, т.е. знания законов каузальных связей, вообще *немыслима*. Следует ли приписывать отдельному индивидуальному компоненту реальной связи *in concrete* каузальное значение в осуществлении того результата, о каузальном объяснении которого идет речь, можно в случае сомнения решить, *только* если мы оценим воздействие, которого мы обычно ждем в

соответствии с *общими законами* от данного компонента связи и от других принятых здесь во внимание компонентов того же комплекса; вопрос сводится к определению *адекватного* воздействия отдельных элементов данной причинной связи.

В какой мере историк (в самом широком смысле слова) способен уверенно совершить это сведение с помощью своего основанного на личном жизненном опыте и методически дисциплинированного воображения и в какой мере он использует при этом выводы других специфических наук, решается в каждом отдельном случае в зависимости от обстоятельств. Однако повсюду, а следовательно, и в области сложных экономических процессов, *надежность* такого причинного сведения тем больше, чем полнее и глубже знание общих законов. То, что при этом всегда, в том числе и во всех без исключения так называемых “экономических законах”, речь идет не о “закономерностях” в узком естественнонаучном смысле, но об “адекватных” причинных связях, выраженных в определенных правилах, о применении категории “объективной возможности” (которую мы здесь подробно не будем рассматривать), ни в коей мере не умаляет значения данного тезиса. Следует только всегда помнить, что установление закономерностей такого рода — не *цель*, а *средство* познания, а есть ли смысл в том, чтобы выражать в формуле в виде “закона” хорошо известную нам из повседневного опыта закономерность причинной связи, является в каждом конкретном случае вопросом целесообразности.

Для естественных наук важность и ценность “законов” прямо пропорциональна степени их *общезначимости*, для познания исторических явлений в их конкретных условиях *наиболее общие законы*, в наибольшей степени лишенные содержания, имеют, как правило, наименьшую ценность. Ведь чем больше значимость родового понятия, его *объем*, тем дальше оно уходит нас от полноты реальной действительности, так как для того, чтобы содержать общие признаки наибольшего числа явлений, оно должно быть абстрактным, т.е. *бедным* по своему содержанию. В науках о культуре познание общего никогда не бывает ценным как таковое.

Из сказанного следует, что “объективное” исследование явлений культуры, идеальная цель которого состоит в сведении эмпирических связей к “законам”, бессмысленно. И совсем *не* потому, что, как часто приходится слышать, культурные или духовные процессы “объективно” протекают в менее строгом соответствии законам, а по совершенно иным причинам. Во-первых, знание социальных законов не есть знание социальной действительности, оно является лишь одним из целого ряда вспомогательных средств, необходимых нашему мышлению для этой цели. Во-вторых, познание культурных процессов возможно только в том случае, если оно исходит из *значения*, которое для нас всегда имеет действительность жизни, индивидуально структурированная в определенных *единичных* связях. В *каком* смысле и в *каких* связях обнаруживается такая значимость, нам не может открыть ни один закон, ибо это решается в зависимости от *ценностных идей*, под углом зрения которых мы в каждом отдельном случае рассматриваем “культуру”.

“Культура” — есть тот конечный фрагмент лишенной смысла мировой бесконечности, который, с точки зрения *человека*, обладает смыслом и значением. Такое понимание культуры присуще человеку и в том случае, когда он выступает как злейший враг какой-либо *конкретной* культуры и требует “возврата к природе”. Ведь и эту позицию он может занять, только *соотнося* данную конкретную культуру со своими ценностными идеями и определяя ее как “слишком поверхностную”. Данное *чисто формально-логическое* положение имеется в виду, когда речь здесь идет о логически необходимой связи всех “исторических индивидуумов” с “ценностными идеями”.

Трансцендентальная предпосылка всех *наук о культуре* состоит не в том, что мы считаем определенную — или вообще какую бы то ни было “культуру” *ценной*, а в том, что мы сами *являемся людьми* культуры, что мы обладаем способностью и волей, которые позволяют нам сознательно занять определенную *позицию* по отношению к миру и придать ему *смысл*. Каким бы этот смысл ни был, он станет основой наших *суждений* о различных явлениях совместного существования людей, заставит нас отнестись к ним (положительно или отрицательно) как к чему-то для нас значительному. Каким бы ни было содержание этого отношения, названные явления будут иметь для нас культурное *значение*, которое только и придает им научный интерес. Говоря в терминах современной логики об обусловленности познания культуры идеями *ценности*, мы уповаем на то, что это не породит столь глубокого заблуждения, будто, с нашей точки зрения, культурное значение присуще лишь *ценностным* явлениям. К явлениям *культуры* проституция относится не в меньшей степени, чем религия или деньги, и все они относятся потому, *только* потому, что их существование и форма, которую они обрели *исторически*, прямо или косвенно затрагивают наши культурные *интересы*, и *только* в этой степени потому, что они возбуждают наше стремление к знанию с тех точек зрения, которые выведены из ценностных идей, придающих *значимость* отрезку действительности, мыслимому в этих понятиях.

М. Вебер

Идеальный тип

В абстрактной экономической теории мы находим пример тех синтезов, которые обычно именуют “*идеями*” исторических явлений. Названная теория дает нам идеальную картину процессов, происходящих на рынке в товарно-денежном хозяйстве при свободной конкуренции и строго рациональном поведении. Этот мысленный образ сочетает определенные связи и про-

Источник: Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. М.И. Левиной. М.: Прогресс, 1990. С. 389—402.

цессы исторической жизни в некий лишенный внутренних противоречий космос *мысленных* связей. По своему содержанию данная конструкция носит характер *утопии*, полученной посредством *мысленного* усиления определенных элементов действительности. Ее отношение к эмпирически данным фактам действительной жизни состоит в следующем: в тех случаях, когда абстрактно представленные в названной конструкции связи, т.е. процессы, связанные с “рынком”, в какой-то степени выявляются или предполагаются в действительности как значимые, мы можем, сопоставляя их с *идеальным типом*, показать и пояснить с прагматической целью своеобразие *этих* связей. Такой метод может быть эвристическим, а для определения ценности явления даже необходимым.

В *исследовании* идеально-типическое понятие — средство для вынесения правильного суждения о каузальном сведении элементов действительности. Идеальный тип — не “гипотеза”, он лишь указывает, в каком направлении должно идти образование гипотез. Не дает он и *изображения* действительности, но представляет для этого однозначные средства выражения. Таким образом, перед нами “идея” исторически данной хозяйственной организации современного общества, образованная по совершенно таким же логическим принципам, с помощью которых была сконструирована в качестве “генетического” принципа, например, идея “городского хозяйства” в средние века. В такой конструкции понятие “городское хозяйство” строится не как среднее выражение совокупности всех действительных хозяйственных принципов, обнаруженных во всех изученных городах, но также в виде *идеального* типа. Оно создается посредством одностороннего *усиления* одной или *нескольких* точек зрения и соединения множества диффузно и дискретно существующих *единичных* явлений (в одном случае их может быть больше, в другом — меньше, а кое-где они вообще отсутствуют), которые соответствуют тем односторонне вычленным точкам зрения и складываются в единый *мысленный* образ.

В реальной действительности такой мысленный образ в его понятийной чистоте нигде эмпирически не обнаруживается; это — *утопия*. Задача исторического исследования состоит в том, чтобы в каждом отдельном случае установить, насколько действительность близка такому мысленному образу или далека от него, в какой мере можно, следовательно, считать, что характер экономических отношений определенного города соответствует понятию “городского хозяйства”. При осторожном применении этого понятия оно специфическим образом способствует достижению цели и наглядности исследования. С помощью совершенно такого же метода можно (приведем еще один пример) создать в виде утопии “идею ремесла”, соединив определенные черты, диффузно встречающиеся у ремесленников самых различных эпох и народов и доведенные до их полного логического предела, в едином, свободном от противоречий идеальном образе и соотнеся их с выраженным в них *мысленным* образованием. Можно, далее, попытаться нарисовать общество, где все отрасли хозяйственной, даже всей духовной дея-

тельности подчинены максимам, являющимся результатом применения того же принципа, который был положен в основу доведенного до идеального типа “ремесла”.

Далее, идеальному типу “ремесла” можно, абстрагируя определенные черты современной крупной промышленности, противопоставить в качестве антитезиса идеальный тип капиталистического хозяйства и вслед за тем попытаться нарисовать утопию “капиталистической” культуры, т.е. культуры, где господствуют только интересы реализации частных капиталов. В ней должны быть объединены отдельные, диффузно наличные черты материальной и духовной жизни в рамках современной культуры, доведенные в своем своеобразии до лишнего для нашего рассмотрения противоречий идеального образа. Это и было бы попыткой создать *“идею” капиталистической культуры*; мы оставляем здесь в стороне вопрос, может ли подобная попытка увенчаться успехом и каким образом. Вполне вероятно, более того, нет сомнения в том, что можно создать целый ряд, даже большое количество утопий такого рода, причем *ни одна* из них не будет повторять другую и, уж конечно, *ни одна* из них не обнаружится в эмпирической действительности в качестве реального общественного устройства; однако *каждая* из них претендует на то, что в ней выражена “идея” капиталистической культуры, и *вправе* на это претендовать, поскольку в *каждой* такой утопии действительно отражены известные, *значимые в своем своеобразии* черты нашей культуры, взятые из действительности и объединенные в идеальном образе. Ведь наш интерес к тем феноменам, которые выступают перед нами в качестве явлений культуры, всегда связан с их “культурным значением”, возникающим вследствие отнесения их к самым различным ценностным идеям. Поэтому так же, как существуют различные “точки зрения”, с которых мы можем рассматривать явления культуры в качестве значимых для нас, можно руководствоваться и самыми различными принципами отбора связей, которые надлежит использовать для создания идеального типа определенной культуры.

В чем же состоит значение подобных идеально-типических понятий для эмпирической науки в нашем понимании? Прежде всего следует подчеркнуть, что надо полностью отказаться от мысли, будто эти “идеальные” в чисто логическом смысле мысленные образования, которыми мы здесь занимаемся, в какой бы то ни было мере носят характер *долженствования*, “образца”. Речь идет о конструировании связей, которые представляются нашей *фантазии* достаточно мотивированными, следовательно, “объективно возможными”, а нашему номологическому знанию — *адекватными*.

Тот, кто придерживается мнения, что знание исторической действительности должно или может быть “непредвзятым” отражением “объективных” фактов, не увидит в идеальных типах никакого смысла. Даже тот, кто понял, что в реальной действительности нет “непредвзятости” в логическом смысле и что даже самые простые данные актов и грамот могут иметь какое бы то ни было научное значение лишь в соотнесении со “значимос-

тью”, а тем самым с ценностными идеями в качестве последней инстанции, все-таки сочтет, что смысл таких сконструированных исторических “утопий” состоит только в их наглядности, которая может представлять опасность для объективной исторической работы, а чаще увидит в них просто забаву. В самом деле, априорно вообще никогда нельзя установить, идет ли речь о чистой игре мыслей или о научно плодотворном образовании понятий; здесь также существует лишь один критерий: в какой мере это будет способствовать познанию конкретных явлений культуры в их взаимосвязи, в их причинной обусловленности и *значении*. Тем самым в образовании абстрактных идеальных типов следует видеть не цель, а *средство*.

При внимательном рассмотрении понятийных элементов в историческом изображении действительности сразу же обнаруживается следующее: как только историк делает попытку выйти за рамки простой констатации конкретных связей и установить *культурное значение* даже самого элементарного индивидуального события, “охарактеризовать” его, он оперирует (и *должен оперировать*) понятиями, которые могут быть точно и однозначно определены только в идеальных типах. Разве могут быть такие понятия, как “индивидуализм”, “империализм”, “феодализм”, “меркантилизм”, “конвенционально” и множество других понятийных образований подобного рода, с помощью которых мы, мысля и постигая действительность, пытаемся подчинить ее себе, разве могут быть они определены по своему содержанию посредством “беспристрастного” *описания* какого-либо конкретного явления или посредством абстрагированного сочетания черт, общих *многим* конкретным явлениям? Сотни слов в языке историка содержат такие неопределенные мысленные образы, идущие от безотчетной потребности выражения, значение которых лишь зримо ощущается, а не отчетливо мыслится. В бесконечном множестве случаев, особенно в области политической истории, стремящейся к изображению событий, неопределенность их содержания, безусловно, не наносит ущерба ясности картины. Здесь достаточно того, что в каждом отдельном случае *ощущается* то, что представлялось историку. Можно также удовлетвориться тем, что *частичная* определенность понятийного содержания мысленно представляется в его *относительной* значимости для данного случая.

Однако чем отчетливее должна быть осознана значимость явления культуры, тем настоятельнее становится потребность пользоваться ясными понятиями, которые определены не только частично, но и всесторонне. “Дефиниция” такого синтеза в историческом мышлении по схеме *genus proximum, differentia specifica*, конечно, просто бессмыслица; чтобы удостовериться в этом, достаточно произвести проверку. Такого рода установление значения слова применяется лишь в догматических науках, оперирующих силлогизмами. Простого “описательного разъединения” упомянутых понятий на их составные части также не существует; существовать может лишь видимость этого, так как все дело заключается в том, *какую* из составных частей следует считать существенной.

Попытка дать генетическую дефиницию понятийного содержания приводит к тому, что сохраняется только форма идеального типа в указанном выше смысле. Это — мысленный образ, не *являющийся* ни исторической, ни тем более “подлинной” реальностью. Еще менее он пригоден для того, чтобы служить схемой, в которую явление действительности может быть введено в качестве частного случая. По своему значению это чисто идеальное *пограничное* понятие, с которым действительность *сопоставляется, сравнивается*, для того чтобы сделать отчетливыми определенные значимые компоненты ее эмпирического содержания. Подобные понятия являют собой конструкции; в них мы строим, используя категорию объективной возможности, связи, которые наша ориентированная на действительность, научно дисциплинированная *фантазия* рассматривает в своем *суждении* как адекватные.

Идеальный тип в данной его функции — прежде всего попытка охватить “исторические индивидуумы” или их отдельные компоненты *генетическими* понятиями. Возьмем, например, понятия “церковь” и “секта”. Их можно, классифицируя, разбить на комплексы признаков; тогда не только граница между ними, но и содержание обоих понятий окажутся размытыми. Если же мы хотим постигнуть понятие “секта” генетически, например, в его соотношении с известными важными культурными значениями, которые “сектантский дух” имел для современной культуры, то *существенными* станут определенные признаки обоих понятий, так как они находятся в адекватной причинной связи с тем воздействием, о котором шла речь. Тогда понятия станут идеально-типическими, поскольку в полной понятийной *чистоте* данные явления либо вообще не встречаются, либо встречаются очень редко; здесь, как и повсюду, каждое не *чисто* классификационное понятие уводит нас от действительности. Однако дискурсивная природа нашего познания, то обстоятельство, что мы постигаем действительность только в сцеплении измененных представлений, постулирует подобное стенографирование понятий.

Наша фантазия, безусловно, может часто обходиться без такого точного понятийного формулирования в качестве средства *исследования*; однако для изображения, которое стремится быть однозначным, применение его в области анализа культуры в ряде случаев совершенно необходимо. Тот, кто это полностью отвергает, должен ограничиться формальным, например историко-правовым, аспектом культурных явлений. Космос *правовых* норм может быть, конечно, отчетливо определен в понятиях и одновременно (в *правовом* смысле!) сохранять *значимость* для исторической действительности. Однако социальная наука в нашем понимании занимается их *практическим значением*. Очень часто это значение может быть ясно осознано только посредством соотнесения эмпирической данности с ее идеальным пограничным случаем. Если историк (в самом широком значении данного слова) отказывается от попытки формулировать такой идеальный тип, считая его “теоретической конструкцией”, т.е. полагая, что для его конкретной позна-

вательной цели он неприемлем или не нужен, то в результате, как правило, оказывается, что этот историк, осознанно или неосознанно, пользуется другими подобными конструкциями, *не* формулируя их в определенных терминах и *не* разрабатывая их логически, или что он остается в сфере неопределенных “ощущений”.

Однако ничто не может быть опаснее, чем коренящееся в натуралистических предубеждениях *смещение* теории и истории, в форме ли веры в то, что в теоретических построениях фиксировано “подлинное” содержание, “сущность” исторической реальности, или в использовании этих понятий в качестве прокрустова ложа, в которое втискивают историю, или, наконец, в гипостазировании “идей” в качестве стоящей за преходящими явлениями “подлинной” действительности, в качестве реальных “сил”, действующих в истории.

Последнее представляет собой тем более реальную опасность, что под “идеями” эпохи мы привыкли понимать — и понимать в первую очередь — мысли и идеалы, которые *господствовали* над массами или над имевшими наибольшее историческое значение людьми рассматриваемой эпохи и тем самым были значимы в качестве компонентов ее культурного своеобразия. К этому присоединяется еще следующее: прежде всего то, что между “идеями” в смысле практической или теоретической направленности и “идеями” в смысле конструированного нами в качестве понятийного вспомогательного средства идеального *типа* эпохи существует определенная связь. Идеальный тип определенного общественного состояния, сконструированный посредством абстрагирования ряда характерных социальных явлений эпохи, может — и это действительно часто случается — представляться современникам практическим идеалом, к которому надлежит стремиться, или, во всяком случае, максимумом, регулирующей определенные социальные связи. Так обстоит дело с “идеями” “обеспечения продовольствием” и с рядом канонических теорий, в частности с теорией Фомы Аквинского, в их отношении к используемому теперь идеально-типическому понятию “городское хозяйство” средних веков, о котором шла речь выше. И прежде всего это относится к пресловутому “основному понятию” политической экономии, к понятию хозяйственной “ценности”.

От схоластики вплоть до Марксовой теории представление о чем-то “объективно” значимом, т.е. долженствующим быть, сливается с абстракцией, в основу которой положены элементы эмпирического процесса ценообразования. Эта идея, согласно которой “ценность” материальных благ должна регулироваться принципами “естественного права”, сыграла огромную роль в развитии культуры, отнюдь не только в средние века, и сохраняет свое значение и поныне. Она интенсивно влияла и на эмпирическое ценообразование. Однако *что* понимают под таким *теоретическим* понятием и что может быть таким образом действительно понято, доступно ясному, однозначному постижению *только* с помощью строгих, что означает идеально-типических, понятий; об этом следовало бы задуматься тем, кто

иронизирует над “робинзонадами” абстрактной теории, и воздержаться от насмешек, хотя бы до той поры, когда они смогут предложить нечто лучшее, т.е. *более очевидное*.

Каузальное отношение между исторически констатируемой, господствующей над умами *идеей* и теми компонентами исторической реальности, из которых может быть абстрагирован соответствующий данной идее идеальный *тип*, может, конечно, принимать самые различные формы. Важно только в принципе помнить, что они совершенно различны по своей природе. Однако к этому присоединяется следующее: *сами* подобные “идеи”, господствующие над людьми определенной эпохи, т.е. диффузно в них действующие, можно, если речь идет о каких-либо сложных мысленных образованиях, постигнуть со всей понятийной строгостью только *в виде идеального типа*, так как эмпирически они живут в умах неопределенного и все время меняющегося количества индивидов и обретают в них разнообразнейшие оттенки по форме и содержанию, ясности и смыслу.

Так, компоненты духовной жизни отдельных индивидов, например в определенную эпоху средневековья, которые можно рассматривать как “христианскую веру” этих индивидов, составили бы, конечно, *если бы* мы могли их полностью воспроизвести, хаос бесконечно дифференцированных и весьма противоречивых связей мыслей и чувств, несмотря на то, что средневековая церковь сумела достичь высокой степени единства веры и нравов. Однако когда встает вопрос, что же в этом хаосе было *подлинным* “христианством” средних веков, которым мы вынуждены постоянно оперировать как неким твердо установленным понятием, в чем же состоит то подлинно “христианское”, которое мы обнаруживаем в средневековых институтах, то оказывается, что и здесь мы в каждом отдельном случае пользуемся созданным нами чисто мысленным образованием. Оно являет собой сочетание догматов веры, норм церковного права и нравственности, правил образа жизни и бесчисленных отдельных связей, объединенных *нами* в “идею”-синтез, достичь которой без применения идеально-типических понятий мы вообще бы не могли.

Логическая структура систем понятий, в которых мы выражаем подобные “идеи”, и их отношение к тому, что нам непосредственно дано в эмпирической реальности, конечно, очень отличаются друг от друга. Сравнительно просто обстоит дело, если речь идет о тех случаях, когда над людьми властвуют и оказывают историческое воздействие какие-либо теоретические положения (или одно из них), которые легко могут быть выражены в формулах, как, например, учение Кальвина о предопределении или отчетливо формулируемые нравственные постулаты; такую “идею” можно расчленить на иерархическую последовательность мыслей, которые логически выводятся из таких теоретических положений. Однако и здесь часто игнорируется тот факт, что каким бы огромным по своему значению ни было чисто *логическое* воздействие мысли в истории — ярчайшим примером этого может служить марксизм, — эмпирически и исторически человеческое мышление следует толковать как *психологически*, а не как логически обусловленный процесс.

Идеально-типический характер такого синтеза исторически действенных идей проявляется отчетливее, если упомянутые основные положения и постулаты вообще не живут — или уже не живут — в умах индивидов, которые руководствуются мыслями, логически выведенными из этих постулатов или ассоциативно вызванными ими, поскольку некогда лежавшая в их основе “идея” либо отмерла, либо с самого начала воспринималась только в своих выводах. Еще отчетливее проявляется характер данного синтеза в качестве созданной *нами* “идеи” в тех случаях, когда упомянутые фундаментальные положения изначально либо неполно осознавались (или вообще не осознавались), либо не нашли своего выражения в виде отчетливых мысленных связей. Если же мы этот синтез осуществим, что очень часто происходит и должно происходить, то такая “идея” — например, “либерализма” определенного периода, “методизма” или какой-либо недостаточно продуманной разновидности “социализма” — окажется *чистым* идеальным типом, совершенно таким же, как синтез “принципов” какой-либо хозяйственной эпохи, от которого мы отталкивались. Чем шире связи, о выявлении которых идет речь, чем многограннее было их культурное значение, тем *больше* их сводное систематическое изображение в системе понятий и мыслей приближается по своему характеру к идеальному типу, тем в *меньшей* степени можно обходиться *одним* понятием такого рода, тем естественнее и неизбежнее все повторяющиеся попытки осознать *новые* стороны значимости посредством конструирования новых идеально-типических понятий.

Все изображения “*сущности*” христианства, например, являют собой идеальные типы, всегда и неизбежно весьма относительной и проблематической значимости, если рассматривать их как историческое воспроизведение эмпирической реальности; напротив, они обладают большой эвристической ценностью для исследования и большой систематической ценностью для изображения, если пользоваться ими как понятийными средствами для *сравнения* и сопоставления с ними действительности. В этой их функции они совершенно необходимы. Подобным идеально-типическим изображениям обычно присущ еще более усложняющий их значение момент. Они хотят быть или неосознанно являются идеальными типами не только в *логическом*, но и в *практическом* смысле, а именно стремятся быть “образцами”, которые, если вернуться к нашему примеру, указывают на то, каким христианство, по мнению исследователя, *должно* быть, что исследователь считает в нем “*существенным*”, *сохраняющим постоянную ценность*. Если это происходит осознанно или, что случается чаще, неосознанно, то в идеальные типы вводятся идеалы, с которыми исследователь соотносит христианство как с *ценностью*.

Задачи и цели, на которые данный исследователь ориентирует свою “идею” христианства, могут — и всегда будут — очень отличаться от тех ценностей, с которыми соотносили христианство ранние христиане, люди того времени, когда данное учение возникло. В этом своем значении “идеи”,

конечно, — уже не чисто *логические* вспомогательные средства, не понятия, в сравнении с которыми сопоставляется и *измеряется* действительность, а идеалы, с высоты которых о ней выносятся оценочное *суждение*. Речь идет уже *не о* чисто теоретической операции *отнесения* эмпирических явлений к ценностям, а об оценочных *суждениях*, введенных в “понятие” христианства.

Именно *потому*, что идеальный тип претендует здесь на эмпирическую *значимость*, он вторгается в область оценочного *толкования* христианства — это уже не эмпирическая наука; перед нами личное признание человека, а *не* образование идеально-типического понятия. Несмотря на такое принципиальное различие, *смещение* двух в корне различных значений “идеи” очень часто встречается в историческом исследовании.

Такое смещение уже вполне близко, как только историк начинает развивать свои “взгляды” на какое-либо историческое лицо или какую-либо эпоху. Если Шлоссер, следуя принципам рационализма, применял не знающие изменения этические масштабы, то современный, воспитанный в духе релятивизма историк, стремясь, с одной стороны, понять изучаемую им эпоху “изнутри”, с другой — вынести свое “суждение” о ней, испытывает потребность в том, чтобы вывести масштабы своего суждения из “материала”, т.е. в том, чтобы “идея” в значении *идеала* выросла из “идеи” в значении “идеального типа”.

Эстетическая притягательность подобного способа приводит к тому, что граница между этими двумя сферами постоянно стирается, в результате чего возникает половинчатое решение, при котором историк не может отказать от оценочного суждения и одновременно пытается уклониться от ответственности за него. В такой ситуации *элементарным долгом самоконтроля ученого* и единственным средством предотвратить подобные недоразумения является резкое разделение между *сопоставительным* соотношением действительности с идеальными *типами* в логическом смысле слова и оценочным *суждением* о действительности, которое отправляется от *идеалов*.

“Идеальный тип” в нашем понимании (мы вынуждены повторить это) есть нечто, в отличие от *оценивающего* суждения, совершенно индифферентное и не имеет ничего общего с каким-либо иным, не чисто *логическим* “совершенством”. Есть идеальные типы борделей и идеальные типы религий, а что касается первых, то могут быть идеальные типы таких, которые с точки зрения современной полицейской этики технически “целесообразны”, и таких, которые прямо противоположны этому.

Мы вынуждены отказать здесь от подробного рассмотрения самого сложного и интересного феномена — вопроса о логической структуре *понятия государства*. Заметим лишь следующее: если мы зададим вопрос, что в эмпирической действительности соответствует идее “государства”, то обнаружим бесконечное множество диффузных и дискретных действий и пассивных реакций, фактически и юридически упорядоченных связей, либо

единичных по своему характеру, либо регулярно повторяющихся; связей, объединенных идеей, которая является верой в действительно значимые нормы или долженствующие быть таковыми и в отношении господства-подчинения между людьми.

Эта вера отчасти являет собой мысленно развитое духовное достояние; отчасти же, смутно ощущаемая или пассивно воспринятая в самой разнообразной окраске, она существует в умах людей, ксгорые, если бы они действительно ясно *мыслили* “идею” как таковую, не нуждались бы в “общем учении о государстве”, которое должно быть из нее выведено.

Научное понятие государства, как бы оно ни было сформулировано, всегда является синтезом, который *мы* создаем для определенных целей познания. Однако вместе с тем этот синтез в какой-то мере абстрагирован из малоотчетливых синтезов, обнаруживаемых в мышлении исторических людей. Впрочем, конкретное содержание, в котором находит свое выражение в этих синтезах современников историческое “государство”, также может быть сделано зримым только посредством их ориентации на идеально-типические понятия.

Не вызывает также ни малейшего сомнения, что первостепенное практическое значение имеет характер того, как всегда несовершенные по своей логической форме синтезы создаются современниками, каковы *их* идеи о государстве (так, например, немецкая метафизическая идея “органического” государства в ее отличии от “делового” американского представления). Другими словами, и здесь долженствующая быть значимой или *мыслимая* значимой *практическая* идея и конструированный с познавательной целью теоретический идеальный *тип* движутся параллельно, постоянно проявляя склонность переходить друг в друга.

Выше мы намеренно рассматривали “идеальный тип” преимущественно (хотя и не исключительно) как мысленную конструкцию для измерения и систематической характеристики *индивидуальных*, т.е. значимых в своей единичности связей, таких, как христианство, капитализм и пр. Это было сделано для того, чтобы устранить распространенное представление, будто в области явлений культуры абстрактно *типическое* идентично абстрактно *родовому*, что не соответствует истине. Не имея возможности дать здесь анализ многократно обсуждаемого и в значительной степени дискредитированного неправильным применением понятия “типическое”, мы полагаем — все наше предшествующее изложение свидетельствует об этом, — что образование типических понятий в смысле исключения “случайного” также происходит именно в сфере “исторических *индивидуумов*”.

Конечно, и те *родовые* понятия, которые мы постоянно обнаруживаем в качестве компонентов исторического изложения и конкретных исторических понятий, можно посредством абстракции и усиления определенных существенных для них понятийных элементов превратить в идеальные типы. Именно это чаще всего происходит на практике и являет собой наиболее важное применение идеально-типических понятий; каждый *индивидуальный*

идеальный тип составляется из понятийных *элементов*, родовых по своей природе и превращенных в идеальные типы. И в этом случае обнаруживается специфически логическая функция идеально-типических понятий.

Простым родовым понятием в смысле комплекса признаков, общих для ряда явлений, выступает, например, понятие “обмен”, если отвлечься от *значения* понятийных компонентов, т.е. просто анализировать повседневное словоупотребление. Если же соотнести данное понятие с “законом предельной полезности” и образовать понятие “экономический обмен” в качестве экономического *рационального* процесса, то последнее, как вообще любое полностью развитое понятие, будет содержать суждение о “типических” *условиях* обмена. Оно примет *генетический* характер и тем самым станет в логическом смысле идеально-типическим, т.е. отойдет от эмпирической действительности, которую можно только сравнивать, соотносить с ним. То же самое относится ко всем так называемым “основным понятиям” политической экономии: в *генетической* форме они могут быть развиты только в качестве идеальных типов.

Противоположность между простыми родовыми понятиями, которые просто объединяют общие свойства *эмпирических* явлений, и родовыми *идеальными* типами, такими, например, как идеально-типическое понятие “сущности” ремесла, в каждом отдельном случае, конечно, стерта. Однако ни одно родовое понятие как таковое не носит характер “типического”, а чисто родового “среднего” *типа* вообще не существует. Во всех тех случаях, когда мы, например, при статистическом обследовании говорим о “типичных” величинах, речь идет о чем-то большем, чем средний тип.

Чем в большей степени речь идет о простой классификации процессов, которые встречаются в действительности как массовые явления, тем в большей степени речь идет о родовых понятиях; напротив, чем в большей степени создаются понятия сложных исторических связей исходя из тех их компонентов, которые лежат в основе их специфического *культурного значения*, тем в большей степени понятие — или система понятий — будет приближаться по своему характеру к *идеальному* типу. Ведь цель образования идеально-типических понятий всегда состоит в том, чтобы полностью довести до сознания не родовые признаки, а своеобразие явлений культуры.

М. Вебер

СМЫСЛ “СВОБОДЫ ОТ ОЦЕНКИ”

Под оценкой в дальнейшем следует понимать (во всех тех случаях, когда прямо не высказывается или само собой не разумеется что-либо иное) “*практическую*” оценку доступного влиянию наших действий явления как

Источник: Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. М.И. Левиной. М.: Прогресс, 1990. С. 555—561.

достойного порицания или одобрения. Проблема “свободы” определенной науки от оценок такого рода, следовательно, значимость и смысл этого логического принципа отнюдь не тождественны совсем другому вопросу, на котором мы считаем необходимым кратко остановиться. Речь идет о том, *следует ли в университетском преподавании “признаваться”* в своих практических оценках, основанных на определенных этических воззрениях, культурных идеалах или иных мировоззренческих принципах. Предметом научной дискуссии этот вопрос быть не может, ибо он по самой своей природе полностью зависит от практических оценок и именно поэтому не допускает решения. Существует ряд различных точек зрения (мы коснемся здесь только крайних из них):

а) сторонники первой точки зрения полагают, что доступные чисто логическому рассмотрению и чисто эмпирические проблемы действительно следует отделять от практических, этических и мировоззренческих оценок, но что тем не менее (или, быть может, именно поэтому) проблемы обеих категорий должны присутствовать в университетском преподавании;

б) согласно противоположной точке зрения, все вопросы практических оценок должны быть по возможности устранены из преподавания, даже если упомянутое разделение *не* может быть логически *последовательно* проведено.

Точку зрения, изложенную в пункте “б”, я считаю неприемлемой. Мне представляется прежде всего нереальным нередко совершаемое в нашей науке деление практических оценок на *“партийно-политические”* и оценки иного характера, деление, направленное лишь на то, чтобы скрыть от слушателей практическое значение внушаемых им взглядов. Что же касается представления о профессорской кафедре как “обители бесстрастности”, о необходимости, следовательно, устранить вопросы, способные пробудить “горячую” дискуссию, то эта точка зрения (если вообще обращаться в лекциях к оценкам) носит чисто бюрократический характер, и каждый независимый преподаватель, безусловно, ее отвергнет.

Наиболее приемлемыми из тех, кто счел *невозможным* отказаться от практических оценок в эмпирическом исследовании, были самые страстные в своих высказываниях ученые, такие, например, как Трейчке, отчасти Моммзен. Ибо именно подчеркнуто эмоциональное акцентирование позволяет слушателю *в свою очередь* оценить, в какой мере оценка преподавателя, будучи субъективной, вносит некоторую неясность в его изложение, т.е. самому совершить то, что оказалось недоступным темпераментной натуре преподавателя. Тем самым подлинный пафос сохраняет силу своего воздействия на юные души, что, как я полагаю, и является целью сторонников практических оценок в университетском преподавании, которые стремятся предотвратить смещение в сознании слушателей различных сфер, а это неизбежно происходит в тех случаях, когда установление эмпирических данных и требование занять определенную практическую позицию в решении важных жизненных проблем погружаются в одинаковую бесстрастность.

Точка зрения, изложенная в пункте “а”, представляется мне приемлемой (причем именно с субъективной позиции ее сторонников) единственно и только тогда, когда преподаватель видит свой прямой долг в том, чтобы в каждом отдельном случае со всей отчетливостью пояснять своим слушателям, и в первую очередь уяснить *самому себе* (пусть даже это сделает его лекции менее привлекательными), *что* является в его лекциях чисто логическим выводом или чисто эмпирическим установлением фактов и *что* носит характер практической оценки. Мне представляется такая позиция прямым требованием интеллектуальной честности, если, конечно, признавать различие рассматриваемых здесь сфер; в таком случае это — абсолютный минимум требуемого.

Что же касается вопроса, следует ли *вообще* (даже с принятой выше оговоркой) высказывать с кафедры практические оценки, то это и само по себе является вопросом практической университетской политики и, следовательно, может быть решено только в рамках тех задач, которые данный индивид, отправляясь от *своих* оценок, хотел бы поставить перед университетом. Тот, кто еще сегодня видит главную задачу университета и тем самым — *в силу* своей квалификации университетского преподавателя — свою собственную задачу в том, чтобы воспитывать людей, формировать их политические, этические, эстетические, культурные и иные взгляды, отнесется к роли университета совсем по-иному, чем тот, кто исходит из того факта (и его последствий), что действительно значимое воздействие на слушателей достигается сегодня в университетских аудиториях только посредством *специальных* знаний, сообщаемых квалифицированными *специалистами*, и что единственной специфической добродетелью, которую следует воспитывать в студентах, является “интеллектуальная честность”.

Первую точку зрения можно, как и вторую, принимать исходя из самых различных позиций. Что касается последней (которую я лично разделяю), то основой ее может быть как безмерно высокая, так и весьма скромная оценка значения “специального” образования. Так, например, разделять данную точку зрения можно совсем не из стремления по возможности превратить всех людей в “чистых специалистов” в самом прямом смысле этого выражения; напротив, именно потому, что сторонники данной точки зрения стремятся *не* смешивать последние, глубоко личные жизненные решения, к которым каждый человек должен прийти сам, со специальным образованием — как ни велико его значение не только для дисциплины мышления вообще, но косвенным образом и для самодисциплины и всего нравственного облика молодого человека, — они хотят, чтобы решение этих задач слушатель обрел в собственной совести, а *не* почерпнул из лекции профессора.

Благотворный предрассудок профессора Шмоллера в вопросе об оценочных суждениях, высказываемых с кафедры, мне лично представляется вполне объяснимым в качестве отзвука той великой эпохи, в создании которой участвовали он и его друзья. Однако полагаю, что и он не может не заме-

тить, в какой мере для молодого поколения изменились чисто фактические обстоятельства в одном важном пункте. Сорок лет тому назад среди ученых нашей дисциплины было широко распространено убеждение, что оценочные суждения в области практической политики должны прежде всего носить этический характер (впрочем, сам Шмоллер далеко не полностью разделяя это мнение).

В настоящее время, как легко заметить, дело уже обстоит совсем не так, и прежде всего в кругах сторонников оценочных суждений в университетском преподавании, — установить данный факт не составляет труда. В наши дни легитимность оценочных суждений в лекциях провозглашается уже не во имя этического требования, чьи (относительно) незамысловатые постулаты справедливости отчасти были, отчасти казались (относительно) простыми как по своему обоснованию, так и по своим последствиям, и прежде всего (относительно) не личностными, поскольку они были однозначно специфически *надличностными*. Напротив, теперь (вследствие неотвратимого развития) речь идет о пестром наборе “культурных ценностей”, за которыми в действительности скрываются субъективные *претензии* к ходу культурного развития или — уже совершенно открыто — так называемые “личностные права” преподавателя. Можно, конечно, возмущаться точкой зрения, согласно которой из всех видов пророчества лишь это, *профессорское пророчество*, носящее личностную окраску, совершенно невыносимо, однако опровергнуть ее невозможно — именно потому, что и в ней содержится “практическая оценка”. Ведь это — беспрецедентная ситуация, когда многочисленные облеченные доверием государства пророки берут на себя смелость вешать — не на улице или в церквях или каким-либо иным публичным образом, а если *privatim*, то отнюдь не в кругу избранных сторонников какой-либо религиозной секты, которая признает себя таковой и проповедует свое вероучение, — осмеливаясь предлагать решение важных проблем мировоззренческого характера “во имя науки” в тиши аудиторий, охраняемых государственными привилегиями, в якобы объективной, никем не контролируемой, не допускающей дискуссий, следовательно, в тщательно охраняемой обстановке.

Некогда Шмоллер со всей решительностью защищал следующий принцип: все то, что происходит в аудиториях, должно оставаться вне публичных дискуссий. Несмотря на то, что в ряде случаев такое толкование может привести к неприятным последствиям и в области эмпирической науки, принято считать, и я разделяю эту точку зрения, что “лекция” не должна быть “докладом”, что строгая объективность и трезвая научность лекционного курса могут пострадать от вмешательства общественности, например прессы, в результате чего педагогическая цель не будет достигнута. Однако такая привилегия бесконтрольности уместна, как нам представляется, только там, где речь идет о чисто *профессиональной* квалификации профессора. Что же касается личного пророчества, то в этой области не существует профес-

сиональной квалификации, а поэтому не может быть и упомянутой привилегии. Прежде всего недопустимо, пользуясь *положением* студента, *вынужденного* ради своего дальнейшего продвижения в жизни поступать в определенные учебные заведения и слушать лекции тамошних профессоров, не только сообщать ему действительно необходимые знания, пробуждая и дисциплинируя его рецептивные способности и мышление, но одновременно внушать, не встречая противоречия, свое подчас действительно довольно интересное (а иногда достаточно ординарное) так называемое “мировоззрение”.

Для пропаганды своих практических идеалов профессор, как и любой другой человек, легко может воспользоваться иными средствами, а если это его не устраивает — создать их в форме, соответствующей его намерениям, о чем свидетельствует ряд честных попыток такого рода. Профессору не следует претендовать на то, что в силу своего положения он хранит в своем портфеле маршалский жезл и полномочия государственного деятеля (или реформатора культуры), между тем, пропагандируя свои государственные (или культурно-политические) взгляды, он поступает именно так. На страницах прессы, на собраниях, в союзах различного рода, в своих статьях он может (и должен) в любой форме, доступной каждому подданному государству, совершать то, что велит ему Бог или дьявол.

Однако в *аудитории* преподаватель должен в наши дни прежде всего обучить студента следующему: 1) способности находить удовлетворение в выполнении поставленной перед ним скромной задачи, 2) признанию фактов, в том числе — и в первую очередь — таких, которые неудобны для него лично, и умению отделять их констатацию от оценивающей их позиции, 3) умению дистанцироваться при изучении научной проблемы, в частности, подавлять потребность выставлять на первый план свои вкусы и прочие качества, о которых его не спрашивают.

Мне представляется, что в наши дни данное требование несравнимо актуальнее, чем сорок лет назад, когда эта проблема вообще не существовала в такой ее форме. Ведь никто не верил в те времена, что “личность” есть (и должна составлять) “единство” в том смысле, что она как бы терпит урон, если не утверждает себя всякий раз, когда ей представляется такая возможность.

В решении каждой *профессиональной* задачи *вещь* как таковая заявляет о своих правах и требует уважения ее собственных законов. При рассмотрении любого специального вопроса ученый должен ограничить свою задачу и устранить все, непосредственно не относящееся *к делу*, прежде всего свою любовь или ненависть. *Неверно*, будто сильная личность выражает себя в том, чтобы при любых обстоятельствах проявлять интерес в свойственной только ей “личной ноте”. Хотелось бы, чтобы именно подрастающее поколение вновь привыкло к мысли, что нельзя “стать личностью” в результате заранее принятого решения и что (быть может) к этому ведет лишь один путь, а именно — способность полностью отдаваться “делу”, каким бы оно

ни было в каждом отдельном случае, как и проистекающее отсюда “требование дня”. Вносить личные мотивы в специальное объективное исследование противоречит самой сущности научного мышления. Отказываться от специфического самоограничения, необходимого для профессионального подхода, — значит лишить свою “профессию” ее единственного смысла, еще существующего в наши дни. И где бы ни утверждался этот модный культ личности — на престоле, в канцелярии или на кафедре, — он, будучи почти всегда внешне эффективным, по существу повсеместно оказывается мелочным и вредным для дела. Полагаю, мне нет необходимости указывать на то, что такого рода культ личности, весь смысл которого только в его “личностном” характере, безусловно, не имеет никакого отношения к позиции тех противников нашей точки зрения, о которой здесь идет речь. Отличие их взглядов заключается отчасти в том, что они видят задачу лектора в ином свете, чем мы, отчасти же в том, что они исходят из других идеалов воспитания, которые я уважаю, но не разделяю. Однако следует принять во внимание не только их намерения, но и то неизбежное *воздействие*, которое они, легитимируя его своим авторитетом, оказывают на молодое поколение, и без того уже склонное к преувеличенному представлению о своей значимости.

<...>

Я не вижу необходимости дискутировать о том, “трудно” ли разграничить эмпирическое исследование, с одной стороны, и практическую оценку — с другой. Это действительно трудно. Все мы, в том числе и автор статьи, выставляющий данное требование, постоянно сталкиваемся с такой трудностью. Однако сторонникам так называемого “этического направления” в политической экономии следовало бы знать, что и нравственный закон невыполним, но он тем не менее нам “задан”. Если обратиться к своей совести, то, быть может, станет очевидным, что следование данному постулату трудно прежде всего потому, что мы неохотно *отказываемся* от возможности проникнуть в столь интересную сферу оценок, тем более если это стимулируется привнесением “личного тона”.

Каждый преподаватель знает, конечно, как проясняются лица студентов и возбуждается их интерес, как только он обращается к личным “признаниям”, и насколько увеличивается число слушателей его лекций, если студенты рассчитывают на то, что такого рода “признания” будут сделаны. Известно также, что при существующей в университетах конкуренции, связанной с посещаемостью лекций, предпочтение часто отдается самому ничтожному пророку, лекции которого проходят при полной аудитории, а не *серьезному* ученому — разве что это пророчество слишком несомненно с существующими политическими или конвенциональными требованиями. Лишь *псевдосвободный* от оценок пророк материальных интересов превосходит и его по своим шансам вследствие прямого влияния указанного фактора на политические силы.

Я нахожу все это довольно печальным и не могу согласиться с тем, что требование устранить из лекций практические оценки “мелочно”, что это сделает лекции “скучными”. Оставляя в стороне вопрос, следует ли стремиться к тому, чтобы лекции по специальным эмпирическим наукам были прежде всего “интересными”, я считаю нужным высказать опасение, что чрезмерный интерес, достигнутый привнесением в лекции высказываний личного характера, может надолго притупить вкус студентов к серьезным занятиям.

Я не считаю нужным дискутировать и полностью признаю мнение, согласно которому именно *видимость* устранения всех практических оценок с помощью хорошо известной схемы — “заставить говорить факты” — суггестивно вводит эти оценки. Ведь именно так — и вполне законно для их целей — строят свои выступления в парламенте и в ходе избирательной кампании наши лучшие ораторы. Едва ли необходимо указывать на то, что применение подобных методов в университетском преподавании было бы совершенно недопустимым злоупотреблением, именно с точки зрения вышеназванного разграничения сфер. Однако если проявление нелояльности ведет к тому, что видимость выполнения требования выдается за истину, то это еще не ставит под сомнение требование как таковое. Сводится же оно к следующему: *если* преподаватель не может отказаться в своих лекциях от практических оценок, он обязан сделать это совершенно *очевидным* и для своих слушателей, и для *себя самого*.

Самым же решительным образом следует бороться с довольно распространенным представлением, будто путь к научной “объективности” проходит через сопоставление различных оценок и установление как бы некоего “дипломатического” компромисса между ними. “Средний” путь не только *совершенно так же* не доказуем средствами эмпирических наук, как “самые крайние оценки”, но и нормативно наименее однозначен в сфере *оценочных суждений*. Этому методу не место на кафедре, он применим в политических программах, в стенах бюро или парламентов. Науки, как нормативные, так и эмпирические, могут оказать политическим деятелям и соперничающим партиям только *одну* неоценимую услугу, а именно: 1) указать, какие “последние” позиции *мыслимы* для решения данной практической проблемы, и 2) охарактеризовать фактическое положение дел, с которым приходится считаться при выборе между различными позициями. Тем самым мы подошли к нашей проблеме.

С термином “оценочное суждение” связано глубокое недоразумение, которое породило чисто терминологический и поэтому совершенно бесплодный спор, ни в коей мере не способствующий пониманию существа дела. Как уже было сказано, следует полностью отдавать себе отчет в том, что в рамках наших дисциплин речь идет о *практических* оценках социальных фактов, которые рассматриваются с этической, культурной или какой-либо иной точки

зрения как желаемые или нежелаемые. Между тем, несмотря на все то, что было сказано на эту тему, ряд исследователей, “возражая” нам, с полной серьезностью указывает на то, что науке нужны результаты: 1) “ценные”, т.е. оцененные как логически и фактически *правильные*, и 2) ценные, т.е. *важные* по своему научному значению и что уже в выборе материала присутствует момент “оценки”.

Возникало время от времени и такое поразительное недоразумение, будто мы утверждаем, что *объектом* эмпирической науки не могут быть “субъективные” оценки людей (тогда как социология, а в области политической экономии теория предельной полезности всецело основаны на обратной предпосылке). Между тем речь идет только о весьма тривиальном требовании, которое сводится к тому, чтобы исследователь отчетливо *разделял* две группы гетерогенных проблем: установление эмпирических фактов (включая выявленную исследователем “оценивающую” позицию эмпирически исследуемых им людей), с одной стороны, и *собственную* практическую оценку, т.е. свое *суждение* об этих фактах (в том числе и о превращенных в объект эмпирического исследования “оценках” людей), рассматривающее их как желательные или нежелательные, т.е. свою в этом смысле оценивающую позицию — с другой. Автор одной в целом серьезной работы пишет: исследователь может ведь принять и свою собственную оценку как “факт” и сделать из него соответствующие выводы. Эта мысль столь же бесспорна, сколь бесспорно заблуждение, в которое вводит форма ее выражения. Можно, конечно, до начала дискуссии прийти к такому, например, соглашению, что определенная практическая мера, скажем, издержки по усилению армии, будут покрыты имущими классами, можно рассматривать такое соглашение как “предпосылку” дискуссии и обсуждать только *средства* его реализации. В ряде случаев это целесообразно. Однако такое сообща принятое практическое намерение называется не “фактом”, а “априорно поставленной целью”. Отличие его от “факта”, по существу, очень скоро и выявляется в ходе дискуссии о “средствах” реализации — разве что “предпосланная” в качестве недискутабельной “цель” окажется столь же конкретной, как, например, решение закурить сигару. Впрочем, в этом случае вряд ли понадобится и дискуссия о средствах. Почти во *всех* случаях совместно сформулированного намерения, например в вышеприведенном примере, становится очевидным, что в ходе дискуссии о средствах выявляется, сколь различно понимание отдельными людьми этой как будто однозначной цели.

В ряде случаев может также оказаться, что преследование совершенно *одинаковой* цели связано с самыми различными мотивами, что влияет и на дискуссии о средствах ее реализации. Однако оставим этот вопрос. Ведь никому еще не приходило в голову возражать против того, что *можно* отпираться от определенной общей цели и спорить только о средствах ее реализации и что такая дискуссия будет носить чисто эмпирический характер. Но

ведь центральной проблемой является именно выбор цели (а не “средств” для однозначно данной цели), следовательно, то, в каком смысле оценка, которую кладет в основу своего выбора отдельный индивид, *не* принимается как “факт” и может служить объектом научной *критики*. Если это непонятно, все дальнейшие разъяснения ни к чему не приведут.

Не подлежит дискутированию, собственно говоря, и такой вопрос: в какой мере практические оценки, особенно этические, могут в свою очередь претендовать на *нормативные* достоинства, следовательно, отличаться по своему характеру от такого, например, вопроса, надлежит ли отдавать предпочтение блондинкам или брюнеткам, или от других подобных вкусовых суждений. Это — проблемы аксиологии, а не методики эмпирических дисциплин. Для последней все дело только в том, что значимость практических императивов в качестве нормы, с одной стороны, и значимость истины в установлении эмпирических фактов — с другой, находятся в плоскостях совершенно гетерогенной проблематики; если не понимать этого и пытаться объединить две указанные сферы, будет нанесен урон специфическому достоинству *каждой* из них. Это в особенно сильной степени проявилось, как мне кажется, в работе профессора Шмоллера. Уважение к нашему именитому ученому не позволяет мне обойти молчанием то, с чем я не могу согласиться в его концепции.

Прежде всего, я считаю необходимым опровергнуть мнение, будто сторонники “свободы от оценочных суждений” видят в самом факте колебания значимых оценивающих позиций, как в истории, так и при индивидуальном решении, доказательство безусловно “субъективного” характера, например, этики. Эмпирические факты также часто вызывают горячие споры, и мнение, следует ли данного человека считать подлецом, оказывается в ряде случаев значительно более единодушным, чем согласие (именно специалистов) по поводу толкования испорченной рукописи. Утверждение Шмоллера о растущем конвенциональном сближении всех вероисповеданий и людей в основных вопросах практических оценок резко противоречит моему впечатлению. Впрочем, это не имеет прямого отношения к делу. Опровергнуть следует, во всяком случае, то, что наличие подобной созданной конвенциональностью фактической очевидности ряда пусть даже широко распространенных практических позиций может удовлетворить ученого.

Специфическая функция науки состоит, как я полагаю, в противоположном: именно конвенционально само собой разумеющееся является для нее *проблемой*. Ведь в свое время Шмоллер и его друзья сами исходили из этого. Далее, то обстоятельство, что *каузальное* воздействие *фактически* существовавших этических или религиозных убеждений на хозяйственную жизнь в ряде случаев исследовалось, а подчас и высоко оценивалось, не должно означать, что поэтому следует *разделять* или даже только считать

“ценными” упомянутые убеждения, оказавшие, быть может, большое каузальное воздействие. И наоборот, что признание высокой ценности какой-либо этической или религиозной идеи ни в коей мере еще не означает, что такой же позитивный предикат распространяется также и на необычные последствия, к которым привело или могло бы привести ее осуществление.

Подобные вопросы не решаются с помощью установления фактов; каждый человек выносит здесь свое суждение в зависимости от своих религиозных или каких-либо иных практических оценок. Все это не имеет никакого отношения к обсуждаемому нами вопросу.

Отвергаю я со всей решительностью иное, а именно представление, будто “реалистическая” наука, занимающаяся проблемами этики, т.е. выявляющая фактическое влияние, которое условия жизни определенной группы людей оказывали на преобладающие там этические воззрения, а последние в свою очередь — на условия жизни этих людей, будто такая наука в свою очередь создает “этику”, способную дать какое-либо определение того, что *следует* считать значимым. Это столь же невозможно, как невозможно посредством “реалистического” изложения астрономических представлений китайцев установить, правильна ли их астрономия; целью такого изложения может быть только попытка показать, какие практические мотивы лежали в основе этих астрономических занятий, как китайцы изучали астрономию, к каким результатам они пришли и по каким причинам, подобно тому как установление факта, что методы римских агрименсоров или флорентийских банкиров (в последнем случае — зачастую при разделе значительных наследств) часто приводили к результатам, несовместимым с тригонометрией или с таблицей умножения, не может служить основанием для дискуссии об их значимости.

Эмпирико-психологическое и историческое исследование определенной оценочной позиции в аспекте ее индивидуальной, социальной или политической обусловленности может только одно: *понимая, объяснить* ее. И это немало. Не только вследствие достигаемого таким образом вторичного (не научного) результата, чисто личного характера, позволяющего быть “справедливее” по отношению к чужому мнению (действительно иному или представляющемуся таковым). Сказанное чрезвычайно важно и в научном отношении. Во-первых, при изучении эмпирической каузальности в поведении людей это позволяет проникнуть в их *действительно* последние мотивы. Во-вторых, в дискуссии, где звучат различные (действительно иные или представляющиеся таковыми) оценочные суждения, это помогает понять действительные ценностные позиции сторон. Ведь подлинный смысл дискуссии *ценностного* характера состоит в постижении того, что в самом деле имеет в виду мой противник (но также и я сам), т.е. действительно серьезные, а не мнимые ценности обеих сторон, и в том, чтобы тем самым занять определенную ценностную позицию.

Следовательно, требование “свободы от оценочных суждений” в эмпирическом исследовании отнюдь не означает, что дискуссии на эту тему объявляются бесплодными или даже бессмысленными, напротив, понимание их подлинного смысла служит предпосылкой всех полезных обсуждений такого рода. Они просто заранее допускают возможность принципиальных и непреодолимых отклонений в главных оценках. В то же время “все понять” отнюдь не означает “все простить”, и вообще понимание чужой точки зрения совсем не обязательно ведет к ее оправданию. Напротив, с такой же, а часто и с большей вероятностью оно ведет к ясному постижению того, почему и в чем согласия не может быть. Однако такое понимание и есть постижение истины, для этого и ведутся “дискуссии о ценностях”.

3

ПОЗИТИВИЗМ И АНТИПОЗИТИВИЗМ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ

Дж. Ландберг

Перспективы социологии как науки

<...> Кратко изложенные выше подходы и обоснования обычно принято считать сутью научного метода. Ценность применения этого метода для понимания физических явлений и управления ими, как правило, принимается на веру. Даже при беглом взгляде на современную западную цивилизацию невозможно не заметить одно явление, резко выделяющееся на фоне остальных по своему значению, а именно: поразительное развитие физики и ее активное использование для управления физическим миром.

Тот же беглый взгляд обнаруживает относительно хаотичное и неконтролируемое положение в сфере человеческих отношений. Каждый день приносит новости о конфликтах, кровопролитиях, беспорядках, преступлениях и несчастьях, причина которых — несовершенство регулирования человеком своих отношений с себе подобными. Лишь совсем недавно стала получать поддержку идея, согласно которой научный метод, оказавшийся столь успешным в деле понимания физического мира, может оказаться столь же действенным в деле понимания общественных отношений и установления контроля за ними.

По мере развития данной идеи все больший интерес приобретал вопрос о применимости данного метода к общественным явлениям. В ходе дебатов и умозрительных построений по данному вопросу высказывается ряд возражений со стороны тех, кто придерживается по нему негативной точки зрения. Причем эти возражения кажутся их авторам однозначным доказатель-

Источник: Lundberg G.A. Social Research. A Study in Methods of Gathering Data. N.Y.; L.; Toronto: Longmans: Green and Co., 1942. P. 426—436. Пер. с англ. В. Малыгина.

ством невозможности существования социальной науки в том смысле, в котором понятие науки используется в химии или физике. Поэтому на данном этапе желательно проанализировать эти возражения.

Большинство возражений против идеи точной социальной науки (наук) проистекает из интуитивного ощущения, что между физическими и социальными данными существуют определенные внутренние различия, препятствующие либо почти полностью сводящие на нет возможность использования научного метода в исследовании социальных явлений. Это возражение, как принято считать, отражает глубоко укоренившийся представление, согласно которому наука в конечном счете — это область скорее предмета, нежели метода. Более конкретные и детальные возражения являются в значительной степени производными приведенного основного аргумента. Поэтому в дальнейшем будет полезно рассмотреть те различия между социальными и физическими явлениями, которые считаются ключевыми для формулировки научных законов социального поведения.

Начнем с того, что история науки содержит ряд данных, заставляющих задуматься и существенно проясняющих вопрос о применимости научного метода в новых областях. Вопрос о том, что именно является истинной или возможной областью науки, отнюдь не нов. Он так же стар, как и сама наука. Оказывается, надлежащая и возможная области научного исследования всегда определялись таким образом, что они точно совпадали с той областью знаний (доменом), в рамках которой наука на тот период создавалась и получала признание.

Как отмечает Пирсон:

“Согласно школе, которую мы рассматриваем, всякий раз, когда наука достигает успеха в постижении истины, именно в этой самой области признается легитимность научных проблем... Если же наука не может дать объяснения, утверждают, что ее метод неадекватен, что существует какой-то иной, не причинно-следственный тип связи, некие новые, пока не выясненные правила взаимоотношений. В этих областях, говорят нам, проблемы становятся философскими и должны анализироваться посредством метода философии... Полагаю, что те области исследований, куда наука еще не проникла и где ученый пока признает свое незнание, сильно напоминают средневековые алхимию, астрологию и колдовство. Либо они содержат факты, которые по природе своей нереальны, концепции, являющиеся внутренне противоречивыми и абсурдными и поэтому не поддающиеся анализу научным, либо каким-то иным разумным методом, либо, с другой стороны, причина нашего невежества — неадекватная классификация и игнорирование научного метода?”¹

¹ Pearson K. The Grammar of Science. 3rd ed. L., 1911. P. 18, 22, 23.

Особенно широко распространено исключение научного метода из определенных областей знаний на основании фундаментальных различий разного рода явлений¹. Кроме того, остается ряд более конкретных возражений, базирующихся на очевидных трудностях применения научного метода в области социальных явлений.

Сложность социальной информации²

Вероятно, в качестве наиболее часто выдвигаемого препятствия на пути к истинной науке о поведении человеческих групп фигурирует сложность самого ее предмета. Группы людей с их невероятной чувствительностью к материальным и социальным стимулам и с их многочисленными особенностями культуры, психологии и темперамента, обуславливающими их поведение, представляются настолько сложными и запутанными, что ум человека оказывается в замешательстве при попытке понять порядок, связь и закон в поведении социальной группы.

Вот как представил Стюарт Чейз то, что видит человек, пролетающий на самолете над Северной Америкой: “Он видит лишь фермы, леса, шахты, железные и шоссевые дороги, реки, каналы, линии передач; фабрики, склады, магазины, школы, библиотеки, театры, гольфклубы и дома; и поведение примерно ста миллионов мужчин, женщин, детей во всех перечисленных местах. Мужчин, которые копают, пашут, заводят двигатели, балансируют на стальных балках, красят вывески и дорожные знаки, сверлят металл, занимаются упаковкой, управляют грузовыми автомобилями, склоняются над рабочими столами, говорят по телефону, вписывают людей в двери поезда надземной железной дороги, ловят рыбу в открытом море, борются с лесными пожарами, качают нефть из нефтяных скважин, читают газеты, пронзительно кричат на спортивных матчах, спят, едят, занимаются любовью, ходят в церковь, танцуют, плавают, карабкаются на горы, шагают в полосатых робах по тюремным коридорам. Женщин, следящих за веретенем, детьми, кухонной плитой, играющих в маджонг [старинная китайская игра. — *Пер.*] пьющих чай, курящих. Детей, реагирующих на школьный звонок, вертящихся на партах, мчащихся по игровой площадке, работающих на хлопкопрядильных фабриках, беспокожно мечущихся в лихорадке Гигантский конгломерат человеческой деятельности”³.

¹ Более подробно данная позиция рассмотрена в моей работе “Foundations of Sociology” (Р. 9—22).

² Блестящий подробный анализ этого вопроса можно найти в двух статьях Рида Бэйна “The Concept of Complexity in Sociology” (Social Forces. 1929. P. 222—231; 1930. P. 369—378).

³ Chase S. The Tragedy of Waste. Macmillan, 1930. P. 17, 18. Целесообразно упомянуть, что физики столь же сильно поражены сложностью предмета своих исследований. Так, сэр Эрнст Резерфорд в своем президентском послании Британской Ассоциации развития науки (1924) заметил: “Когда размышляешь над чрезвычайной сложностью строения электрона, поражает то, что в кажущейся мешанине передвижений удалось обнаружить какой-то порядок” (цит. по: Buckley H. A Short History of Physics. Van Nostrand, 1928. P. 254).

Разумно ли надеяться, что человеческий ум сможет когда-нибудь обнаружить в этом хаосе порядок и свести этот запутанный круговорот волн человеческого муравейника к абсолютно точным научным законам? На чем может основываться подобный оптимизм?

Во-первых, фактом является то, что во всей этой сложности даже случайный наблюдатель обнаруживает тем не менее определенные структуры последовательности и порядок в многообразной деятельности любой социальной группы. Ее поведение ни в коем случае не является бессистемным, беспорядочным и не поддающимся прогнозированию. Напротив, если взять группу, в которую входим мы сами или которую хорошо знаем, то мы обнаружим, что ее поведение, как правило, характеризуется высокой степенью упорядоченности, шаблонности и предсказуемости. При определенных заданных условиях обнаруживается, что мы в состоянии предсказать с высокой степенью точности, как группа будет действовать. Мы обнаружим, что она имеет тенденцию делать определенные вещи в определенное время, например, есть, спать, ходить в церковь. Она имеет тенденцию носить определенную одежду в определенных обстоятельствах. По сути дела, как наша собственная деятельность, так и социальная организация в целом базируются на этой тенденции социальной группы вести себя определенным образом *в определенных обстоятельствах*.

Выясняется поэтому, что мы способны достаточно точно оценивать и прогнозировать будущее поведение людей и социальных групп. Таким образом, поведение, наблюдаемое с самолета, хотя оно и может казаться сложным, в действительности не хаотично, в чем мы убеждаемся даже после незначительного его изучения. Оно хаотично, беспорядочно, “бессмысленно” только для поверхностного наблюдателя. Чем больше мы его изучаем, тем более упорядоченным и предсказуемым это поведение оказывается. Чем иным является научный закон, если не кратким описанием того, как ведут себя явления при определенных обстоятельствах? Это не только возможно, но и практически осуществлялось более или менее систематически с момента появления человеческого общества. Все, к чему стремится социология — это изменить данную практику как произвольную процедуру, сделав ее объективной, более точной и позволяющей получать подтверждение.

Тот факт, что безнадёжная сложность и хаос социального поведения имеют тенденцию исчезать при более тщательном изучении, возможно, выявляет реальную природу сложности, обычно рассматриваемую как непреодолимое препятствие на пути создания точной социальной науки. *Любая ситуация или поведение явлений сложны, если мы их не понимаем*. Сложность всегда зависит от нашего понимания или знания данного поведения. Для ребенка, который еще не научился ходить или говорить, перемещение и разговор старших представляют поведением невероятной сложности. Сложность не может быть определена в абсолютных или объективных характеристиках. Это субъективная оценка степени приспособления к какой-либо ситуации. *Иными словами, сложность человеческого общества является в значительной степени функцией нашего незнания*.

Верно, что в одних ситуациях число переменных больше, чем в других, и эта сложность может быть содержательно определена для каждого данных условий. Однако определение какой-либо ситуации само есть акт дискриминации в отношении упорядочивающих методик, которыми мы располагаем. Короче говоря, сложности природы изучаются как посредством упрощения ситуаций, так и посредством разработки методик, позволяющих анализировать все возрастающее количество переменных. Зрелость науки определяется тем уровнем, которого она достигла в одном из двух, либо в обоих названных отношениях. Если ряд проблем физики сегодня имеют меньше переменных, чем ряд проблем социологии, то это объясняется тем, что физики сочли желательным проявить скромность, ограничив количество поставленных перед собой проблем. Они довольствовались возможностью терпеливо трудиться над рядом небольших, но взаимосвязанных проблем. И их совместные усилия увенчались созданием величественного синтеза физической науки в целом. Ученые в области социальных наук склонны скорее не к скрупулезному изучению ограниченного числа проблем, а к использованию грандиозных историко-философских методов.

“Субъективность” и “неосвязаемость” социальных явлений

Возможно, наиболее глубоко укоренившейся и часто встречающейся причиной, лежащей в основе утверждений о принципиальном различии между социальными и физическими данными, является представление о том, что физические явления могут познаваться непосредственно с помощью “чувств”, в то время как многие важные социальные — познаваемы только в символической форме посредством слов, представляющих такие явления, как традиция, обычай, позиции, ценности и в целом всю область так называемого субъективного мира.

Если бы данное представление было верным, это действительно означало бы наличие важного различия между двумя классами данных, ибо это значило бы, что мы можем получать гораздо более прямые и объективные знания о физических данных по причине внутренне присущих им качеств. Однако психологические исследования не подтверждают представления о том, что наши знания (в смысле способности манипулирования символами, представляющими чувственный опыт) о физических данных получены в любом случае принципиально иным способом, нежели наши знания о социальных данных. Наши знания как о тех, так и о других могут быть получены лишь через действие символических механизмов поведения, обычно — языковых.

Важно помнить, что такие слова, как традиция, обычай, мышление, ощущение и т.д. означают видимое человеческое поведение определенного рода и представляют поэтому предмет научного изучения посредством тех

же общих методов, что и другие виды поведения. Верно, что для наблюдения за различными видами поведения используются различные методики и инструменты. Одни виды поведения мы можем наблюдать непосредственно невооруженным глазом и описывать простым разговорным языком. Другие его виды можно наблюдать только с помощью приборов, например, микроскопов и телескопов. Третьи виды поведения наблюдаются посредством использования стетоскопа, снятия показаний термометров, либо расшифровки записей детекторов лжи, приборов, записывающих “мозговые волны”, и пр.

Эти показания фиксируются, сообщаются и подтверждаются посредством определенных слов, специально для этого созданных, таких, как градусы температуры и т.д.

Эта точка зрения также решает старую проблему интроспекции и вопрос о том, могут ли использоваться в качестве научных данные о самонаблюдении. Научная обоснованность результатов измерения врачом собственной температуры вызывает не больше сомнений, чем результаты измерения врачом температуры других людей. В обоих случаях его наблюдения приемлемы, если врач сообщает их нам на таком языке, который позволяет нам проверить сообщенные результаты. То же правило было бы верно и в отношении его наблюдений за своими самыми интимными мыслями и чувствами. Когда мы создаем методики наблюдения и отчета о “субъективных” явлениях таким образом, чтобы наблюдения можно было сообщать и подтверждать, они представляют собой такие же объекты научного изучения, как и любые другие данные. “Объективное” и “субъективное” поэтому оказываются не внутренне присущими качествами различных типов явлений, а скорее обозначением достигнутого уровня развития проверяемых средств сообщения наших наблюдений¹.

Таким образом, различие между данными социологии и данными физических наук оказывается скорее кажущимся, нежели реальным. Мы не получаем физические данные сколь-нибудь более непосредственно или объективно, чем информацию социальную — за исключением случаев, когда нами разработаны более адекватные приборы и символы для записи физических данных. Единообразие физических данных, составляющее основу физических наук, наблюдается также и в отношении социальных данных. Как мы отмечали, научные законы определяют конкретные простые и часто искусственные условия, при которых явление ведет себя определенным образом. В этих условиях поведение можно прогнозировать с высокой степенью точности. Аналогичным образом мы можем предсказать с высокой степенью точности, сколько людей в конкретном городе родится, умрет, покончит жизнь самоубийством, либо вступит в брак в предстоящий год *исходя из того, что* существенные условия, на которых основаны наши наблюдения,

¹ Краткий анализ данного вопроса содержится в моей работе “Foundation of Sociology” (Р. 17—22). Там же имеются ссылки на обширную литературу по данному вопросу.

остаются неизменными. Эти условия всегда должны быть точно определены в нашем прогнозе и могут быть довольно многочисленными и сложными. Прежде чем мы сможем точно определить все существенные условия, потребуется длительное и тщательное изучение окружающей среды. Однако это — *sine qua non* [обязательные условия. — Пер.] для всех без исключения научных законов.

Таким образом, трудности, которые, как представляется, могут препятствовать превращению знаний об обществе в подлинную науку, проистекают не столько из различий, внутренне присущих самим данным, сколько из нашей несовершенной методики и методологии исследования и вытекающего отсюда нашего незнания данных.

Предсказуемость социального поведения

Второй основной довод, наиболее часто выдвигаемый противниками возможности создания подлинной науки о групповом поведении, — это очевидная непредсказуемость человеческого поведения, обусловленная освященным веками представлением о человеке как о свободной личности. Считается, что на социальные явления оказывают воздействие непредсказуемые “прихоти”, обусловленные “волей” и “желаниями” людей. К счастью, бихевиоризм в психологии быстро превращает эти старомодно-изящные метафизические понятия в устаревшие, имеющие лишь историческое значение. Теперь признано, что причины и условия, предопределяющие поведение людей, по большому счету точно те же, что причины и условия, предопределяющие поведение других объектов. Если мы бросаем перо с вершины башни, то его падение будет очень прихотливым и непредсказуемым. То, каким образом оно будет падать и с какой скоростью, предопределяется множеством факторов, в частности, такими наиболее очевидными, как ветер, влажность, размер и форма самого пера. Тем не менее мы без колебаний применяем к нему закон падения тел, который, как показано выше, описывает падение тел только в определенных искусственных условиях. Непредсказуемые круговые движения, вращения и спирали, совершаемые падающим пером, могут быть объяснены “причудами” и “желанием” со столь же большой (или малой) степенью правомерности, как и объяснение этими причинами поведения социальной группы. Наблюдаемое поведение в обоих случаях — результат влияния факторов окружающей среды на объект определенного рода. В обоих случаях и окружающая среда, и объект могут быть до такой степени упрощены, лишены естественных свойств и стандартизированы, что становится возможным краткое описание поведения данного объекта в данных условиях. Этим исчерпываются требования любого научного закона.

Поэтому видимая непредсказуемость группового поведения объясняется нашим сегодняшним ограниченным знанием природы мотивов и реакций, действующих в таких группах. По той же причине многие простые

химические реакции несколько столетий назад считались непредсказуемыми. Однако скрупулезное изучение и классификация этих реакций в заданных условиях привели в результате к нашим нынешним химическим законам. Тот же метод уже дал нам определенные возможности обобщения и предсказания группового поведения. Есть все основания считать, что мы можем неизмеримо расширить эти возможности.

Мы уже ссылались на тот факт, что наше каждодневное взаимодействие с окружающими людьми осуществляется на основе высоконадежного предсказания их ожидаемого поведения. Задача науки — создать более формализованные и универсально надежные методы такого прогнозирования. В указанном направлении уже достигнут обнадеживающий прогресс. Так, с некоторых пор стало обычным использование актуарных методов определения вероятности смерти, вступления в брак, рождения двойни или тройни, развода и т.д. для различных возрастных групп, экономических классов и т.п. Позднее тот же общий подход был успешно применен в прогнозировании успеха или неуспеха в учебном заведении, в браке, в испытательном сроке и в условном освобождении <...>

Основная проблема при этом — как и во всех научных прогнозах — обеспечить *надежную и достаточно обширную информацию о прошлом опыте в заданных условиях*. Лучший, если не единственный, способ обеспечить информацию подобного рода — систематическая и исчерпывающая регистрация этих событий по мере того, как они происходят. Только при этом условии мы сможем модифицировать наши прогнозы в соответствии с меняющимися условиями. Данные по другим типам социального поведения, не регистрируемые систематически, должны, разумеется, собираться любыми другими действенными методами¹.

Количественные методы в социальных науках

Наконец, существует точка зрения, согласно которой точные науки имеют тенденцию становиться все более количественными в своих единицах измерения, показателях и терминологии, в то время как важный предмет социальных наук является в основном качественным и не может быть выражен количественно. При данном подходе исходят, разумеется, из предпосылки, что некоторые данные по своей природе являются качественными, субъективными и не могут быть измерены.

Уязвимость данной предпосылки в научном мире рациональности должна быть очевидна даже при поверхностном знакомстве с историей науки и с научными методами. Такие слова, как количественный, измеримый, объек-

¹ Более подробно этот вопрос рассмотрен в моей работе “Foundations of Sociology” (Р. 142—144).

тивный, сложный, однородный и т.д. должны рассматриваться в рамках постулатов, на которых базируется наука, не как внутренне присущие информации характеристики, а как обозначение определенных способов реагирования и передачи реакций¹.

Необходимо отказаться от надуманного противоречия между качественными и количественными методами в пользу точки зрения, согласно которой эти понятия просто отражают различные уровни совершенства и объективности нашей методики описания <...>. Когда наши знания имеют общий непроанализированный характер, мы склонны их описывать в субъективных и качественных понятиях на основе тех ощущений, которые наше восприятие этих фактов вызывает в нас, либо, возможно, — в понятиях социальных оценок в соответствии с существующими нормами. Так, предметы могут быть охарактеризованы как горячие или холодные, красные или зеленые. Однако разные люди по-разному воспринимают эти определения; а как мы уже видели, одна из ключевых характеристик науки состоит в том, что используемые в ней описания должны означать одно и то же для всех нормальных умов.

Для устранения неопределенности субъективной терминологии в науке существовала общая тенденция превращения качественных градаций в количественные. Поэтому горячее или холодное описывается в градусах шкалы термометра; цветовые градации — в характеристиках световых волн; и так далее для всех качеств, которые важны для какой-либо проблемы, либо имеют к ней отношение. Однако на начальных этапах наших размышлений о той или иной области наши описания обычно являются качественными. Как отмечал Митчелл: “Даже в работе тех, чье мышление является в максимальной степени статистическим, обязательно присутствует качественный анализ. Наше мышление всегда охватывает область шире, чем пределы наших количественных измерений; наши предварительные представления, формирующие наши цели, наш первый взгляд на новые проблемы; так же как и наиболее широкие обобщения, останутся по форме качественными. Действительно, по мере того как мы используем все более обширный, более точный и более надежный инструментарий, сам качественный анализ становится более мощным, всеохватным и интересным... В мышлении компетентных работников эти два типа анализа сосуществуют и дополняют друг друга так же естественно в экономике, как и в химии”².

Однако это признание важной роли качественного анализа не должно истолковываться таким образом, что различие между ними несущественно. Напротив, в нем сделан акцент на положении, согласно которому для более точных описаний, требуемых наукой, необходима количественная характе-

¹ См. также “Foundations of Sociology” (P. 137—142).

² Mitchell W.C. Quantitative Analysis Economic Theory // American Economic Review. 1925. Vol. 15. P. 12.

ристика. В этом состоит важность обсуждения данного вопроса для социальных наук, ибо до настоящего времени в них преобладают качественные обобщения. Все объяснения и описания состоят из перечня “склонностей”, “желаний”, “стремлений”, “мотивов” и т.д.

Пророчество профессора Митчелла в отношении экономической науки в еще большей мере применимо к социологии: “Если мой прогноз достоверен, — пишет он, — то весь наш аналитический аппарат, основанный на оценке полезности и бесполезности, или мотивов, или выбора, в отдельной экономике выпадает из поля зрения количественных аналитиков, оставаясь в статичном состоянии. «Психологический» элемент в работе этих людей будет состоять главным образом из объективного анализа экономического поведения групп. И хотя мотивы поведения не будут игнорироваться, они будут рассматриваться как проблемы, требующие изучения, а как само собой разумеющееся”¹. Лишь когда дело доходит до количественного анализа, наши обобщения начинают приобретать характер зрелой или точной науки.

Поэтому работник, осуществляющий качественный анализ, защищен от критики уже тем фактом, что его подход является качественным, особенно в новых областях исследования. С помощью данного подхода может быть выполнена работа высочайшей ценности. Однако тот же исследователь уязвим для критики, когда он утверждает, что это — единственный метод, применимый к предмету его изучения, и что поэтому его качественные описания являются единственно возможными. Он может быть совершенно искренен в своем скептицизме относительно возможности статистического опровержения его обобщений, особенно в той форме, в которой он их представил, вполне возможно, что в настоящее время они действительно неуязвимы для атак со стороны статистиков. Митчелл утверждает: “Действительно невелика вероятность того, что количественный анализ когда-либо позволит решить проблемы, поставленные качественным анализом в их теперешней форме. Чего нам следует ожидать, так это видоизменения (преобразования) старых проблем в новые формы, поддающиеся статистическому анализу. В процессе такого переформулирования своих проблем экономическая теория изменит не только внешний вид, но и само содержание”².

Но какова будет сущность этого изменения содержания в социологии? Как отмечалось выше, теперешнее ее содержание включает главным образом: 1) перечень “стремлений”, “желаний”, “сил”, “интересов” или “побуждений”, под влиянием которых, как принято считать, социальные группы вовлекаются в различного рода деятельность; и 2) “распределение” этих данных по названным категориям на основе наблюдаемых социальных результатов этой деятельности. При этом, как подчеркивает Митчелл, труд-

¹ Mitchell W.C. Quantitative Analysis Economic Theory. P. 5.

² Ibid. P. 3.

ность, разумеется, состоит в том, что “такого рода интерпретации представляют собой нечто добавляемое ученым к имеющимся данным, а не то, что он извлекает из них”. В результате то или иное поведение часто может классифицироваться по любой, либо по всем вышеназванным категориям, в соответствии с предпочтениями того, кто осуществляет классификацию. В то время как новое содержание будет включать статистические обобщенные результаты анализа большого числа документальных фиксаций поведения во всех интересующих нас сферах социального поведения.

Количественные методы и полевые исследования

Но как такого рода обобщения должны использоваться в конкретных случаях анализа? Это — фундаментальное возражение, выдвигаемое многими практическими социальными работниками. “Не бывает двух одинаковых случаев, — возразит социальный работник, — и в различных случаях применяется разная методика. Она зависит от каждой черты как моей личности, так и личности моего клиента. Она должна моментально корректироваться в процессе конкретного интервью”. Какова польза для изучения конкретных ситуаций статистических исследований большого количества случаев, приводящих в результате к некой “средней” или типу?

Возражения подобного рода можно рассматривать как возникающие исключительно из ошибочного понимания того, что означают научное описание и статистическая методика. Приведенные факты в том виде, как они изложены, разумеется, верны. Однако разве есть хоть какое-то отличие практических проблем диагностирования и лечения от проблем, с которыми имеет дело прикладная физическая наука? Разве врач сталкивается не с такой же ситуацией? Разумеется, не бывает таких двух случаев, которые были бы абсолютно идентичны во всех отношениях. Для надежности лечение следует модифицировать в соответствии с наблюдаемыми реакциями в ходе самого лечения. Но кто осмелится утверждать на этом основании, что используемые врачом принципы диагностирования и лечения бесполезны? И как разрабатываются эти принципы? К ним приходят в результате скрупулезной регистрации огромного количества различных случаев и реакций в ходе лечения, — т.е. в результате статистического обобщения.

Собственно говоря, все занятые изучением конкретных случаев работники и специалисты — независимо от того, сознают они это или нет — действительно применяют простейшую или примитивную форму статистического метода для получения обобщений, исходя из которых они решают установить диагноз и осуществить лечение. Порой эти обобщения на уровне подсознания, в основе которых — сохраненное памятью специалиста сходство с другими случаями, с которыми ему приходилось иметь дело.

Рассмотрим, к примеру, следующее утверждение компетентного ученого: “Мне представляется, что доказательство возможности прогнозирования затруднено из-за того, что не признается существование двух типов прогнозирования: а) актуарное прогнозирование целых человеческих популяций; и б) индивидуальное прогнозирование вероятности действия отдельного человека... Пренебрежение психологической точкой зрения — основная ошибка статистического подхода в социальной науке... Единственный способ, с помощью которого мы можем предсказать вероятность (sic), что данный индивид будет вести себя неким определенным образом — это изучать его как личность, и в особенности его субъективные умственные процессы с помощью субъективных категорий”¹.

В основном ученые признают, что в актуарных прогнозах не говорится о том, к *каким людям* будет относиться прогнозируемое поведение. Из этого не следует, что вероятность поведения некоего человека неким определенным образом может быть предсказана иными, нежели актуарными методами. Изучайте, если вам угодно, данного человека настолько тщательно, насколько это возможно, включая его самые субъективные или подсознательные умственные процессы, с помощью сколь угодно большого числа субъективных категорий.

Какую возможную основу для прогнозирования предоставляет весь этот материал, *кроме основы для классификации данного случая как в большей или меньшей степени схожего с другими случаями, с которыми эксперту уже приходилось иметь дело* (прямо или косвенно, по литературе, на основе законов механики, физиологии, психологии, чего угодно), и которые все без исключения представляют формальную или неформальную актуарную основу *любого* прогноза относительно “вероятности того, что данный человек поведет себя неким определенным образом”. Какую возможную основу для прогноза могут представлять самые глубокие знания о некоем случае, если делающий прогноз не может интерпретировать эти знания в соответствии со знанием других случаев *поведения*?²

Ценность этих глубоких знаний о конкретном случае неоспорима. В самом деле, такое знание — необходимая основа для усовершенствованной статистической классификации и интерпретации. Мы лишь отметим, что эти

¹ Allport G.W. Critiques of Research in the Social Sciences. An Appraisal of Thomas' and Znaniecki's "The Polish Peasant in Europe and America" // Social Science Research Council. N.Y., 1939. P. 185.

² Вероятно, одна из причин дискуссий по данному пункту — путаница в отношении того, что является единицей наблюдения или “случаем” в каждом конкретном примере. Повторение, например, тика (или иного спазма) может быть в высшей степени индивидуально для какого-либо человека и может быть предсказано в результате изучения *большого числа случаев тика у данного человека*. Однако данная единица наблюдения или “случай”, очевидно, именно тик, а не конкретная личность, а прогноз — результат обычных актуарных методов.

знания дают возможность прогнозирования только благодаря обеспечиваемой ими усовершенствованной классификации на базе других случаев, для которых уже выработаны — формально или неформально — более или менее надежные вероятностные параметры. Таким образом, данный аргумент против количественных методов со стороны практических работников сужается до вопроса: должны ли обобщения, из которых нам следует исходить, получаться методом проб и ошибок, или же посредством строго количественных и объективных статистических методов. При такой формулировке данного положения даже у наиболее ярых критиков статистического метода вряд ли остаются основания для продолжения критики.

К. Поппер

Предположения и опровержения

Когда я получил список слушателей этого курса и понял, что мне предстоит беседовать с коллегами по философии, то после некоторых колебаний я решил, что, по-видимому, вы предпочтете говорить со мной о тех проблемах, которые интересуют меня в наибольшей степени, и о тех вещах, с которыми я лучше всего знаком. Поэтому я решил сделать то, чего никогда не делал прежде, а именно рассказать вам о своей работе в области философии науки, начиная с осени 1919 г., когда я впервые начал искать ответ на вопрос о том, “*когда теорию можно считать научной?*”, или по-иному — “*существует ли критерий научного характера или научного статуса теории?*”

В то время меня интересовал не вопрос о том, “когда теория истинна?”, и не вопрос “когда теория приемлема?” Я поставил перед собой другую проблему. Я *хотел привести различие между наукой и псевдонаукой*, прекрасно зная, что наука часто ошибается и что псевдонаука может случайно натолкнуться на истину.

Мне был известен, конечно, наиболее распространенный ответ на мой вопрос: наука отличается от псевдонауки — или от “метафизики” — своим *эмпирическим методом*, который по существу является *индуктивным*, т.е. исходит из наблюдений или экспериментов. Однако такой ответ меня не удовлетворял. В противоположность этому свою проблему я часто формулировал как проблему разграничения между подлинно эмпирическим методом и неэмпирическим или даже псевдоэмпирическим методом, т.е. методом, кото-

рый, хотя и апеллирует к наблюдению и эксперименту, тем не менее не соответствует научным стандартам. Пример использования метода такого рода дает астрология с ее громадной массой эмпирического материала, опирающегося на наблюдения, — гороскопы и биографии.

Однако не астрология привела меня к моей проблеме, поэтому я коротко опишу ту атмосферу, в которой она встала передо мной, и те факты, которые в тот период больше всего интересовали меня. После крушения Австро-Венгрии в Австрии господствовал дух революции: воздух был полон революционных идей, лозунгов, новых и часто фантастических теорий. Среди интересовавших меня в ту пору теорий наиболее значительной была, без сомнения, теория относительности Эйнштейна. К ним же следует отнести теорию истории Маркса, психоанализ Фрейда и так называемую “индивидуальную психологию” Альфреда Адлера.

Немало общеизвестных глупостей высказывалось об этих теориях, и в особенности о теории относительности (что случается даже в наши дни), но мне повезло с теми, кто познакомил меня с этой теорией. Все мы — тот небольшой кружок студентов, к которому я принадлежал, — были взволнованы результатом наблюдений Эддингтона, который в 1919 г. получил первое важное подтверждение эйнштейновской теории гравитации. На нас это произвело огромное впечатление и оказало громадное влияние на мое духовное развитие.

Три других упомянутых мной теории также широко обсуждались в то время среди студентов. Я лично познакомился с Адлером и даже помогал ему в его работе среди детей и юношей в рабочих районах Вены, где он основал клиники социальной адаптации.

Летом 1919 г. я начал испытывать все большее разочарование в этих трех теориях — в марксистской теории истории, психоанализе и индивидуальной психологии, и у меня стали возникать сомнения в их научном статусе. Вначале моя проблема вылилась в форму простых вопросов: “Что ошибочного в марксизме, психоанализе и индивидуальной психологии?”, “Почему они так отличаются от физических теорий, например от теории Ньютона и в особенности от теории относительности?”

Для пояснения контраста между этими двумя группами теорий я должен заметить, что в то время лишь немногие из нас могли бы сказать, что они верят в *истинность* эйнштейновской теории гравитации. Это показывает, что меня волновало не сомнение в *истинности* трех других теорий, а нечто иное. И даже не то, что математическая физика казалась мне более *точной*, чем теории социологии или психологии. Таким образом, то, что меня беспокоило, не было ни проблемой истины — по крайней мере в то время, — ни проблемой точности или измеримости. Скорее я чувствовал, что эти три другие теории, хотя и выражены в научной форме, на самом деле имеют больше общего с примитивными мифами, чем с наукой, что они в большей степени напоминают астрологию, чем астрономию.

Я обнаружил, что те из моих друзей, которые были поклонниками Маркса, Фрейда и Адлера, находились под впечатлением некоторых моментов, общих для этих теорий, в частности под впечатлением их явной *объяснительной силы*. Казалось, эти теории способны объяснить практически все, что происходило в той области, которую они описывали. Изучение любой из них как будто бы приводило к полному духовному перерождению или к откровению, раскрывающему наши глаза на новые истины, скрытые от непосвященных. Раз ваши глаза однажды были раскрыты, вы будете видеть подтверждающие примеры всюду: мир полон *верификациями* теории. Все, что происходит, подтверждает ее. Поэтому истинность теории кажется очевидной и сомневающиеся в ней выглядят людьми, отказывающимися признать очевидную истину либо потому, что она несовместима с их классовыми интересами, либо в силу присущей им подавленности, непонятой до сих пор и нуждающейся в лечении.

Наиболее характерной чертой данной ситуации для меня выступает непрерывный поток подтверждений и наблюдений, “верифицирующих” такие теории. Это постоянно подчеркивается их сторонниками. Сторонники психоанализа Фрейда утверждают, что их теории неизменно верифицируются их “клиническими наблюдениями”. Что касается теории Адлера, то на меня большое впечатление произвел личный опыт. Однажды в 1919 г. я сообщил Адлеру о случае, который, как мне показалось, было трудно подвести под его теорию. Однако Адлер легко проанализировал его в терминах своей теории неполноценности, хотя даже не видел ребенка, о котором шла речь. Слегка ошеломленный, я спросил его, почему он так уверен в своей правоте. “В силу моего тысячекратного опыта”, — ответил он. Я не смог удержаться от искушения сказать ему: “Теперь с этим новым случаем, я полагаю, ваш тысячекратный опыт, по-видимому, стал еще больше!”

При этом я имел в виду, что его предыдущие наблюдения были не лучше этого последнего — каждое из них интерпретировалось в свете “предыдущего опыта” и в то же время рассматривалось как дополнительное подтверждение. “Но, — спросил я себя, — подтверждением чего? Только того, что некоторый случай можно интерпретировать в свете этой теории”. Однако этого очень мало, подумал я, ибо вообще каждый мыслимый случай можно было бы интерпретировать в свете или теории Адлера, или теории Фрейда. Я могу проиллюстрировать это на двух существенно различных примерах человеческого поведения: поведения человека, толкающего ребенка в воду с намерением утопить его, и поведения человека, жертвующего жизнью в попытке спасти этого ребенка. Каждый из этих случаев легко объясним и в терминах Фрейда, и в терминах Адлера. Согласно Фрейду, первый человек страдает от подавления, скажем, Эдипова комплекса, в то время как второй — достиг сублимации. Согласно Адлеру, первый человек страдает от чувства неполноценности (которое вызывает у него необходимость доказать самому себе, что он способен отважиться на преступление), то же самое происходит и со

вторым (у которого возникает потребность доказать самому себе, что он способен спасти ребенка). Итак, я не смог бы придумать никакой формы человеческого поведения, которую нельзя было бы объяснить на основе каждой из этих теорий. И как раз этот факт — что они со всем справлялись и всегда находили подтверждение — в глазах их приверженцев являлся наиболее сильным аргументом в пользу этих теорий. Однако у меня зародилось подозрение относительно того, а не является ли это выражением не силы, а, наоборот, слабости этих теорий?

С теорией Эйнштейна дело обстоит совершенно иначе. Возьмем типичный пример — предсказание Эйнштейна, как раз тогда подтвержденное результатами экспедиции Эддингтона. Согласно теории гравитации Эйнштейна, тяжелые массы (такие, как Солнце) должны притягивать свет точно так же, как они притягивают материальные тела. Произведенные на основе этой теории вычисления показывали, что свет далекой фиксированной звезды, видимой вблизи Солнца, достиг бы Земли по такому направлению, что звезда казалась бы смещенной в сторону от Солнца, иными словами, наблюдаемое положение звезды было бы сдвинуто в сторону от Солнца по сравнению с реальным положением. Этот эффект обычно нельзя наблюдать, так как близкие к Солнцу звезды совершенно теряются в его ослепительных лучах. Их можно сфотографировать только во время затмения. Если затем те же самые звезды сфотографировать ночью, то можно измерить различия в их положениях на обеих фотографиях и таким образом проверить предсказанный эффект.

В рассмотренном примере производит впечатление тот *риск*, с которым связано подобное предсказание. Если наблюдение показывает, что предсказанный эффект определенно отсутствует, то теория просто-напросто отвергается. Данная теория *несовместима с определенными возможными результатами наблюдения* — с теми результатами, которых до Эйнштейна ожидал каждый. Такая ситуация совершенно отлична от той, которую я описал ранее, когда соответствующие теории оказывались совместимыми с любым человеческим поведением и было практически невозможно описать какую-либо форму человеческого поведения, которая не была бы подтверждением этих теорий.

Зимой 1919/20 г. эти рассуждения привели меня к выводам, которые теперь я бы сформулировал так.

(1) Легко получить подтверждения, или верификации, почти для каждой теории, если мы ищем подтверждений.

(2) Подтверждения должны приниматься во внимание только в том случае, если они являются результатом *рискованных предсказаний*, т.е. когда мы, не будучи осведомленными о некоторой теории, ожидали бы события, несовместимого с этой теорией, — события, опровергающего данную теорию.

(3) Каждая “хорошая” научная теория является некоторым запрещением: она запрещает появление определенных событий. Чем больше теория запрещает, тем она лучше.

(4) Теория, не опровержимая никаким мыслимым событием, является ненаучной. Неопровержимость представляет собой не достоинство теории (как часто думают), а ее порок.

(5) Каждая настоящая проверка теории является попыткой ее фальсифицировать, т.е. опровергнуть. Проверимость есть фальсифицируемость; при этом существуют степени проверяемости: одни теории более проверяемы, в большей степени опровержимы, чем другие; такие теории подвержены, так сказать, большему риску.

(6) Подтверждающее свидетельство не должно приниматься в расчет за исключением тех случаев, когда оно является результатом подлинной проверки теории. Это означает, что его следует понимать как результат серьезной, но безуспешной попытки фальсифицировать теорию. (Теперь в таких случаях я говорю о “подкрепляющем свидетельстве”.)

(7) Некоторые подлинно проверяемые теории после того, как обнаружена их ложность, все-таки поддерживаются их сторонниками, например, с помощью введения таких вспомогательных допущений *ad hoc* или с помощью такой переинтерпретации *ad hoc* теории, которые избавляют ее от опровержения. Такая процедура всегда возможна, но она спасает теорию от опровержения только ценой уничтожения или по крайней мере уменьшения ее научного статуса. (Позднее такую спасательную операцию я назвал “конвенционалистской стратегией” или “конвенционалистской уловкой”.)

Все сказанное можно суммировать в следующем утверждении: *критерием научного статуса теории является ее фальсифицируемость, опровержимость, или проверяемость.*

К. Поппер

Логика социальных наук

В своем докладе о логике социальных наук я хочу исходить из двух тезисов, которые выражают противоречие между нашим знанием и нашим незнанием.

Первый тезис. Мы знаем очень много, и не только детали, вызывающие сомнительный интеллектуальный интерес, но прежде всего вещи, которые не только имеют большое практическое значение, но могут способствовать глубокому теоретическому познанию и удивительному пониманию мира.

Второй тезис. Наше незнание безгранично и разочаровывающе. Да, именно грандиозный прогресс естественных наук (на который намекает мой первый тезис) снова и снова заново открывает нам глаза на наше незнание

Источник: Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie / Adorno T., Albert H., Dahrendorf R. u. a. Neuwied; Berlin: Luchterhand Verlag, 1970. S. 103—107. Пер. с нем. В. Ионина.

также и в области самих естественных наук. Но при это сократовская идея незнания приняла совершенно новый вид. С каждым шагом, который мы делаем вперед, с каждой проблемой, которую мы решаем, мы не только открываем новые и нерешенные проблемы, но мы обнаруживаем также, что там, где, как нам казалось, мы стоим на твердой почве, в действительности все ненадежно и шатается.

Противоречие между обоими тезисами — о знании и о незнании, — конечно, только кажущееся. Мнимое противоречие возникает главным образом из-за того, что слово “знание” в первом тезисе используется в несколько ином значении, чем во втором. Но важны оба значения, и важны оба тезиса, важны настолько, что я хочу это выразить в третьем тезисе.

Третий тезис. Принципиально важной задачей и, возможно, даже решающим пробным камнем любой теории познания служит то, соответствует ли она первым двум тезисам, и объясняет ли она отношения между нашим удивительным и постоянно прибавляющимся знанием и нашим постоянно прибавляющимся осознанием того, что мы, собственно, ничего не знаем.

Если немного подумать, то оказывается, собственно, почти само собой разумеющимся, что логика познания должна исходить из напряжения между знанием и незнанием. Важный вывод из такого понимания сформулирован в моем четвертом тезисе. Но прежде чем я выскажу здесь этот четвертый тезис, я хочу принести извинения за число тезисов, которые еще последуют. Меня извиняет то, что подача этого доклада в форме тезисов напрашивалась сама собой (чтобы содокладчику было легче придать остроту своим критическим антитезисам). Я нахожу такой стимул очень полезным, хотя эта форма может, вероятно, вызвать впечатление догматизма. Итак, следует мой четвертый тезис.

Четвертый тезис. Насколько можно вообще говорить о том, что наука или познание где-то начинаются, настолько действительно следующее: познание начинается не с восприятия или наблюдений или сбора данных либо фактов, оно начинается с *проблем*. Нет знания без проблем — но нет также и проблемы без знания. Это означает, что оно начинается с напряжения между знанием и незнанием: нет проблемы без знания — нет проблемы без незнания. Поскольку любая проблема возникает из того открытия, что в нашем предполагаемом знании что-то не в порядке, или, подходя логически, в открытии внутреннего противоречия между нашим предполагаемым знанием и фактами, или, что будет выражено еще несколько более правильно, в открытии мнимого противоречия между нашим предполагаемым знанием и предполагаемыми фактами.

В противовес к первым трем моим тезисам, которые из-за их абстрактности вызывают, вероятно, впечатление, что они несколько далеки от моей темы — логики социальных наук, относительно моего четвертого тезиса я могу утверждать, что с ним мы оказываемся прямо-таки в центре нашей темы. Это может быть сформулировано в моем пятом тезисе следующим образом.

Пятый тезис. Социальные науки, так же как и все прочие науки, успешны или безуспешны, интересны или пресны, плодотворны или непло-

дотворны в точном соответствии со значимостью или интересностью проблем, о которых идет речь, и, конечно, в точном соответствии с честностью, прямоотой и простотой, с которыми за эти проблемы берутся. При этом дело не должно идти всегда лишь о теоретических проблемах. Важными исходными моментами общественно-научных исследований были серьезные практические проблемы, такие, как: проблема нищеты, неграмотности, политического угнетения и правовой неопределенности. Но эти практические проблемы ведут к размышлению, к теоретизированию и тем самым к теоретическим проблемам. Во всех без исключения случаях характер и качество проблемы — конечно, вместе со смелостью и своеобразием предложенного решения — определяют ценность или малоценность научных достижений.

Итак, исходным пунктом всегда служит проблема. А наблюдение становится своего рода исходным пунктом лишь тогда, когда оно обнаруживает проблему, или, говоря иначе, когда оно нас поражает, показывая нам, что что-то в нашем знании — в наших ожиданиях, наших теориях не совсем сходится. Итак, наблюдения ведут к проблемам только тогда, когда они противоречат нашим сознательным или неосознанным ожиданиям. И то, что становится затем исходным моментом научной работы, — это не столько наблюдение как таковое, а наблюдение в его особенном значении — что означает как раз наблюдение, производящее проблему.

Я продвинулся настолько далеко, что могу сформулировать мой *главный тезис* как тезис шестой. Он состоит в следующем.

Шестой тезис (главный тезис).

(а) Метод социальных наук, так же как и естественных наук, состоит в том, чтобы проверять попытки решения их проблем — проблем, из которых он исходит.

Решения предлагаются и подвергаются критике. Если попытка решения недоступна для деловой критики, то она исключается именно из-за этого как ненаучная, хотя бы и лишь временно.

(б) Если она доступна для деловой критики, то мы пытаемся ее опровергнуть, поскольку любая критика состоит в попытках опровержения.

(в) Если попытка решения нашей критикой опровергается, то мы пытаемся прибегнуть к другой.

(г) Если она выдерживает критику, то мы ее предварительно принимаем — т.е. мы принимаем ее прежде всего как заслуживающую дальнейшего обсуждения и критики.

(д) Итак, методом науки служит проверяемая (*tentativ*) попытка решения (или идея), контролируемая самой острой критикой. Это критическое развитие метода попытки и ошибки (“*trial and error*”).

(е) Так называемая объективность науки состоит в объективности критического метода. Но это означает прежде всего то, что никакая теория не свободна от критики, а также и то, что логические вспомогательные средства критики — категория логического противоречия — объективны.

Основную идею, которая стоит за моим главным тезисом, можно, вероятно, сформулировать также иным образом.

Седьмой тезис. Напряжение между знанием и незнанием ведет к проблеме и попыткам решения. Но оно никогда не преодолевается. Поскольку выясняется, что наше знание состоит всегда только лишь в предварительных и имеющих характер попытки предложениях по решению и поэтому принципиально включает возможность того, что оно окажется ошибочным и, таким образом, незнанием. И единственная форма оправдания нашего знания опять же лишь предварительна: она состоит в критике или, точнее говоря, в том, что наши попытки решения, как представляется, *до сих пор* выдерживали нашу самую острую критику.

Выходящее за пределы этого позитивное оправдание отсутствует. В особенности наши попытки решения могут оказаться невероятными (в смысле исчисления вероятности).

Эту точку зрения можно, вероятно, обозначить как *критицистскую*.

Чтобы несколько обозначить содержание этого моего главного тезиса и его значение для социологии, будет целесообразным противопоставить ему другие известные тезисы широко распространенной и часто совершенно неосознанно поглощаемой методологии.

К примеру, это — неудачный и спорный методологический натурализм или сциентизм, который требует, чтобы социальные науки наконец научились у естественных наук тому, что является научным методом. Этот неудавшийся натурализм ставит такие требования, как: начинай с наблюдений и измерений, что означает, например, — со сбора статистических данных, продвигайся затем индуктивно к обобщениям и созданию теории. Таким образом ты настолько приблизишься к идеалу научной объективности, насколько это вообще возможно в социальных науках. При этом ты должен сознавать, что в социальных науках объективности достигнуть гораздо труднее (если ее вообще можно достичь), чем в естественных науках, поскольку объективность означает свободу от ценностной оценки, а представитель социальных наук может лишь в очень редких случаях настолько отрешиться от своего собственного общественного слоя, чтобы хоть мало-мальски продвинуться к свободе от оценок и объективности.

Т. Адорно

Логика социальных наук

После разочарования как в теоретической, так и в формальной социологии, сегодня господствует склонность к признанию примата социологии эмпирической. Свою роль играет при этом, конечно, ее непосредственно

Источник: Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie / Adorno T., Albert H., Dahrendorf R. u. a. Neuwied; Berlin: Luchterhand Verlag, 1970. S. 84—92, 99—101. Пер. с нем. В. Июнина.

практическая применимость, ее родство с любым управлением. Но реакция на утверждения об обществе сверху — будь они произвольны, будь они пусты — законна. Все-таки первенство эмпирическим методам совершенно не подобает. На то, что кроме них имеются и другие: простое наличие дисциплин и способов мышления, их еще не оправдывает. Но их границы предписываются им предметом. Эмпирические методы, сила притягательности которых в претензии на их объективность, предпочитают парадоксальным образом субъективное (что объясняется их происхождением из исследований рынка) за исключением статистических данных типа ценовых, таких, как пол, возраст, гражданское состояние личности, доход, образование, и сходным образом мнения, ориентацию, способы поведения субъектов. Их специфичность оправдала себя до сих пор лишь в этой сфере. Как инвентарную опись так называемых объективных фактов их трудно было бы отличить от донесенной информации, предназначенной для административных целей.

В целом объективность эмпирических социальных исследований — один из методов, но не объективность исследованного. Из статистической обработки данных о более или менее многочисленных отдельных лицах выводятся свидетельства, которые генерализуемы согласно исчислению вероятностей и независимы от индивидуальных колебаний. Но полученные средние величины, будь даже их действительность объективна, остаются все же в своем большинстве объективными высказываниями о субъектах, о том, как субъекты видят себя и реальность. Общественную объективность — совокупность отношений, институтов, сил, внутри которых действуют люди, — эмпирические методы (будь то опросные листы, интервью или любые возможные варианты их комбинирования и дополнения) игнорируют, учитывая ее в лучшем случае как побочное явление. Винаваты в том не только заинтересованные заказчики, которые сознательно или неосознанно препятствуют прояснению этих отношений и в Америке осуществляют контроль уже при распределении исследовательских проектов — к примеру, через средства массовой информации — над тем, чтобы устанавливались лишь реакции в пределах господствующей “commercial system”, но не анализировались структуры и внутренние связи самой этой системы. Много более на это объективно ориентированы уже сами эмпирические средства, более или менее нормированные опросы многих отдельных лиц и их статистическая обработка; заранее распространенные и, тем самым, предвзятые мнения имеют тенденцию к тому, чтобы быть признанными в качестве источника оценки самого дела. Конечно, в этих мнениях отражается также и объективность, но, очевидно, не полностью и в многократно искаженном виде. Во всяком случае в сравнении с теми объективностями, как показывает беглый взгляд на функционирование работающих по своим профессиям, вес субъективных методов, ориентации и способов поведения вторичен.

Как бы позитивистки ни подавались методы, но в основе их лежит выведенное из правил демократического выбора и чересчур бездумно обобщаемое представление, что совокупность сознательного и бессознательного

содержимых человека, образующих статистический универсум, имеет безоговорочно ключевой характер для общественного процесса. Несмотря на их конкретизацию или ради нее методы не проникают через конкретизацию дела, давления в особенности экономической объективности. Все мнения считаются ими виртуально равными, и такие элементарные расхождения, как различный вес мнений соответственно общественной власти, они охватывают лишь путем дополнительных уточнений, к примеру, через отбор ключевых групп. Вторичное становится первичным.

Такие подвижки внутри метода, однако, не индифферентны по отношению к исследуемому. При всей антипатии эмпирической социологии к распространившейся одновременно с нею философской антропологии она разделяет с последней такую направленность взгляда, как будто дело идет сейчас и здесь уже о человеке, вместо того, чтобы определить сегодня обобществленных людей как момент общественной тотальности — преимущественно как ее объект. Вещественность метода, его врожденное стремление закрепить факты переносится на его предмет, а именно выясняемые субъективные факты, таким образом, как будто это вещи в себе, а не, напротив, овеществленные. Метод грозит как фетишизировать свой предмет, так и, со своей стороны, сам выродиться в фетиш. Недаром в дискуссиях эмпирических социальных исследований вопросы метода перевешивают содержательные вопросы. И с полным правом, что следует из логики обсуждаемых научных методов.

На место достоинства исследуемых предметов вступает как критерий объективность получаемых посредством метода данных, и в эмпирической научной работе выбор предметов исследования и подход к исследованию ориентированы если не по практически-административным пожеланиям, то много более по наличным и должествующим развиваться дальше методам, чем по существу исследования. Отсюда и следует несомненная маловажность столь многих эмпирических исследований.

Общепотребимый в эмпирической технике метод операционального или инструментального определения, который, например, такую категорию, как “консерватизм”, определяет через известные числовые величины ответов на вопросы в пределах выборки, санкционирует примат метода над предметом, наконец, произвол научного мероприятия. Выражается претензия на то, чтобы изучить предмет при помощи инструмента исследования, который собственной формулировкой принимает решение относительно того, что является предметом — просто круг. Жест научной добросовестности, состоящий в том, чтобы избегать работы с иными понятиями, кроме как с четкими и ясными, становится предлогом к тому, чтобы поставить самодостаточную исследовательскую работу впереди исследуемого. С высокомерием необразованности забываются возражения большой философии против практики дефинирования, то, что она изгоняла как остатки схоластики, нерелевантными конкретными науками протаскивается под именем научной точно-

сти. Как только происходит экстраполяция от инструментально определенных понятий к формально принятым, исследование оказывается виновным в той самой нечистоплотности, которую оно хотело искоренить при посредстве своих дефиниций.

Именно в этом причина того, что естественно-научная модель не может быть прямо и неграниченно перенесена на общество. Но не так, как того хочет идеология и как это рационализирует реакционное сопротивление новой технике в Германии, поскольку достоинство человека, над уничтожением которого прилежно трудится человечество, было бы избавлено от методов, которые рассматривают его как часть природы. Человечество совершает преступление скорее тогда, когда его претензия на господство вытесняет память его природного естества и тем самым закрепляется слепая самобытность, чем когда людям напоминают об их природности.

“Социология — это не гуманитарная наука”. Поскольку окостенение общества постоянно понижает человека до объекта и превращает его состояние во “вторую природу”, методы, которые именно это изобличают, не являются кошунством. Несвобода методов служит свободе, бессловесно свидетельствуя о господствующей несвободе. Свирепый тон и рафинированные защитные жесты, которые вызвали исследования Кинси, — самый сильный аргумент в пользу Кинси. Там, где люди под давлением отношений на деле низводятся до “реакции рептилий” как потребители по принуждению продукции средств массовой информации и других регламентированных радостей, там изучение общественного мнения, которое возмущает обесиленный гуманизм, лучше им подходит, чем, например, “понимающая” социология.

Поскольку субстрат понимания — однонаправленное и осмысленное человеческое поведение — уже у самих субъектов заменен простым реагированием. Одновременно атомистичная и поднимающаяся в своей классификации от атомов к общему социальная наука — зеркало Медузы одновременно и атомизированного, и организованного согласно абстрактным классификационным понятиям управления общества. Но это *adaequatio rei atque cogitationis* нуждается еще в саморефлексии, чтобы стать действительным. Его право единственно критическое.

В тот момент, когда состояние, которое методы исследования одновременно охватывают и выражают, гипостазируется как имманентный разум науки вместо того, чтобы сделать его предметом осмысления, оказывается вольная или невольная поддержка его увековечиванию. Тогда эмпирические социальные исследования ошибочно принимают эпифеномен — то, что из нас сделал мир, — за сам предмет. В их применении скрывается предпосылка, которая должна была бы дедуцироваться не из требований метода, а из состояния общества — т.е. исторически. Вещественный метод постулирует овеществленное сознание лиц, с которыми он экспериментирует. Когда в опросном листе задаются вопросы относительно музыкальных вкусов и представляется выбор между категориями “классическая” и “популярная”, то за

этим стоит оправданная уверенность в том, что исследуемая публика слушает музыку согласно этим категориям таким образом, как при включении радио не осмысляя, автоматически воспринимаешь, попал ли на программу шлягеров, на предположительно серьезную музыку или на музыкальное сопровождение религиозной церемонии. Но пока не охватываются также и общественные условия таких форм реагирования, правильные данные остаются дезориентирующими, они внушают представление, что разделение музыкального опыта на “классическое” и “популярное” было бы, так сказать, естественно. Общественно значимый вопрос начинается именно с этого разделения, с его увековечивания в форме само собой разумеющегося, и с необходимостью ведет к вопросу, не затрагивает ли восприятие музыки, независимо от ее вида, самым чувствительным образом спонтанный опыт воспринимающего.

Только лишь понимание генезиса обнаруживаемых форм реагирования и их отношения к сознанию набравшего опыт позволили бы расшифровать регистрируемый феномен. Но согласно господствующим эмпирическим приемам вопрос об объективном смысле звучащего произведения искусства был бы отброшен, от его смысла отделились бы как от чисто субъективной проекции слушателей, а само произведение было бы деквалифицировано до голого “раздражителя” в росписи психологического эксперимента. Там самым они заранее отрезали бы возможность превращения в тему исследования отношения масс к навязываемым им культурной индустрией товарам, сами эти товары были бы определены, наконец, через реакцию масс, чье отношение к ним стало бы предметом дискуссии.

Выйти за пределы изолированного исследования сегодня тем более необходимо, поскольку при растущем охвате населения средствами коммуникации преформирование его сознания нарастает настолько, что едва ли остается более свободный промежуток, который позволил бы заметить это преформирование. Еще социолог-позитивист Дюркгейм, который вместе с social research отклонял “понимание”, с полным на то основанием соединил законы статистики, которым следовал и сам, с *contrainte sociale*, поскольку увидел в нем критерий всеобщей общественной законности. Современные социальные исследования отрицают эту связь, но при этом также с конкретными общественными структурными целями (приносят в жертву) свою генерализацию.

Однако, если такие перспективы — например, в виде задачи организовать однажды специальное исследование — отодвигаются, научное отражение остается на деле простым удвоением, овеществленной апперцепцией вещественного, искажает объект именно через удвоение, путем колдовства превращает опосредуемое в непосредственное. Для корректировки недостаточно и того, чтобы, как хотел Дюркгейм, просто дескриптивно различать “область множественного числа” и “область единственного числа”. Соотношение двух областей нельзя было бы ни показать, ни даже обосновать тео-

ретически. Противоречие количественного и качественного анализа неабсолютно. Кто определяет количественные величины, тот должен, как известно, не учитывать качественные различия элементов; и всякое отдельное общественное проявление несет в себе общие определения, на которые распространяется количественная генерализация. Ее собственные категории всегда имеют качественный характер. Метод, который тому не соответствует и отбрасывает качественный анализ как несоместимый с “областью множественного числа”, причиняет насилею тому, что он должен исследовать.

Общество едино также и там, куда сегодня еще не добралась большая общественная власть, “недоразвитые” и “развившиеся” в направлении рациональности и унификации сферы функционально взаимозависимы.

Социология, которая не учитывает этого и отказывается от плюрализма методов, оправдываясь такими скудными и недостаточными понятиями, как индукция и дедукция, поддерживает то, что есть, в своем чрезмерном рвении сказать, что есть. Она становится идеологией в строгом смысле, необходимой видимостью. Видимостью потому, что множественность методов не достигает единства предмета и скрывает его за так называемыми факторами, на которые она расчленяет его ради удобства. Необходимой же потому, что сам предмет — общество — ничего не боится так, как быть названным по имени, и поэтому невольно содействует только такому познанию самого себя (и терпит его), какое его не затрагивает.

Парные понятия индукция и дедукция — это сциентистская замена диалектики. Но как обязательная общественная теория должна быть напитана материалом, так и факты, которые перерабатываются, в силу процесса, который они охватывают, должны быть прозрачны применительно ко всему общественному целому. Если вместо этого метод срабатывается в *factum brutum*, то в него не внесешь света и задним числом.

В жестком противопоставлении и дополнении формальной социологии и слепого установления фактов исчезает отношение общего и особенного, в котором жизнь общества, а потому оно единственный достойный человека объект для социологии. Но если задним числом сложить вместе разделенное, то из-за ступенчатого движения метода вещественное отношение останется поставленным на голову. Это не случайно в силу рвения, с которым качественным данным снова придаются количественные характеристики. Наука хочет избавиться посредством одноголосной системы от напряжения между общим и особенным в том мире, единство которого в разноголосице.

В этой разноголосице причина того, что предмет социологии — общество и его феномены — не обладает того рода гомогенностью, на которую может рассчитывать так называемая классическая естественная наука. В социологии нельзя двигаться от частных констатаций через общественные обстоятельства к общепринятому, будь оно даже ограничено, в такой мере, в какой было привычным судить по наблюдениям над свойствами одного куска свинца о свойствах всего свинца. Всеобщность социально-научных законов — это

вообще не всеобщность охвата, в который встраиваются отдельные детали, но затрагивает постоянно и в существенных моментах отношения общего и особенного в его исторической конкретике. Это дает негативное свидетельство негомогенности состояния общества — “анархии” всей предшествующей истории, так же как и позитивное свидетельство момента спонтанности, который не улавливается законом больших чисел. Тот, кто отрывает мир людей от относительной упорядоченности и неизменности предмета математических естественных наук, по крайней мере “макросферы”, тот не преображает его.

Центральным является антагонистический характер общества, и он устранивается простой генерализацией. В объяснении нуждается скорее гомогенность, подчиняющая человеческое поведение закону больших чисел, чем ее отсутствие. Применимость этого закона противоречит *principium individuationis*, тому обстоятельству (через которое несмотря на все не так просто перепрыгнуть), что люди не просто видовые существа. Их образ поведения опосредован их разумом. Последний хотя и содержит в себе момент общего, который очень хорошо повторяется в статистической общности, но одновременно он специфицируется интересами конкретных лиц, которые в буржуазном обществе расходятся и в тенденции при всем их единообразии противоположны, уж не говоря о принудительно воспроизводимой обществом иррациональности индивидов. Только единство принципа индивидуалистического общества приводит рассеянные интересы индивидов к единой формуле их “мнения”.

Распространенные сегодня речи о социальном атоме хотя и справедливы применительно к бессилью отдельного человека перед тотальным, но относительно естественнонаучного определения атома остаются чисто метафоричными. Равенство мелких социальных единиц — индивидов — даже с телевизионного экрана не может подаваться так определенно, как обстоит дело в физико-химической материи. Но эмпирические социальные исследования действуют так, как будто они восприняли идею социального атома буквально. То, что она в известной мере пробивается, позволяет критически высказаться об обществе.

Всеобщая законность, которая деквалифицирует статистические элементы, свидетельствует, что общее и особенное не примирены, что именно в индивидуалистическом обществе индивид слепо подчинен общему, даже деквалифицирован. Однажды это обозначила речь об общественной “характерной маске”, современный эмпиризм об этом забыл. Общность социального реагирования — это, в основном, общность социального давления. Эмпирические социальные исследования могут так высокомерно ставить себя в концепции области множественного числа выше индивидуализации только потому, что они до сегодняшнего дня остаются идеологическими, а люди еще не являются людьми. В освобожденном обществе статистика, сегодня негативная, стала бы позитивной, наука об управлении была бы предназначена для управления вещами — т.е. потребительскими товарами, а не людьми. Несмотря на фатальность их основы в общественных структурах эмпи-

рические социальные исследования останутся сильнее самокритики постольку, поскольку обобщения, которые им удаются, должны быть отнесены не к предмету — стандартизированному миру, но к методу, который уже в силу общности адресуемых отдельным лицам вопросов или их ограниченного выбора — “кафетерий” — заранее так готовится спрашиваемое (например, выясняемые мнения), что оно превращается в атом.

<...> Эмпирические социальные исследования не обходят стороной того, что все исследуемые ими данности, субъективные не менее, чем объективные отношения, опосредованы обществом. Данность — факты, на которые они наталкиваются согласно их методам как на последнее, являются не последним, но обусловленным. Поэтому они не должны путать основу своего познания — данность фактов, которые они ищут при помощи своего метода, — с реальной основой — представлением о фактах, его непосредственностью, его фундаментальным характером. От этого смещения они могут защитить себя, уничтожая посредством совершенствования методов неопосредованность данных. Отсюда значение анализа мотивации, хотя он и остается в пределах субъективного реагирования. Он, конечно, едва ли может опираться на прямые вопросы; а корреляция показывает функциональные взаимосвязи, но не проясняет причинные зависимости. Поэтому развитие косвенных методов принципиально является шансом для эмпирических социальных исследований выйти за пределы простого установления и обработки внешних фактов. Проблемой познания их самокритичного развития остается то, что получаемые факты не отражают верно лежащие за ними общественные отношения; но одновременно и по необходимости создают завесу, скрывающую их.

Соответственно к данным того, что недаром называется “исследованием общественного мнения”, относится формулировка Гегеля об общественном мнении из философии права: оно настолько же заслуживает уважения, насколько и презрения. Уважения, поскольку также и идеологии — необходимое фальшивое сознание — являются частью общественной действительности, которую должен знать тот, кто хочет ее познать. Презирать — означает критиковать его претензию на правду.

Абсолютизируя общественное мнение, эмпирические социальные исследования сами становятся идеологией. К этому склоняет неосмысленное номиналистическое определение правды, которое подает как правду *volonte de tous*, поскольку другой не получишь. Эта тенденция отмечена особенно и в большой степени в американских эмпирических социальных исследованиях. Но ей нельзя догматически противопоставлять простое утверждение *volonte generale* как объединяющей правды, например, в форме постулируемых “ценностей”. Такой метод обременен тем же произволом, что и восстановление распространенного мнения, как общепринятого: в истории со времен Робеспьера декретное установление *volonte generale* принесло, возможно, больше бед, чем беспонятнейшее допущение *volonte de tous*.

Из роковой альтернативы выводит единственно имманентный анализ соответствия или несоответствия мнения себе (*in sich*) и его отношения к предмету, но не абстрактное противопоставление мнению объективно действительного. Не мнение надо отвергать с платоновским высокомерием, но его неправду из правды — выведение из несущего общественного отношения его собственной неправды. Однако с другой стороны, среднее мнение представляет собой не величину, приближенную к правде, но среднее общественное кажущееся. В нем участвует то, что кажется неосмыслемым социальным исследованиям их *ens realissimum*, — опрашиваемые, субъекты. Их собственное качество, их субъектность зависит от объективности механизмов, которым они повинуются и которые составляют их понятие. Его, однако, можно определить только обнаружив в самих фактах тенденцию, выходящую за их пределы. В этом состоит функция философии в эмпирических социальных исследованиях. Если ее реализация не удастся или подавляется и, таким образом, факты просто воспроизводятся, то такое воспроизводство оказывается одновременно фальсификацией фактов — превращением их в идеологию.

П. Бурдые

Зондаж: наука без ученого

Для начала — парадокс: примечательно, что даже те, кто с подозрением относятся к социальным наукам и, среди прочих, к социологии, с готовностью принимают опросы общественного мнения, которая в этих опросах присутствует часто в рудиментарной форме (что объясняется не столько низкой квалификацией лиц, ответственных за подготовку, сбор и анализ данных, сколько давлением со стороны заказчика или спешкой).

Зондаж соответствует распространенному мнению о науке: на вопросы, которые “задает себе весь мир” (весь или, по крайней мере, маленький мир тех, кто финансирует зондажи: директоров газет или журналов, политиков или хозяев предприятий), он дает быстрые и простые ответы в цифрах, легких с виду для понимания и комментирования. Однако в этой области еще более, чем в любой другой “первоклассные истины суть первоклассные ошибки”, и настоящие проблемы политических обозревателей и комментаторов часто являются псевдопроблемами, которые научный анализ должен уничтожить при построении своего предмета. На такой пересмотр первоочередных проблем коммерческие исследовательские институции не имеют ни

Источник: Бурдые П. Начала / Пер. с фр. Н.А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994. С. 276—285.

средств, ни времени, да и как они могли бы это сделать, когда при современном состоянии рынка и информированности заказчиков опросов они в этом совершенно не заинтересованы. Вот почему чаще всего они довольствуются переводом проблем, которые ставит клиент, в соответствующие вопросы.

Меня могут спросить, не является ли практика, формирующая вопросы так, как формулирует их клиент, законченной формой “нейтральности” науки, к которой взывает “здравый смысл” позитивиста? (Заметим один нюанс: бывает, что первоочередные вопросы, когда они внушены практическими знаниями и заботами, как, например, в исследованиях рынка, при новой их интерпретации в зависимости от теоретической проблематики, дают часто больше ценной информации, чем те, что поднимаются полуучеными в более претенциозных исследованиях.) Позитивистский идеал “науки без ученого” реализует в отношениях между господствующими и подчиненными в поле власти эквивалент того, что представляет в другом плане мечту о “буржуазии без пролетариата”. Успех всех метаморфоз, направленных на представление опроса как простой механической регистрации: “барометр”, “фотография”, “рентгенограмма” и т.д., а также заказы, которые политические деятели всех мастей продолжают направлять в частные исследовательские центры, игнорируя институты, финансирующиеся государством, свидетельствуют о глубинной установке на науку по заказам и изготовленную “на заказ”, на науку без гипотез, которые воспринимаются скорее как предположения и даже предубеждения, и без теорий, которые, как известно, не имеют большого отклика.

Под вопросом находится, как мы видим, само существование науки о социальном мире, способной утвердить свою автономию по отношению к любой власти. История изобразительного искусства показывает: артисты должны были бороться на протяжении веков, чтобы освободиться от заказа и заставить признать свои собственные намерения, определяющиеся конкурентной борьбой внутри художественного поля. Сначала в отношении манеры, выполнения, формы — короче, в том, что зависело только от артиста, а потом — в выборе самого предмета. Так же и с учеными, занимающимися физическим и биологическим миром. Завоевание автономии, очевидно, более сложно и, следовательно, медленно в случае наук о социальном мире, которые должны отрывать каждого от собственных [исследовательских] проблем под давлением заказа и под соблазном запроса. В нынешней ситуации это давление проявляется наиболее коварным образом в службах опроса общественного мнения, через безличные механизмы его социального функционирования, не оставляющего времени на то, чтобы исправиться, повторить результаты, перепроверить техники и методологии, переопределить проблемы, отказываясь от первого побуждения принять их, раз они находят непосредственный отклик в расплывчатых и путаных вопросах повседневной практики.

И потом, почему те, кто, чтобы заставить работать свое предприятие, вынуждены продавать свою продукцию, наскоро упакованную и перевязанную в соответствии со вкусом потребителей, будут большими роялистами, чем их потребитель-король? И как бы они это смогли? У них есть хорошо апробированная выборка, хорошо притертые бригады анкетеров, проверенные программы анализа данных. В каждом случае им не остается ничего другого, как найти, что хочет узнать клиент, т.е. то, что он хочет, чтобы ему поискали, а лучше — чтобы ему нашли. Предположить, что владельцы опросных служб могут найти то, что считают правдой, и будут заинтересованы высказать ее политике, обеспокоенному перевыборам, руководителю предприятия, теряющему оборот, редактору газеты, жаждущему более сенсаций, чем информации, — значит предполагать, что они весьма мало озабочены сохранением своей клиентуры. И это в условиях, когда они должны считаться с конкуренцией новых товаров на рынке иллюзий, производящих фурор среди коммерческих директоров и руководителей паблик-релейшн.

Вновь открывая древнее искусство гадания на картах, хиромантии и разного рода сверхпросветленных провидцев, эти продавцы “уцененной” научной продукции снова вводят в расплывчато-психологический и всегда очень близкий к обыденной интуиции язык, выработанную очень загадочным образом “жизненную стилистику”: “кутилы”, “первопроходцы”, “не от мира сего” или “авантюристы”. Они прошли хорошую школу в искусстве давать своему клиенту услужливые ответы, облаченные, благодаря настоящей магии, определенной методологии и терминологии, во вполне научную форму.

Как же могут они ставить и настаивать на проблемах, способных огорчить или шокировать, когда для удовлетворения своих клиентов им достаточно просто следовать за склонностями спонтанной социологии (с которыми научное сообщество, без сомнения, никогда не перестанет бороться в себе самом), давая ответы на проблемы, которые стоят только перед теми, кто заказывает исследование, и которые очень часто не ставились респондентами до того, как их обязали отвечать на них?

Ясно, что они не заинтересованы в объяснении своим клиентам, что их вопросы неинтересны или, еще хуже, беспредметны. Им потребовалась бы большая доблесть или вера в науку, чтобы отказаться от опроса по “имиджу арабских стран”, зная, что их менее шепетильный конкурент ухватится за него (даже если они предполагают, что этим опросом можно только зафиксировать отношение к эмигрантам и то не в достаточной степени). В этом случае опрос, по крайней мере, что-то измеряет, хотя и не то, что хотели; в других же случаях он может измерять лишь результат действия самого инструмента измерения. Так бывает всякий раз, когда анкетер предлагает респондентам “чужую” проблематику. Это не мешает им, несмотря ни на что,

отвечать на вопросы своих подчиненных безразличием или притязанием, тем самым заставляя исчезать единственно интересную проблему — об экономических и культурных детерминантах способности ставить проблемы как таковые, о способности, которая в плане политическом определяет основополагающие измерения специфической компетенции.

Следовало бы переписать — не с наивно полемическим намерением, но чтобы им воспрепятствовать и уничтожить — наиболее пагубные, с точки зрения науки, эффекты, которые принуждения рынка оказывают на практику служб, проводящих зондажи. Я только упомяну, чтобы попытаться оградить от таких ошибок в дальнейшем, о запросе министра национального образования, который в 80-е гг. заказал трем разным службам анализ положения с образованием на трех его ступенях: начальном, среднем, высшем. Он получил таким образом три разных анкеты несопоставимых, как по процедуре построения выборки, так и по поставленным в них вопросам. В итоге исчезло то, что могло быть установлено только сравнением каждой рассматриваемой популяции. Чтобы полностью осознать величину ошибки, добавлю, что этот опрос стоил десять годовых бюджетов государственной университетской лаборатории, которая, если с ней хотя бы проконсультировались, помогла бы избежать таких ошибок и вложить в разработку анкеты и программы анализа свой капитал теоретических и эмпирических знаний, которые частные опросные службы, очевидно, не могут мобилизовать. Это объясняется многообразием областей исследований, в которые они включаются, и условиями спешки, в которых они работают, способными сделать практически невозможным какое-либо совмещение.

Эффекты “невидимой руки” рынка, осуществляющиеся как при анализе, так и при сборе данных (известно, например, что проще получить с клиента деньги на финансирование непосредственно интересующих его вопросов, чем тех, которые дают информацию, необходимую для объяснений ответов), сочетаются с отсутствием свободного людского “резерва”, способного выполнить немедленно срочный заказ и владеющего общим капиталом теоретических и технических средств. Это могло бы обеспечить совмещение знаний (полученных с помощью методической архивации предшествующих опросов), чтобы способствовать дескриптивному использованию опроса, к чему бессознательно зывают заказчики. Тем не менее наиболее бесстрашные из тех, кого я называю вслед за Платоном “доксософами”, предлагают объяснения, далеко выходящие за границы, вписанные в систему имеющихся у них объяснительных факторов, всегда очень немногочисленных и зачастую плохо измеренных. Любый может их встретить на вечеринках избирателей, без подготовки приводящих объяснения и интерпретации, которым одна только слишком очевидная нечестность политиков может дать видимость глубины и объективности.

<...>

Я готовился остановить здесь рассмотрение научных ограничений, свойственных деятельности коммерческих исследовательских институций, когда прочитал текст Алена Лансело, который закрывает, завершает и итожит сборник SOFRF 1984 г. В этом “ответе” на некоторого рода вязкую смесь возражений против зондажей, как мне показалось, я обнаружил намерение ответить мне, но не узнал своих возражений, которые относились — и здесь, конечно, недоразумение — к науке, а не к политике, как считают (хотя лженаука производит настоящие политические эффекты). Поэтому я разберу другой пример, которого хотел избежать, так как он показывает в немного слишком жесткой, даже жестокой манере социальные ограничения мыслительных способностей доксософфов. Известно, что неответы являются большим местом, крестом и бедой опросных институтов, использующих все средства, чтобы сократить, минимизировать и даже спрятать их. Обреченные таким образом оставаться незамеченными в зондаже, который их отбрасывает в анкетной кухне и в инструкциях анкетерам, эти проклятые неответы вновь всплывают под пером “политолога” с проблемой “абсентеизма”, как порока демократии, или с проблемой “апатии” как ухода в безразличие и неразличимость (“болото”).

Понятно, что политолог, проводящий зондаж, который видит в любой критике зондажа, идентифицируемого им с всеобщим избирательным правом (аналогия собственно не является ложной), символическую атаку на демократию, не может предположить, что важнейший вопрос, стоящий перед наукой, политикой, политической наукой, может заслуживать своим именем существование неответов. Эти неответы варьируются в зависимости от половой принадлежности (женщины чаще воздерживаются от ответов), от позиции в социальном пространстве (воздерживаются тем больше, чем более обделены экономически и культурно) и от природы поставленного вопроса (факторы, склоняющие к абсентеизму, тем активнее, чем в более открыто “политической” форме поставлен вопрос, т.е. чем он ближе по букве и по духу к проблемам, которые ставят перед собой ординарные доксософы: лица, проводящие зондажи, политологи, журналисты и политики). Чтобы пролить свет на эти истины, простые, но скрывающиеся за очевидностями повседневной рутины чтения ежедневных газет (“Доля не принявших участия в голосовании составляет 30%”), нужно придать позитивную ценность этому промаху анкеты и демократии, этому недостатку, этой лакуне, этому небытию (как при подсчете процентного распределения “без учета неответивших”), и с помощью одной из таких перемен знака (и смысла), которая определяет научный разрыв со здравым смыслом, продемонстрировать, что самая важная информация содержится при любых опросах общественного мнения в доле неответов — в измерении вероятности дать ответ, что является характеристикой категории. Так, распределение ответов (“да” и “нет”, “за” и “против”, определяющее некую категорию, мужчин или жен-

щин, богатых или бедных, молодых или старых, рабочих или хозяев) имеет лишь второй, вторичный смысл, побочный, в качестве *условной вероятности*, которая получает смысл только по отношению к первичной, примордиальной вероятности дать ответ. Эта вероятность связана с некой статистической единицей определения социально установленной соответствующим агентам компетенции в квазюридическом смысле данного термина.

Я не прошу меня оценить, но хочу, чтобы меня поняли: обнаружение, в истинном смысле этого слова, очевидного, т.е. того, что “бросается в глаза”, было лишь отправным пунктом. Недостаточно открыть, что склонность воздерживаться от ответа или, напротив, желание высказаться (“Соглашаться, — как сказал Платон, — значит говорить”) вместо того, чтобы молчаливо делегировать доверенным лицам: церкви, партии или профсоюзу, точнее, полновластным уполномоченным, наделенным *plena potentia agendi* — полнотой власти говорить и действовать вместо и на месте предполагаемых доверителей, распределяется не случайным образом. Нужно еще увязать особую склонность лиц, наиболее обделенных в экономическом и культурном плане, со склонностью не отвечать на вопросы более открыто политические и с тенденцией к концентрации власти в руках уполномоченных, что характеризует партии, основанные на голосах избирателей, наиболее обделенных экономически и культурно, в особенности коммунистические партии. Иначе говоря, свобода, которой располагают руководители этих организаций, или свободы, которые они могут взять на себя в отношении своих доверителей (о чем свидетельствуют, в частности, их сверхъестественные повороты на 180 градусов), покоятся в основном на почти безусловной саморепродукции “незаслуженности”, заключающейся в ощущении некомпетентности и даже политической “незаслуженности”, что, собственно, и скрывается за неответами.

И мы видим, что, далеко не следуя принятой позиции признавать демократию только, если она народная (как это внушает Ален Лансело), это обнаружение связи, которую обычный политолог заметить не может (среди прочих причин потому, что его правая рука, анализирующая результаты зондажей, не знает, что делает его левая рука, анализирующая “политическую жизнь”), ведет к обнаружению начала закона-тенденции, обрекающего институты защиты интересов доминируемых на монополистическую концентрацию власти выражать недовольство и мобилизовывать, который нашел наилучшие условия для своего осуществления в “народных демократиях”.

Во избежание недоразумений я должен был бы добавить, что это открытие, в конечном счете очень банальное, позволяет вернуться к классическим выводам о функционировании политических и профсоюзных аппаратов, которые сделали неомакиавелльянцы, в частности, Моска и Михельс, не принимая их сущностную философию истории. Последняя приписывает природе масс естественную склонность оставаться лишенной собственности в пользу вожаков, но, памятуя, что действенность исторических законов,

которые они натурализуют, оказалась бы приостановленной или, по меньшей мере, ослабленной, если бы экономические и культурные условия их действия временно приостановились или ослабли.

Мне хотелось бы убедить вас на этом примере, что “критика зондажей”, если она существует, лежит не в области политики, где ее помещают те, кто считает своей обязанностью защищать зондажи, рассчитывая тем самым, согласно испытанной стратегии, избежать собственно научной критики. И если научная критика должна в этом случае более, чем когда-либо принимать форму социологического анализа институции, то потому, что ограничения научной практики являются, как это всегда бывает, но в разной степени, вписанными в основном в принуждения, которые давят на институцию и, через нее, на мышление тех, кто в ней участвует. Критика является во всяком случае верным методом и честной игрой, поскольку в противоположность стратегиям “политизации”, скрыто использующим аргументы *ad hominem*, она освобождает индивидов от ответственности, которой на них возложено значительно меньше, чем они сами хотели бы думать.

Д. Уолш

Характерные черты природных и социальных явлений

Процесс выработки объяснений лучше всего понимать как деятельность по приспособлению некоторой стандартизированной концептуальной схемы (или, если воспользоваться термином Куна, парадигмы), к данной совокупности явлений или к данной совокупности проблем, относящихся к этим явлениям. Парадигма представляет собой систему, элементами которой являются теория, метод и нормы, применяемые в рамках той или иной дисциплины в целях объяснения. Особую важность для любой парадигмы имеет тот факт, что методологическое обоснование ее кроется в метафизических предпосылках, касающихся природы исследуемых явлений. Предполагается, например, наличие заранее конституированного мира явлений, доступного человеческому познанию, который является объектом исследования, причем считается, что существенные характеристики этого мира соответствуют применяемым методологическим процедурам. Понимаемая таким образом парадигма выполняет тройного рода познавательные функции. Во-первых, она говорит о том, какими характеристиками обладает приро-

Источник: Новые направления в социологической теории / Пер. с англ. Л.Г. Ионина под ред. Г.В. Осипова. М.: Прогресс, 1978. С. 49—55.

да, а каких она лишена. Во-вторых, она дает карту природы. В-третьих, она формулирует процедуры, посредством которых карта природы используется при отборе фактов, важных для дальнейшего анализа.

Стремление социологов-позитивистов использовать естественнонаучную парадигму с необходимостью требует предпосылки, утверждающей, что социальные явления обладают теми же характеристиками, что и естественные. Позитивистская социология, следовательно, должна доказать это сходство. Феноменологическая социология, напротив, полагает, что позитивисты неправильно понимают природу социальных явлений, приписывая им сходство с явлениями природы, и что поэтому позитивистская социология в целом обречена на неудачу. Каковы же характерные признаки природных и социальных явлений?

Первый заключается в том, что мир природы не обладает внутренней смысловой структурой. Явления природы лишены внутреннего смысла. Вот как об этом писал Шюц: “Дело естествоиспытателей решать, какая область природного универсума, какие факты и события этой области и какие аспекты таких фактов и событий тематически релевантны их специфической цели. Эти факты и события ни отобраны предварительно, ни истолкованы, они не обнаруживают внутренней значимости. Значимость не присуща природе как таковой, она является результатом селективной и интерпретирующей деятельности человека в рамках природы или ее наблюдения. Факты, данные и события, с которыми имеет дело естествоиспытатель, — это факты, данные и события в поле его наблюдения, а это поле ничего не «значит» для молекул, атомов и электронов внутри него”.

Ученый как наблюдатель волен создавать такие парадигмы природы, которые объясняют применяемые им операции наилучшим образом с точки зрения их соответствия его познавательным интересам. Можно сказать, что своими познавательными способностями естественные науки обязаны не столько применяемым правилам исследования, сколько царящему среди специалистов глубокому согласию относительно природы мира, к которому адресуются эти правила, в свою очередь организованные в соответствии с этой природой. Другими словами, естественные науки могут быть охарактеризованы в терминах не требующей обоснования парадигмы, разделяемой всеми работающими в этих науках.

В противоположность миру природы социальный мир — это мир, конституированный смыслом. Социальным явлениям внутренне присущ смысл. Снова процитируем Шюца: “Социальный мир — поле наблюдения социолога — не является по сути своей бесструктурным. Для людей, живущих, мыслящих и действующих в этом мире, он имеет свое особое значение и структуру релевантностей. Эти люди еще до появления социологии определенным образом расчленили и осмыслили этот мир при помощи набора обыденных конструктов, детерминирующих их поведение, определяющих цели их деятельности и доступные средства — короче, помогающих им определиться в природном и социокультурном мире с тем, чтобы жить и действовать в согласии с этим миром”.

Социальный мир — это, следовательно, повседневный мир, переживаемый и интерпретируемый действующими в нем людьми как структурированный мир значений, выступающих в форме типических представлений об объектах этого мира. Эти типические представления приобретают форму обыденных интерпретаций, конституирующих наличное знание, которое вместе с личным опытом действующего индивида являет собой принимаемую на веру совокупность средств ориентации в этом мире. Процесс конструирования социального мира может быть, таким образом, описан как процесс конструирования первого порядка, осуществляемый в терминах социальных значений.

Методологический вывод, со всей очевидностью следующий из сказанного, состоит в том, что социолог в отличие от естествоиспытателей не может извне определить, какие факты и явления или какие их аспекты релевантны его специфическим научным целям. Социологические конструкты, следовательно, с необходимостью принимают, по словам Шюца, характер “конструктов второго порядка, а именно конструктов, которые сами строятся из конструктов, создаваемых действующими на социальной сцене людьми”. Важнейшая проблема такого конструирования — конструирования второго порядка — состоит в том, чтобы четко разграничить социологические объяснения и обыденные объяснения социального мира, сохраняя в то же время систематическую соотнесенность первых с последними. Наблюдатель социального мира находится, по существу, в иной позиции по отношению к своему объекту, чем наблюдатель природного мира. В частности, социологическое наблюдение представляет собой деятельность наблюдателя и, как таковое, требует понимания в отличие от простого наблюдения явлений. Коренной недостаток позитивистской социологии заключается в ее неспособности понять смысловое строение социального мира, вследствие чего позитивизм и выработал методологию, совершенно неадекватную природе исследуемого объекта.

Из сказанного следует, что природный мир может быть охарактеризован как мир объектов, материальных (иногда непосредственно осязаемых) чувственных данных (фактов), которые внешни по отношению к наблюдателю и существуют независимо от него. Явления этого мира могут наблюдаться извне, а их наличные свойства — идентифицироваться в терминах парадигмы, причем это будут именно те свойства, которые имеют отношение к наличной цели исследующего эти явления специалиста. В этом — суть свойственной естественным наукам методологической процедуры. Процессы образования понятий, верификации теории, причинного объяснения в любой из естественных наук должны завершаться прямым соотнесением с определяемыми указанным выше образом внешними свойствами объекта.

Напротив, социальный мир — это мир субъективного, а не мир объективного. Он отнюдь не представляет собой реальность *sui generis*, отдельную от людей, образующих действительный “состав” этого мира. Наоборот, социальный мир — это экзистенциальный продукт человеческой деятельнос-

ти. Благодаря этой деятельности он сохраняется и изменяется. Поскольку социальный мир intersубъективно конституирован участниками деятельности, он экстернализуется как существующий вне их и независимо от них, т.е. обретает некоторую степень объективной фактичности. В этом смысле Дюркгейм не совсем ошибался, говоря об объективной (фактуальной) природе социального мира. Он, однако, не понял, что эта фактичность — воплощение методов, используемых членами общества с целью его познания. Дело обстоит не так, будто существует внешний по отношению к людям, реальный, объективный, фактуальный социальный мир, воздействующий на членов общества. На самом деле именно индивиды в процессе постижения этого мира (т.е. объясняя, определяя, воспринимая его) экстернализуют и объективируют его, применяя все доступные средства для выражения постигаемого. Первым и основным средством является, конечно, естественный язык. Язык предоставляет категории для интерпретации явлений социального мира. Благодаря этому именно в языке мир объективируется и экстернализуется для самих его носителей. Социологии, следовательно, требуется теория языка для анализа социальных значений.

Разумеется, обретение социальным миром свойства фактичности, являющееся результатом традиционных методов, используемых индивидами для понимания этого мира, не делает социальный мир миром объектов наподобие природного мира. Природный мир не зависит от признания или непризнания человеком его существования, даже если последний анализирует его в терминах структуры значений, которая не присуща ему по самой его природе. Напротив, данный социальный мир неизбежно прекращает свое существование, если ему отказано в человеческом признании, ибо вне такого признания он не обладает свойством существования. В этом смысле общество реально (обладает объективной фактичностью) потому, что его члены определяют его как реальное и относятся к нему как к реальности. Социальные факты суть продукт традиционно практикуемых членами общества методов понимания и осмысления социального мира; они постоянно воспроизводятся и сохраняются самым ходом социального взаимодействия. Отсюда следует, что социальный мир является миром множества реальностей: разные индивиды сосредоточивают внимание на различных аспектах социальных ситуаций и поэтому различным образом “прочитывают” (объясняют) на первый взгляд одну и ту же ситуацию. Одной из таких реальностей является реальность, порождаемая объяснительными процедурами позитивистской социологии.

Социальный мир, таким образом, оказывается миром, организованным на основе принятых на веру значений, которые индивиды используют в качестве общей схемы интерпретации и объяснения явлений этого мира (обытий, действий, ситуаций и т.д.). Под социальной структурой, следовательно, понимаются свойственные участникам представления о социальной структуре, являющиеся продуктом общей схемы интерпретации, конституирующей совокупность социально стандартизованных и стандартизирующих, видимых,

но не замечаемых фоновых ожиданий, дающих индивидам возможность осмысленно воспринимать окружающий мир. Важнейший вывод таков: социолог в отличие от естествоиспытателя не может принять на веру тезис о доступности заранее конституированного мира явлений для исследования, ибо процесс, посредством которого социальный мир становится доступным исследователю (т.е. конституируется), сам должен стать объектом исследования. Отсюда следует, что задачей социологии является изучение процессов конституирования социального мира. А для этого необходимо воздержаться от веры в существование этого мира как объективной реальности.

Главная трудность позитивистской социологии коренится в ее неспособности воздержаться от этой веры. В этом смысле она оказывается тесно связанной с естественной установкой, сводящей любое исследование к выявлению объективных свойств принимаемого на веру реального социального мира. А поскольку проблемы, с которыми сталкиваются социолог и рядовые члены общества, одни и те же, социологию можно рассматривать как еще одно обыденное объяснение социального мира. Как обыкновенные люди творят объективную реальность в результате практического применения процедур интерпретации первого порядка, так и социологи производят подобного рода реальность, применяя свои объяснительные процедуры. И в том, и в другом случае эти процедуры носят документирующий характер: события, действия, ситуационные факторы рассматриваются как свидетельство существования и продукт деятельности неких лежащих в их основе фундаментальных факторов или закономерностей.

Если сравнить реальность, порождаемую социологом, и реальности, создаваемые прочими индивидами, то окажется, что у нас нет никаких оснований доверять первой больше, чем последним, ибо они равным образом не обладают существованием вне процессов интерпретации, в ходе которых они и были сконструированы. Более того, процессы социологического конструирования могут служить фактическим материалом, подлежащим исследованию так же, как конструкторы прочих индивидов. В этом смысле выдвигаемые позитивистской социологией объяснения являются разновидностью обыденных объяснений, а сама позитивистская социология — разновидностью “народной” науки.

М. Филипсон

Проблема обоснованности

В пятой главе указывалось, что обоснованность большинства социологических объяснений определяется обычно в зависимости, во-первых, от внутренней логики объяснения и, во-вторых, от наличия в этом или в дру-

Источник: Новые направления в социологической теории / Пер. с англ. Л.Г. Ионина под ред. Г.В. Осипова. М.: Прогресс, 1978. С. 251—256.

гих исследованиях результатов, прямо или косвенно подтверждающих данное объяснение. Однако, сведя критерий обоснованности к внутренним проблемам исследовательской деятельности, мы лишаемся возможности объяснения отношений между этой деятельностью и реальностью, к постижению которой мы стремимся. Становится весьма трудным, если вообще возможным, выявление отношений и связей между реконструированной логикой объяснения и практической логикой создающих реальности индивидов.

Феноменологическая социология, уделяющая особое внимание именно этим связям, предлагает новый критерий обоснованности. Она полагает, что обоснованность социологической интерпретации в конечном счете зависит от того, насколько правдоподобно идеализированные и формализованные социологические конструкты второго порядка воспроизводят существенные процессы конструирования значений, из которых, собственно, и возникают анализируемые социологами действия. Другими словами, установить обоснованность — значит ответить на следующий вопрос: каково отношение между ретроспективной рефлексией социолога и ушедшей в прошлое реальностью, которую он стремится понять?

Общие принципы подхода к проблеме обоснования, добавляющие новое измерение к внутренним критериям традиционного социологического объяснения, были представлены Шюцем в форме трех критериев конструирования и оценки социально-научных моделей социального мира. Стремясь выработать “объективные” интерпретации структур значений, Шюц настаивал на том, чтобы мыслительные объекты социальных наук, их конструкты второго порядка оставались согласованными с обыденными конструктами первого порядка, формируемыми людьми в процессе созидания и сохранения социальных реальностей. Для этого типические конструкты социальных наук должны удовлетворять следующим постулатам.

1. *Постулат логической строгости*: конструкты должны быть ясными, отчетливыми и следовать законам формальной логики.

2. *Постулат субъективной интерпретации*: предполагается построение моделей индивидуального сознания и его содержаний, которые могли бы объяснить полученные социологом данные; этим достигается возможность соотнесения любых человеческих действий и их результатов с субъективными значениями действий индивида.

3. *Постулат адекватности*: каждый термин или понятие модели действия должен конструироваться таким образом, чтобы реальное действие в мире, организованное согласно этой модели, могло быть понято *самим действующим лицом* и другими людьми в терминах обыденной схемы интерпретации. Этим обеспечивается согласованность социологических конструктов с конструктами повседневного опыта.

Первые два постулата не представляют собой чего-либо принципиально нового, тогда как третий имеет решающее значение для установления обоснованности. Именно этот постулат требует иного понимания обоснованно-

сти и при этом ставит новые методологические проблемы. Однако следует отметить, что существует некоторое несоответствие между первым и третьим постулатами в их шюцевской формулировке.

Если принять во внимание, что обыденное практическое мышление не согласуется с правилами формальной логики (а это показали экзистенциальная психиатрия, теория когнитивного диссонанса, лингвистическая философия и этнометодология), то шюцевский постулат логической строгости свидетельствует о некоторой ограниченности социологического теоретизирования и интерпретации. Приняв его, социолог осознает свою неспособность схватить “живое настоящее” субъектов, исследуемых посредством конструкций второго порядка.

Рефлексивная ретроспективная интерпретация оказывается чуждой живому потоку интенциональностей; “объективность” социологических объяснений, достигаемая частично именно путем их согласования с правилами формальной логики, предполагает наличие некоторой дистанции между ними и объясняемой при их помощи социальной реальностью. Реальная методологическая практика требует некоторой модификации первого постулата: логическая строгость должна быть *практически* достаточной.

Будучи социологом-наблюдателем, я придерживаюсь “научной установки” в отношении насущных проблем моей социологической деятельности и стремлюсь устранить всякую непоследовательность и двусмысленность в своих интерпретациях. Однако я должен понимать, что мое собственное теоретизирование обусловлено и ограничено практическими обстоятельствами моей деятельности, и в конечном счете как член общества я пользуюсь теми же самыми приемами обыденного мышления, что и все остальные члены социального мира. Осознание социологами “бесконечного регресса” всякого описания социального мира, независимо от того, принадлежит оно социологу или несociологу, должно привести к превращению самого этого регресса в методологическое орудие. Постулат логической строгости, таким образом, практически может быть преобразован, поскольку это необходимо социологу, в требование согласовывать объяснение с тем, как он осознает и описывает ситуационно обусловленный характер истолкования мира действующими индивидами.

Фундаментом нового подхода к проблеме обоснованности становится *постулат адекватности*, привлекающий внимание к значению социологических истолкований для самих индивидов, поведение которых ретроспективно пытается понять социолог. Социолог должен не только соотносить их со значениями действия (постулат 2), он должен также создавать конструкции второго порядка из тех значений, которые преемственны по отношению к обыденному опыту индивидов. Социологическое объяснение должно допускать обратный перевод на язык, которым пользуются сами участники, осмысливая свою собственную деятельность. Если объяснение не удовлетворяет этому требованию, оно не обосновано на интенциональном уровне. Согласно феноменологическому определению этого термина, обоснованность можно считать обеспеченной лишь тогда, когда достигнуты преемственность и совместимость социологических объяснений и обыденных ин-

терпретаций, выдвигаемых самими участниками. Социологические модели должны соответствовать методам выяснения адекватности, практикуемым членами общества в их повседневной деятельности. Лишь таким образом обеспечивается согласование этих моделей с обыденным опытом.

Обоснованность устанавливается путем разработки методов, показывающих, что с любой практической точки зрения социологические реконструкции согласуются с конструкциями действующих лиц. Уинтер, критикуя социологическую теорию с позиций феноменологии, развивает шюцеский постулат адекватности и поясняет его смысл. Анализ критериев обоснованности или адекватности интерпретации он начинает с рассмотрения проекта действия, как этот проект существует в сознании действующего индивида, и переходит далее к описанию взаимоотношений проекта и объяснительных конструктов социальной науки. Отправляясь, таким образом, от уровня значения, от уровня интенционального “я” в его повседневной деятельности, Уинтер приходит к такому выводу. “Решающий критерий адекватности суждений о «смысле действия» — проект действующего индивида, т.е. будущее состояние дел, как оно предвидится им, или же ретроспективное воспроизведение проекта как прошлого, значит, смысл — это то, «что имеется в виду» или «что имелось в виду»¹.

На высшем уровне критерием адекватности социологической интерпретации является сама общая культура. Уинтер, следуя за Гарфинкелем, определяет культуру как “социально санкционированные основания и действия, которые используются людьми в их повседневных делах и относительно которых считается, что все прочие члены группы используют их тем же самым образом”². Именно эти основания суждения, принимаемый на веру мир и выступают в качестве конечного критерия обоснованности.

Следует отметить, что в отличие от большинства социологических словарей, “экстернализирующих” культуру, феноменология считает, что социальная структура “мнится” [meant] и не обладает никаким “объективным” единством. Как уже отмечалось выше, для некоторых научных целей социолог может (и даже должен) принять на веру определенные аспекты этого мнения [meaning], однако при этом он постоянно держит в уме тот факт, что социальная структура или любой другой социальный феномен, рассматриваемый в качестве объективной, внешней, независимой переменной, является продуктом интенциональной социальной “работы” членов данной культуры. Таким образом, “культура — это кристаллизованный проект общества и решающий критерий адекватности любой интерпретации социальных процессов”³.

В самом общем виде проблема обоснованности, как она должна решаться в конкретных эмпирических исследованиях, состоит в том, чтобы обеспечить соответствие социологических интерпретаций интерпретациям здравого смысла. Уинтер говорит об этом следующим образом: “Критерием адекватности лю-

¹ Winter G. Elements for a Social Ethic. N.Y.: Macmillan, 1966. P. 131.

² Ibid. P. 123.

³ Ibid. P. 138.

бого научного постижения этих типичных форм является спроектированное значение этого мира для его осознания”. И далее. “Социальная форма, или символ, или институт может рассматриваться как кристаллизация значений, образующих сознание, и, как таковая, может быть подвергнута научной схематизации. Частные социальные науки могут затем идеализировать элементы этой формы и обстоятельства ее возникновения в соответствии с собственными интересами. Однако понимание значения этой закономерности в конечном счете проверяемо лишь путем открытия интенциональности, посредством которой она конституировалась и актуализировалась”¹.

Постановка проблемы в этих идеальных и абстрактных терминах не дает нам никаких указаний на то, как практически может быть достигнута такая обоснованность в повседневной исследовательской деятельности. Ни Шюц, ни Уинтер не дают практических рекомендаций. Сам язык препятствует достижению абстрактного идеала обоснованности в силу бесконечного регресса интерпретаций этого мира, так что социологу приходится довольствоваться некоторым приближением к идеалу, степень которого определяется практическими потребностями того или иного исследования. Главная цель состоит в том, чтобы были практически удовлетворены *требования адекватности, предъявляемые участниками*. При этом следует помнить, что сама природа обыденных “разговоров” препятствует удовлетворению абстрактного идеала. Язык — это больше, чем просто устная речь, ибо мимика и жесты также интенциональны, насыщены значением. Отсюда — новые проблемы, отсюда и ограниченность социологического описания. Социолог никогда не может “описать все как было”, ибо не все переживаемое выразимо в *языке*. В этом смысле даже частично обоснованное описание всегда останется лишь интерпретацией повседневного опыта.

Г. Гарфинкель

Рациональность научной и повседневной деятельности

Введение

Программа дисциплины предполагает, что социолог дает научное описание мира, которое включает в себя анализ не только особенностей фено-

Источник: Garfinkel H. The Rational Properties of Scientific and Common-sense Activities // Positivism and Sociology / Ed. by A. Giddence. L.: Heinemann, 1974. P. 53—73. Пер. с англ. Г. Хартулари, Н. Багринцевой.

¹ Winter G. Op. cit. P. 137, 140.

менов поступков людей, но также совокупность представлений людей о мире. Результатом такого исследования неизбежно будут рабочие умозаключения, касающиеся разнообразных явлений, которые подразумеваются под термином “рациональность”. В общем, исследователи-социологи приходят к определению рациональности на основе отбора одной или нескольких имеющих характеристик научной деятельности в ее идеальном описании и понимании. Такое определение затем служит методологической основой исследования при вынесении суждения о реалистических, патологических, основанных на предубеждении, базирующихся на заблуждениях, мифических, магических, ритуальных и тому подобных характеристиках повседневного поведения, мышления и убеждений.

В подавляющем большинстве случаев социологи приходят к выводу, что эффективное, устойчивое и стабильное поведение и социальные структуры существуют вне зависимости от очевидного противоречия между знаниями и образом действия непрофессионалов и идеальным знанием и образом действия ученого. В силу этого социологи считают, что рациональные свойства и характеристики, не включенные в разработанные ими определения, не представляют интереса с эмпирической точки зрения. Для них предпочтительным является изучение особенностей и условий нерационального поведения человека. В итоге в большинстве существующих ныне теорий социального действия и социальной структуры рациональные действия имеют второстепенный статус. Целью данной работы является попытка переломить данную тенденцию и изменить нынешний статус рациональных действий, делая акцент на проблеме:

- 1) разнообразных рациональных характеристик поведения;
- 2) условий социальной системы, обуславливающих различные виды социального поведения.

Рациональное поведение

Термин “рациональность” используется для обозначения различных видов поведения. Ни один из списков таких видов поведения не может считаться исчерпывающим с точки зрения рациональности. В своей классической работе 1943 г. по проблеме рациональности Альфред Шюц дает свод таких определений¹. Эта работа и является отправным пунктом нашего исследования.

Если оформить данные Шюцем разнообразные определения термина рациональности как описание поведения, получается нижеследующий список. Далее в данной работе такие виды поведения будут определяться как “рациональность”.

¹ Schutz A. The Problem of Rationality in the Social World // *Economica*. 1943. N 10. P. 30—49.

1. Распределение по категориям и сравнение.

Совершенно естественно для человека обращаться к своему опыту для сравнения его с той ситуацией, с которой он сталкивается. Иногда рациональность означает тот факт, что человек обращается к двум ситуациям для сравнения, а иногда озабоченность тем, как сделать проблемы сопоставимыми. Сказать, что человек занят проблемой сравнения, означает, что он рассматривает ситуацию, другого человека или проблему в качестве типового примера. Степень вовлеченности человека в процесс сравнения, частота этой деятельности, успешность данной деятельности — это часто те виды поведения, о которых говорят, что деятельность одного человека более рациональна, чем другого.

2. Допустимая ошибка.

Возможно, что человеку требуется шкала соответствия между тем, что он видит в жизни и теорией, мерками которой он пользуется, давая названия, измеряя что-то, описывая или собирая различные данные своих наблюдений. Этому соответствию человек может уделять большое внимание или совсем не уделять. В одном случае он использует литературную аллюзию для описания происшедшего, в другом случае для похожих ситуаций человек может обращаться к математическим журналам в поисках подходящей модели. Иногда говорят, что один человек рационален, а другой нет или рационален в гораздо меньшей степени. При этом имеется в виду, что некто уделяет гораздо большее внимание вышеуказанному соответствию между тем, что реально произошло, и тем, что, по его предположению, может произойти, чем кто-либо из его окружения.

3. Поиск средств.

Рациональность иногда означает, что человек обращается к определенному способу действия, который в прошлом привел к тем результатам, достижение которых желательнее в данный момент. Иногда человек действительно прибегает к такому же набору действий, который сработал в сходной ситуации, иногда роль играет частота попытки, в остальных случаях рациональный характер действий означает способность или склонность человека задействовать в данной конкретной ситуации те приемы, которые срабатывали в других ситуациях.

4. Анализ альтернатив и последствий.

Термин “рациональность” часто используется для того, чтобы заострить внимание на том факте, что человек при оценке конкретной ситуации способен предвидеть последствия своих действий. Это означает не только то, что человек мысленно проигрывает ситуацию в ее развитии важным ориентирами в этом анализе является повышенное внимание к возможным альтернативным последствиям возможных действий, количество времени, затраченного на данный анализ, и глубина самого анализа. Если давать оценку самой прорабатываемой в воображении ситуации и возможным последствиям неких действий, то важными критериями являются четкость анализа,

количество возможных альтернативных вариантов, скорость поступления и количество информации, которые дополняют построение схем. Все вышесказанное позволяет охарактеризовать действия человека как рациональные.

5. Стратегия.

Перед тем, как сделать выбор, человек может определить некий спектр возможных альтернативных следствий своих действий и условия, которые приведут к тому или иному исходу ситуации. Кьюман и Норгенштерн (в 1947 г.) назвали этот спектр следствий стратегией игрока. Спектр этих решений можно также определить как стратегический характер предвидений актора. Человек, который в своем предвидении руководствуется принципом, что завтра все будет как вчера, может рассматриваться как менее рациональный, чем тот, который принимает во внимание возможные альтернативы развития текущих ситуаций и руководствуется принципом “как поступить, если...”

6. Планирование событий.

Когда мы заявляем, что некто, ведя себя определенным образом, пытается осознать будущее, мы часто имеем в виду, что человек выстраивает определенную последовательность событий. Проблема планирования событий подразумевает определенную гибкость и широту, присущую человеку при анализе возможных путей развития ситуаций во времени. Заданность и ограниченность таких потенциальных возможностей развития ситуации сравнима с “меньшей рациональностью”, которая означает, что при ориентации в будущем человек руководствуется принципом “все может быть”.

7. Предсказуемость.

Высокая четкость планирования развития ситуации может сопровождаться решением задачи нахождения предсказуемых характеристик ситуации. Человеку может понадобиться предварительная информация о конкретной ситуации, с помощью которой он определит некоторые эмпирические константы. Человек может также попытаться сделать ситуацию предсказуемой, осмыслив логические свойства построенных мысленных моделей, используемых им для анализа ситуации или для пересмотра правил, которыми он руководствуется при использовании своей модели. Таким образом, превращение ситуации в предсказуемую означает использование всех возможных средств для того, чтобы избежать неожиданности. Так, стремление к “минимальной неожиданности”, как и использование различных средств для достижения этого считаются поведением, подпадающим под определение рациональности.

8. Принципы поведения.

Иногда термин “рациональность” применяется к определенным принципам поведения. Под этим подразумевается система терминов, которой человек пользуется при вынесении суждения о правильности своих суждений, характеристик и восприятия. Подобные принципы четко определяют то, что мы знаем о каком-либо предмете: отличия, например, между реальным фак-

том и предположением, видимые доказательства, иллюстрации и предположения. Важно выделить две основные группы таких принципов: декартовские (картезианские) и трайбалистские (племенные). Картезианские принципы предполагают, что решение верно, потому что человек действует без оглядки на других людей, т.е. человек принимает решение без оглядки на социальную принадлежность. В противоположность этим принципам, трайбализм предполагает, что принятое решение верно или нет в зависимости от того, учитываются ли групповые интересы при принятии решения. Человек считает свое решение верным или неверным, если не нарушается его согласие с тем, кто для него социально важен.

Термин “рациональность” обычно относится к картезианским принципам принятия решений. Поскольку некие условности, существующие в обществе, могут ограничивать принятие решения, степень такого ограничения, контроль над условностями, а также превращение их в незначимые и неэффективные тоже относятся к понятию рациональности.

9. Выбор.

Иногда уверенность человека в реальной возможности осуществления выбора и сам выбор считаются признаками рациональности.

10. Основания для выбора.

Те причины, по которым человек делает выбор из альтернативных вариантов, а также те причины, которыми он объясняет свой выбор, часто считаются рациональными характеристиками поступка. Мы считаем необходимо уточнить понятия “основания для выбора”:

а) рациональные основания часто считают исключительно научной информацией. Ввод этой информации рассматривается как перечень предположений. Эти предположения человек считает верным основанием для своих дальнейших умозаключений и действий;

б) под рациональными основаниями часто понимаются такие свойства знаний человека, как “точность и объем” тех приемов создания мысленных моделей, которыми человек пользуется. Во внимание принимается тот факт, состоит ли “перечень” из некоего набора жизненных случаев, соотносящихся с общими эмпирическими законами, приведен ли опыт в систему, соответствуют ли данные знания научным предположениям;

в) поскольку основания служат для выбора стратегией дальнейших действий, как было отмечено в п. 5, важной становится еще одна грань рациональности;

г) человек может делать выбор, тщательно анализируя результат своих действий в ретроспективе. Например, пытаясь определить, какое решение было принято в прошлом, человек может понять основания своего поступка “исторически”. Таким образом, если определенная информация считается ответом на некоторые вопросы, то сама эта информация может служить мотивом для возникновения вопросов. Отбор, систематизация и унификация исторического контекста поступка после его совершения являются известными признаками рациональности.

11. Сопоставимость соотношения “цель — средства” с принципами формальной логики.

Человек может рассматривать предполагаемый ход событий в виде определенного ряда действий на пути к решению проблемы. Эти действия могут быть выстроены как система связей “цель — средство”. Проблема считается решенной, если эта система не нарушает идеального соответствия принципам формальной научной логики и правилам научной процедуры. Сам факт подобной деятельности, частота подобного анализа, настойчивое стремление рассматривать проблемы таким образом, успех, связанный с тем, что проблема решалась именно так, могут служить альтернативными способами определения рациональности поступков человека.

12. Четкость семантики.

Обычно обращают внимание на то, что человек пытается рассматривать семантическую конструкцию как переменную с максимальным значением. По этому значению можно приблизиться в процессе совершения необходимых действий, решая проблему создания вероятного определения ситуации. Тот, кто воздерживается от слепой веры до тех пор пока не соблюдено условие приблизительного максимального значения, считается более рациональным, чем тот, кто сохраняет веру в чудо.

Человек может считать приоритетной задачу придания ясности мысленным построениям, что в свою очередь проясняет ситуацию и задачу совместимости подобных построений с тем спектром значений, которые используются другими. С другой стороны, человек может совсем не уделять внимания таким задачам. Первое является более рациональным, чем второе.

13. Четкость и ясность сами по себе.

Шюц отмечает, что проблема ясности и четкости — это проблема адекватности целей человека. Различные связи между идеальным и действительным, стремлением к ясности и целями, достижению которых служит четкость мысленного построения, раскрывают дополнительные характеристики рациональности.

Сюда необходимо включить еще две переменные:

- 1) насколько ясно индивид ценит четкость саму по себе;
- 2) насколько индивид ценит необходимость осуществления своего проекта.

Одна только взаимосвязь этих двух переменных превращает задачу придания четкости в проект, который нужно осуществить. В этом смысл четкости и ясности “самих по себе”. Однако соотношение между этими двумя составляющими может рассматриваться индивидом как включающее некоторые независимые составляющие. Такая связь рассматривалась бы как существенная при анализе “четкости, достаточной для данных целей”. Рациональность часто означает высокую степень взаимозависимости различных факторов. Подобная зависимость как основной принцип исследования или интерпретации означает различие между “чистой” и “прикладной” теорией.

14. Совпадение определения ситуации и научного знания.

Индивид может подвергнуть критике то, что он рассматривает как реальную действительность, с точки зрения совпадения этой действительности с научными данными. Законность такой критики означает, что в случае обнаружения расхождений между тем, что индивид рассматривает в качестве верных оснований для умозаключения (фактом), и тем, что было продемонстрировано как верное, первое подлежит изменению, чтобы соответствовать второму. Таким образом, поступки индивида считаются рациональными в той степени, в которой он готов приспособиться или приспособляется к научной трактовке ситуации.

Иногда под рациональностью понимают чувства индивида, которыми сопровождается его поведение, т.е. эмоциональная нейтральность, неэмоциональность, обособленность, отсутствие интереса, имперсонализация. С точки зрения задач данной работы, однако, чувства не представляют предметы научного интереса. Интересно то, как индивид использует свои чувства для определения чувственного характера объекта, о котором он говорит или который является предметом его исследования. Исследователю ничто не мешает испытывать большие надежды на то, что его гипотеза подтвердится. Нельзя, чтобы пристрастность или беспристрастность исследователя влияли на обоснование его научных предположений: тот, кто считает свои чувства несущественными, иногда считается рациональным, в то время как тот, кто руководствуется чувствами, рассматривается как менее рациональный. Все это верно для идеальной модели научной деятельности.

С помощью понятия “рациональность” можно смоделировать образ человека и тип его поведения. Можно создать модель индивида, который изучает конкретную ситуацию с точки зрения своего предшествующего опыта, а именно определенных совпадений с прежними ситуациями, определенных рецептов, которые привели к желаемому эффекту в прошлом и который желателен теперь. Решая подобную задачу, индивид может уделять большое внимание проблеме сравнения. Он может предвидеть последствия своих поступков, руководствуясь теми формулами, которые приходят ему на ум. Индивид может проигрывать в воображении некую ситуацию во всех вариантах ее развития. Он может проследить каждую альтернативу ее развития, приняв определенные решения до того, как сделан выбор, а также обдумать проблему условий, направляющих развитие ситуации по тому или иному альтернативному пути. Такое структурирование опыта может сопровождаться обдумыванием дальнейших действий, нацеленных на достижение нужного результата. В этом случае особое внимание человек уделяет предсказуемым характеристикам ситуации, которыми он надеется манипулировать. Поступки индивида могут лежать в сфере выбора между несколькими средствами достижения цели. Индивид может принимать решение о правильности своего выбора, сопоставляя его с эмпирическими законами.

Рассматривая в широком смысле такой тип поведения, мы приходим к различию между интересами повседневной жизни и интересами науки. Ког-

да человек исходит из “повседневной жизни”, имеют место все рациональности, кроме чрезвычайно важных четырех. Идеальные максимы поведения, эти рациональности, не входящие в сферу повседневного поведения, представляют собой проектную стадию решения проблемы и осуществления задачи, стоящей перед индивидом, т.е. важную связь “цель — средство”.

Эти максимы должны:

1) находиться в полном соответствии с научными законами грамматики и способа действий;

2) содержать четкость и ясность мысленных конструкций;

3) иметь в качестве приоритета ясность научного знания, исследования и интерпретации;

4) опираться только на научные допущения в ходе реализации проекта.

Корреляция поведения с этими максимами описана раньше (п. 11—14). Для простоты эти рациональности будут называться научными.

Главной мыслью этой работы и, возможно, будущей программы исследования, которая будет развернута в случае подтверждения научной достоверности данной теории, является следующее.

Научные рациональности являются стабильными свойствами поступков и действий как санкционированные идеалы только в том случае, если действия основаны на научном теоретизировании. В отличие от этого действия, основанные на повседневной деятельности, не содержат данные рациональности ни в качестве стабильных свойств, ни в качестве санкционированных идей.

В обществе, в котором действиям и социальным структурам, построенным на предположениях повседневной жизни, уделяется определенное внимание, попытки стабилизации этих характеристик или принуждение к лояльности посредством административной системы поощрений и наказаний являются обычными действиями, увеличивающими характеристики взаимодействия в обществе. Все другие рациональности (п. 1—10) имеют место при любом подходе — как стабильные свойства, так и санкционированные идеи.

Предыдущие утверждения следует рассматривать эмпирически, а не как догму. Предлагаемая в данной работе реконструкция проблемной рациональности основывается на подтвержденном характере этих предположений. Основа их различия в расхождении подхода с точки зрения повседневной жизни и научного теоретизирования. Необходимо сделать краткое сравнение двух этих подходов. После этого мы вернемся к основной проблеме данной работы.

Сравнение двух аналитических подходов

Анализ на основе повседневной жизни и научное теоретизирование описаны Шюцем в феноменологии повседневных ситуаций. Поскольку аргументация данной работы строится на предположении, что данные сферы — научная и повседневная — не перекрываются, необходимо сделать краткое сравнение двух этих подходов.

1. Первое предположение Шюца — это “*epoche*” естественной установки, показывающей, что в повседневных ситуациях практический теоретик достигает определенного порядка событий, стремясь к тому, чтобы объекты были такими, как кажется. Справляясь с повседневными проблемами, индивид нуждается в интерпретации событий. “Официальная нейтральность” в отношении правил такой интерпретации позволяет сомневаться в том, что объекты такие, как кажутся. Как свойство событий это допущение состоит из ожиданий, что не подвергающиеся сомнению связи существуют между тем, каким объект кажется, и его предполагаемым обликом. Исходя из всего спектра альтернативных связей, из того, каким объект кажется, и его предполагаемым обликом, индивид предполагает, что не подвергающиеся сомнению связи являются санкционированными и что другой человек руководствуется приблизительно теми же ожиданиями.

Научное теоретизирование играет совершенно другую роль. Оно предполагает, что интерпретация осуществляется при сохранении “официальной нейтральности” в отношении убежденности в том, что объекты таковы, какими они кажутся. Повседневная деятельность, разумеется, позволяет актерам сомневаться в том, что объекты такие, как кажутся. Но это сомнение ограничивается практическими причинами, уважением к ценному в данном обществе социальному порядку, который не ставится под сомнение. Научное теоретизирование основано на странном идеале безграничного сомнения, его не ограничивают даже социальные структуры.

2. В качестве второго предположения Шюц рассматривает практический интерес индивида к событиям в мире. Одной из инвариантных характеристик повседневных предположений является убеждение человека в том, что события действительно влияют на его поступки и действия, а действия и поступки, в свою очередь, оказывают влияние на события. При этом предположении построение строго событийного ряда человеком должно подвергаться проверке со стороны индивида, безотносительно того, что ему известно в качестве факта, допущения, умозаключения, фантазии и т.п. в силу занимаемого им общественного и физического положения в реальном мире. В силу этих причин в повседневной жизни события, причинные факторы не являются предметом чисто теоретического интереса. Человек не считает, что при анализе происходящих с ним событий правильно было бы применять к ним то правило интерпретации, согласно которому ему ничего не известно, или все, что он знает, весьма относительно. Сумму своих знаний индивид полагает неотъемлемой частью самого себя как социального объекта. Его компетенция санкционирована его безусловной принадлежностью к группе, что является одним из условий адекватного восприятия повседневной жизни. К этой компетенции индивид не относится как к относительной. Напротив, научный подход предполагает, что точность модели обязательно подлежит проверке. При этом принимается во внимание относительность знаний исследователя об объекте в силу занимаемого им общественного и физического положения в реальном мире.

3. Шюц дает описание временной перспективы повседневной жизни. Человек, ориентирующийся в жизни с позиций повседневности, согласует вероятность событий с временным аспектом. Этот аспект формируется из умозаключений индивида о структуре временных связей, которые этот индивид задействует стандартным способом. Беседа, которой он занят, состоит не только из потока событий, но и из того, что говорится или может быть сказано за единицу времени, обозначенную стрелками часов. Процесс беседы осознается не только через последовательность высказываний, но через всю ее совокупность, как начало, продолжение, окончание. События беседы выступают координирующим фактором социальной структуры временной детерминации: для человека, ориентированного на практический смысл, время имеет иной стандарт, чем для теоретика науки.

В повседневном подходе интерес индивида к межперсональной структуре стандарта времени диктуется теми проблемами, которые данная структура помогает решить, структурируя и координируя внутреннюю жизнь индивида и его физическое перемещение. В научном теоретизировании интерес к этому стандарту, принимая во внимание тот факт, что исследователя интересует действительное положение вещей, жестко связан с использованием такой структуры, которая предназначена для эмпирического мира, а не служит задаче построения схемы действий индивида. Остальные подходы дают альтернативные возможности выстраивания событий во времени. Так, в пьесе "Ethan Frome" судьба двух любовников приходит в начале как условие тех действий, которые приведут к ее реализации. Однако в повседневной жизни человек наделяет события свойствами, присущими временным связям. Он полагает, что эта схема целиком зависит от общества, что это как некий общий для всех циферблат часов.

4. Человек предполагает некую форму социальности. Это допущение состоит из убеждения в том, что существует различие между тем образом о человеке, который, по его мнению, сложился о нем у других людей, и тем представлением, которое он сам о себе имеет. Таким образом различается общественная и частная жизнь индивида. Человек также полагает, что всякие изменения в этом различии полностью им контролируются. Это положение работает, как правило, при повседневном анализе опыта индивида, при рассмотрении того, что за чем идет. Существует некое соответствие общераспространенного интерсубъективного мира коммуникации негласному знанию, согласно которому человек считает, что ему известно то, что неизвестно другим. В основе событий повседневной жизни лежит это "знание про запас". В условиях научного анализа это правило претерпевает серьезные изменения. В социальности научной теории теоретик находится как бы вне роли. Все вопросы, связанные с его описанием мира, обнаружатся и публикуются. Довольно трудно увидеть, чтобы кто-то стыдил ученого или вызывал его возмущение.

5. Повседневный анализ содержит допущения интерсубъективного мира коммуникации. События повседневной жизни информационно базируются на здравом смысле. Интерсубъективный мир коммуникации, по нашему

мнению, первично модифицируется через построение научных теорий. Наилучшими примерами для теоретика являются, например, его коллеги, которые представляют абстрактных исследователей, орудия теоретического знания.

Все сферы вышеописанных аналитических подходов не пересекаются. Переходя от использования одного из них к другому, человек переживает радикальную смену метода структурирования событий. В математическом смысле два аналитических подхода логически несопоставимы. Суть отличий можно выразить следующим примером. События, которые зритель воспринимает через экран телевизора, когда он занят сюжетом, могут быть сопоставимы с событиями, наблюдаемыми зрителем на съемочной площадке и построенными по указаниям режиссера. Было весьма дидактично с философской точки зрения заявлять, что зритель видел различные аспекты одного объекта, или что сюжет не что иное, как некритически воспринимаемые построения режиссера.

Методология

Говоря о характерных чертах “рационального выбора”, авторы трудов по социальному строению (организации) имеют в виду именно научные рациональности. Здесь предполагается, что научные рациональности не являются ни свойствами, ни принятыми идеалами выбора, осуществляемого в рамках данного действия, определяемого пресуппозициями (предположениями) повседневной жизни. Если научные рациональности не являются ни постоянными свойствами, ни принятыми идеалами повседневной жизни, то трудности, возникающие перед исследователями и теоретиками, касающиеся концепций организационных целей, роли знания и незнания во взаимодействии, трудности в восприятии значимых идей в математических теориях коммуникации, сложности в попытках дать рациональное объяснение концепции аномалии в свете межкультурных данных, могут быть порождены самими исследователями.

Эти трудности обусловливаются не сложной сущностью предмета, а настойчивым стремлением трактовать действие с некоторой долей научного тщеславия вместо рассмотрения подлинных рациональностей, которые поведение субъекта обнаруживает в процессе выполнения своих практических действий.

Шюц определяет, что имеется в виду под “субъект имеет рациональный выбор”. Рациональный выбор может иметь место, если субъект обладает знанием — каким будет завершение (результат) действия. Но данный постулат предполагает:

1) знание места завершения (результата) действия в рамках планов субъекта (о чем он также должен быть осведомлен);

2) знание соотношения данного завершения (результата) с другими, их совместимость и несовместимость;

3) знание желательных и нежелательных последствий, которые могут возникнуть в процессе реализации основного завершения (результата) действия;

4) знание цепи средств, которые технически или даже онтологически соответствуют осуществлению данного завершения (результата) действия, независимо от того, контролирует ли субъект все или некоторые из этих элементов;

5) знание о влиянии этих средств на другие возможные завершения (результаты) других целей средств, включая все их второстепенные эффекты и случайные последствия;

6) знание о доступности этих средств для субъекта, выделяя легко доступные средства.

Вышеуказанные пункты ни в коей мере не исчерпывают сложного анализа, необходимого для опровержения идеи рационального выбора. Трудности многократно увеличиваются в случаях, когда рассматриваемое действие является социальным.

<...> В таком случае следующие элементы становятся дополнительными детерминантами для действий субъекта. Первое — интерпретация или неверная интерпретация действий субъекта его товарищами. Второе — реакция других людей и ее мотивация. Третье — все указанные элементы знания (1—6), которые субъект истинно или ложно относит к своим партнерам. Четвертое — все категории отношений дружественности или незнакомости, интимности или анонимности и категория, которую мы раскрыли в нашем описании организации социального мира.

Но тогда, задается вопросом Шюц, где можно обнаружить систему рационального выбора?

Идея рациональности рождена не на уровне повседневных концепций социального мира, а на теоретическом уровне научного наблюдения за ним, и именно здесь она находит свое методологическое применение.

Шюц заключает, что она находится в логическом статусе, элементах и использовании моделей, которые ученый применяет как схему интерпретации событий поведения.

Но это не означает, что рациональный выбор не существует в сфере повседневной жизни. В самом деле, важным является интерпретировать термины “ясность” и “четкость” в видоизмененном и узком значении, а именно, как ясность и четкость, адекватные требованиям практических интересов субъекта.

<...> Я хотел бы подчеркнуть, что идеал рациональности не является и не может являться ни своеобразной чертой повседневной мысли, ни методологическим принципом интерпретации человеческих действий в повседневной жизни.

Воссоздание проблемы рациональности для передачи исследователям состоит в предложении, что социологи должны перестать рассматривать научные рациональности как методологическую базу при рассмотрении человеческих действий.

Исходя из выше сказанного, как должен исследователь действовать, когда он перестал рассматривать научные рациональности в качестве методологической базы?

Нормы поведения

Когда вышеупомянутые рациональные свойства (особенности) действий принимаются за нормы правильного поведения, можно определить четыре значения таких норм.

Во-первых, нормы могут состоять из рациональностей, которые ученые-исследователи определяют как *идеальные нормы* своей деятельности в качестве ученых. Во-вторых, термин может быть применен к рациональностям как действующим нормам научной работы. Эмпирически два ряда норм не имеют полного соответствия. Например, существует определенный способ моделирования проблемы и ее решения, а также доверие других исследователей, что нашло отражение в исследовательской работе, в то время как учебники по методологии это игнорируют. В-третьих, термин может относиться к социально применяемым и социально санкционированным идеалам рациональности. Здесь подразумеваются рациональности как нормы мысли и поведения, соответствующие нормам повседневной жизни. На обычном языке это означает “разумное” мышление и поведение. В-четвертых, существуют рациональности как действующие нормы деятельности в повседневной жизни.

Чтобы использовать рациональности как методологический принцип для интерпретации деятельности человека в повседневной жизни, необходимо продолжить следующим образом. (1) Идеальные характеристики, которые ученые определяют как идеальные нормы их исследовательского и теоретического поведения, применяются для конструирования модели индивидуума, который действует, руководствуясь этими идеалами. Например, игрок фон Ноймана является такой моделью¹. (2) После этого можно проследить различия в том, как действуют сконструированная модель и реальный индивидуум.

Тогда возникают следующие вопросы: насколько различаются действия реального индивидуума и модели? Какова эффективность средств, применяемых реальным индивидуумом, когда они рассматриваются относительно более глубоких знаний ученого, которые представляются как “текущее состояние научной информации”? Какие существуют ограничения при использовании норм поведения в достижении конечных целей? Какое количество информации и какого рода необходимо для решений, прогнозируемых при рассмотрении всех значимых с научной точки зрения параметров проблемы, и каким объемом информации располагал реальный индивидуум? Одним словом, модель точно определяет, что методы, согласно которым будет действовать индивидуум, должны соответствовать действиям идеаль-

¹ Neumann J. von, Morgenstern O. Theory of Games and Economic Behavior. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1947. P. 79.

ного ученого. Тогда возникает вопрос: чем объясняется тот факт, что реальный индивидуум не соответствует, или в действительности редко соответствует? Короче говоря, модель этого рационального человека используется в качестве основы для проведения иронического сравнения, в результате чего можно выявить различия в поведении рациональном, нерациональном, иррациональном и арациональном¹.

Но эта модель является лишь одной из огромного числа моделей, которые могли бы быть применены. И что еще более важно, *ее использование не продиктовано необходимостью*. Чтобы быть более точным, модель рациональности необходима, но только для того, чтобы дать определение вероятным (надежным) знаниям, а затем *только, но неизбежно (неминуемо), для научного теоретического прогнозирования*.

Это необходимо для научного теоретического прогнозирования, но не по причине онтологической характеристики хода событий, которые ученые стремятся осмыслить и описать. Это необходимо потому, что нормы, влияющие на использование их суждений как верное основание для дальнейших умозаключений (т.е. в самом определении надежных знаний), описывают такие санкционированные процедуры как, например, недопустимость одновременного использования двух несовместимых и противоречащих суждений в качестве законного основания для подтверждения правомерности другого суждения. Поскольку определение вероятных знаний, научных или каких-либо других, состоит из норм, влияющих на использование суждений в качестве основания для дальнейших умозаключений и действий, необходимость модели обеспечивается решением действовать в первую очередь в соответствии с этими нормами². Модель рациональности для научного построения теории (теоретических прогнозов) буквально состоит из идеального представления теоретика о том, что значение этих норм должно быть точно объяснено.

Это является следствием того, что действия по расследованию и интерпретации определяются тем, что в общепринятом понимании называется необычными нормами научной деятельности, и что решение использовать суждение как основание для дальнейших умозаключений изменяется независимо от того, может или не может пользователь ожидать, что он будет *социально* поддержан при использовании данного суждения. Но в деятельности, управляемой исходными предпосылками повседневной жизни, основная часть вероятных знаний не подлежит таким ограничениям относительно суждений в качестве законного основания для дальнейших умозаключений и действий. В нормах значимости повседневной жизни верно использованное суждение означает, для пользы кого пользователь особенно ожидает быть *социально* поддержанным.

¹ Pareto V. *The Mind and Society*. N.Y.: Harcourt Brace, 1935; Lewy M.J.Jr. *The Structure of Society*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1952.

² Kaufmann F. *Methodology of the Social Science*. N.Y.: Oxford University Press, 1944.

Рациональности как данные

Не продиктовано необходимостью, что определение рациональных действий должно быть дано для того, чтобы осмыслить область исследуемых моментов поведения. Этот вывод имеет важные и парадоксальные последствия, позволяющие нам изучить особенности рациональных действий тщательнее, чем когда-либо ранее. Вместо использования образа идеального ученого как средства для создания наглядных категорий поведения — таковыми категориями являются рациональная, нерациональная, иррациональная и арациональная — рациональные характеристики действий могут быть даны при их эмпирическом описании по отдельности, согласно приведенному выше перечню рациональностей, или по совокупности этих характеристик. Затем пользователи позаботятся о составе действий актера и его характерных взаимоотношениях с другими лицами как факторах, которые могут учитывать наличие этих рациональностей, но без иронического сравнения.

Вместо особенностей рациональности, трактуемых как методологический принцип интерпретирования деятельности, они рассматриваются только как эмпирически проблематичный материал. Они имеют только статус данных и должны учитываться таким же образом, как и более привычные особенности поведения. Так, если бы мы спросили, каким образом особенности положения в обществе соотносятся с проявлениями бунтарского поведения, или мирных споров, или поведением “козла отпущения”, или со случаями профессионального непостоянства и т.п., также мы могли бы спросить, каким образом особенности положения в обществе определяют пределы, в которых действия актеров демонстрируют рациональности.

Тогда требуется дать ответы на следующие вопросы: почему рациональности научного теоретического прогнозирования разрушают непрерывность действий, находящихся под влиянием отношения к повседневной жизни? Что в социальном устройстве делает невозможным преобразование двух “позиций” (отношений) друг в друга без резкого прерывания непрерывной деятельности, управляемой каждой из них? Каким должно быть социальное устройство для того, чтобы большое количество людей, таких, как мы видим в нашем современном обществе, могли бы не только занять научную позицию безнаказанно, но и достичь успеха в ее применении, имея в то же самое время значительные претензии к образу жизни тех, для кого эта позиция чужда и во многих случаях невыносима? Короче говоря, рациональные особенности поведения могут быть исключены социологами из области философских комментариев и оставлены для эмпирического исследования.

Можно сформулировать общее правило, которое характеризует (относит к определенной категории) многочисленные исследовательские проблемы: любой фактор, который мы берем в качестве условного для любой из особенностей деятельности, является условным фактором рациональностей.

Это правило определяет, что такие факторы, как, например, территориальная структура, количество людей, охваченных одной социальной связью, ротация, нормы, определяющие, кто с кем может общаться, временные рамки посланий, распределение информации, а также действия по изменению этого распределения, количество и размещение информационных преобразующих пунктов, особенности правил кодирования и языка, стабильность, общественные порядки, структурная или специальная степень напряжения системы, особенности престижного положения и властных полномочий и т.д., должны рассматриваться как детерминирующие рациональные характеристики действий, находящихся под влиянием повседневной жизни.

Прежде всего, необходим инструмент, который может быть использован для оценки кластеризации рациональностей и их экстенсивности для действий индивидуумов, находящихся в разных слоях социальной структуры.

Выводы

Цель данной работы — рекомендация гипотезы, что научные рациональности могут быть использованы только как неэффективные образцы (идеалы) действий, управляемых предпосылками повседневной жизни. Научные рациональности не являются ни стабильными признаками, ни санкционированными идеалами повседневной рутины. Любая попытка сделать эти особенности устойчивыми или навязать соответствие им в поведении в повседневных делах усугубит бессмысленный характер поведения индивидуума и умножит неупорядоченности системы взаимодействия.

Насколько бы сильным ни было утверждение, оно ничего не опровергает и, фактически, полностью сочетается с современными социологическими рассуждениями и современными социологическими теориями и открытиями. Социологи уже давно занимаются вопросами описания условий организованной общественной жизни, в которой возникают явления рациональности в поведении. Одно из таких условий — непрерывно ведущиеся документально подтвержденные социологические записи: рутина как необходимое условие рациональной деятельности. Макс Вебер в своем различии между реальной рациональностью и формальной рациональностью практически единственный из ученых-социологов использовал различие между двумя видами рациональностей во всей своей работе, хотя его предположения больше основывались на интуиции, чем на практическом опыте.

Взаимоотношения между повседневностью и рациональностью являются несовместимыми, если они рассматриваются и с точки зрения обычного здравого смысла, и с точки зрения философских учений. Но в социологических исследованиях считается почти трюизмом способность индивидуума действовать “рационально”, т.е. способность индивидуума *в своих повседневных делах* продумывать и разрабатывать альтернативные планы действий, еще до

реального начала событий выбирать условия, при которых он будет следовать тому или иному плану, при выборе средств отдавать предпочтение их эффективности. Остальное зависит от того факта, что индивидум должен воспринимать как аксиому, принимать на веру множество особенностей социального устройства. Действия индивидума можно сравнить с айсбергом, лишь $\frac{1}{10}$ часть которого возвышается над водой. Также и индивидум будет действовать рационально лишь в $\frac{1}{10}$ доле ситуации, а $\frac{9}{10}$, которые “находятся под водой”, он будет воспринимать как очевидное, т.е. то, что явно сочетается с его предположениями и остается незамеченным. В своем знаменитом суждении о нормативных условиях деятельности Эмиль Дюркгейм сделал упор на то, что обоснованность и понятность сформулированных условий контракта зависит от несформулированных условий, которые контрактные стороны воспринимают как само собой разумеющиеся и обязательные для исполнения обеими сторонами.

Социолог относит эти, принимаемые как аксиомы, особенности ситуации, в которой находится индивидум, а именно, рутинные аспекты ситуации, позволяющие “действовать рационально”, к нравам и обычаям. Социологи полагают, что нравы описывают пути, при которых общепринятый порядок является условием для рациональных действий или, говоря языком психиатрии, для действенности “принципа реальности”. Таким образом, нравы были использованы для того, чтобы показать, каким образом стабильность общепринятого общественного порядка является условием, которое дает возможность индивидумам в ходе их повседневных дел с уважением относиться к действиям, убеждениям, стремлениям и мнению друг друга как к разумному, нормальному, допустимому, понятному и реалистичному.

4

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

А. Страус

Качественный анализ для социальных наук

Исходные положения

Данному подходу к качественному анализу служат основой несколько допущений, которые будут сначала перечислены, а затем вкратце рассмотрены.

1. Весьма разные материалы — интервью, записи встреч, судебные дела, полевые наблюдения, другие документы, как, например, дневники и письма, ответы на анкету, статистика переписей и т.д. — представляют собой данные, необходимые для социального исследования.

2. Методы, пригодные для того, чтобы качественно *анализировать* материалы, находятся в зачаточном состоянии по сравнению с теми, что применяются для количественного анализа, или используются ныне для сбора данных аналитиками, занятыми качественными исследованиями. Их нужно развивать, широко и открыто распространять в сообществе специалистов по социальным наукам.

3. Существует потребность в теории, способной быть результативной на разных уровнях обобщения, базируясь на качественном анализе данных.

4. Без опоры на факты такая теория будет умозрительной и соответственно — бесполезной.

5. Общественные явления сложны и в данном качестве требуют комплексной, основательной теории. Имеется в виду концептуально компактная теория, способная объяснить множество вариантов изучаемых явлений.

Источник: Strauss A.L. Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge; N.Y., 1987. P. 1—10. Пер. с англ. А. Хлопина.

6. Хотя не может быть жестких правил для проведения качественного анализа ввиду разнообразия в социальной среде, исследовательских проектах, индивидуальных стилях исследования и непредвиденных случайностях, влияющих на его результат, осуществима разработка общих принципов и приближенных методов результативного анализа.

7. Такие принципы станут полезными специалистам в самых разных областях (социологии, антропологии, политической науке, психологии, здравоохранении, воспитании и образовании) в той мере, в какой они сочтут, что их работе может помочь качественное изучение материалов. Такие аналитические приемы окажутся пригодны и тем из исследователей, кто отвержен социальной наукой самой по себе или ее более гуманному направлению (“пониманию”, “просвещению”).

8. Наконец, сама деятельность, будь то определение практических и теоретических задач, в основном осуществляется исследователями. Усовершенствование качественного анализа в направлении его углубления, применения и обучения ему может произойти именно за счет осмысления этой деятельности с точки зрения ее организации и осуществления. Таким образом, известное нам по работе (как результат ее исследования) применимо и для того, чтобы совершенствовать методы исследования.

Материалы в качестве данных

В социальных науках общепринято проводить различие между количественным и качественным исследованием. Отчасти оно ведет свое происхождение из истории отдельных дисциплин, в частности, социологии и социальной антропологии. Со времен Второй мировой войны во многих направлениях социологии поощрялись методы сбора данных посредством анкет и опросов и их статистической обработки, а в антропологии главенствует качественный анализ данных, полученных в поле, хотя позднее нашли большее применение количественные методы, к огорчению многих из тех, кто непоколебимо доверял качественным методам. “Качественные методы” в общем смысле использовались к тому же исследователями, в работе которых столь же мало сходства, как у этнографов, психологов-терапевтов и специалистов по психологии организации, социологов, занятых фундаментальной теорией или макроисторией. Сторонники *качественного* исследования склонны уделять особое внимание ситуационному и часто структурному контекстам, что отличает их от приверженцев *количественного* исследования, чья работа учитывает многофакторность, но неосновательна в контекстуальном плане. Сторонники качественного исследования, однако, не убедительны в сопоставлениях, так как часто изучают отдельные ситуации, организации и институты.

Решительно оставив в стороне соображения исторического порядка, мы утверждаем, что практически пригодное различие (о чем пойдет речь далее) состоит в том, как данные обрабатываются *аналитически*. (Нет ни логичес-

ких, ни каких-либо разумных оснований для противопоставления этих двух общих способов анализа. В этой книге я не рассматриваю их совместное применение, поскольку в настоящее время не располагаю опытом по исследованию их применения в сочетании или по обучению ему.) В количественном исследовании статистика или другие математические методы используются для анализа данных. В качественном исследовании воздерживаются от использования статистики или каких-то других математических методов либо минимально применяют их, хотя, конечно, элементарный или неявный подсчет и измерение обычно имеют место (сколько, как часто, в какой степени?). При качественном анализе можно обратиться к разнообразию специальных нематематических приемов, что отмечено ниже, либо, как это общепринято на практике, можно воспользоваться процедурами, которые заметно не отличаются от прагматики аналитических операций, совершаемых любым человеком, осмысливающим повседневные проблемы. (Леонард Шацман называет это *естественным анализом*.) Тем не менее сторонники качественного исследования, обращаясь больше к научным, нежели практическим или личным проблемам, действуют более осмысленно и “строго научно”, когда прибегают к этим общепринятым способам мышления.

В каком бы случае ни обращались к самим материалам, подлежащим исследованию, встречаются с их многообразием, используемым в социальных науках специалистами по истории, психологии, образованию и праву, хотя разными дисциплинами отдается предпочтение одному типу материала перед другим. Те, кто главным образом применяют качественные методы, например этнографы, в основном доверяют данным, полученным посредством полевых наблюдений в виде записей и интервью. Историки могут воспользоваться интервьюированием, если работают над изучением современных или относительно недавних событий, но в принципе они пользуются множеством разных документов в зависимости от их наличия и доступности — разного рода архивными материалами, мемуарами, официальной и личной корреспонденцией, дневниками, газетами, картами, фотографиями и рисунками. Исследователи в области терапевтической психологии основывают свои заключения главным образом на клинических наблюдениях за невербальным, а также речевым поведением пациентов и интервью.

Многие социологи отдают предпочтение письменным текстам перед полевым исследованием или интервьюированием. Другие же извлекают информацию из магнитофонных записей разговоров, протоколов судебных заседаний и т.п. Тогда как некоторые материалы (данные) создаются исследователем с помощью интервью, полевых наблюдений или видеокассет, их огромное количество либо уже существует в общественной сфере, либо находится в частных руках, и они могут быть использованы информированным исследователем в том случае, если он или она в состоянии определить их местонахождение и получить доступ к ним, либо ему или ей будет сопутствовать удача наткнуться на них.

Затем эти материалы становятся пригодными для качественного анализа, осуществляемого во всех социальных науках. В некоторых дисциплинах или их отдельных областях материалы превращаются в количественные данные посредством подсчетов и измерений. В других дисциплинах производится минимум подсчетов и количественных измерений, и такие операции можно вовсе не проводить по разумным, хорошо продуманным основаниям. Преобладание качественного либо количественного анализа иногда обусловлено идеологией (способной утвердиться в виде традиции), но чаще всего — это проблема рационального выбора. В любом случае качественный анализ не просто полезен — часто он необходим.

Разумеется, в повседневной жизни любой человек прибегает к той или иной форме качественного анализа (большинство сограждан Мольера пользовалось прозой), не задумываясь, поскольку без него невозможно ни одно суждение, решение или действие. Так что, по существу, и здравый смысл, и выводы “исследователя” основаны на “качественных данных”. Если не возводить хулу на заботы, углубленность в себя и рутину, сопряженные со значительной частью аналитических методов, применяемых в повседневных практиках (на самом деле и сами исследователи возмущались бы, когда бы их обвинили в том, что этих качеств лишено их обыденное мышление), то станет достаточно ясно, что коллеги ожидают от исследователей приверженности к дисциплинарным практикам, ассоциирующимся с “хорошим ученым”, что они раскритикуют или проигнорируют любой научный результат за некомпетентность, проявившуюся в недостаточно тщательной, добросовестной, систематичной обработке достоверных данных.

С точки зрения наших целей представляется более важным, что усовершенствованный качественный анализ требует яснее сформулированных, более надежных и обоснованных методов, нежели те, которые наличествуют сейчас. *Анализ* тождествен *интерпретации* данных. Под ним подразумеваются исследовательская работа, предполагающая (как мы уточним позднее) несколько разных, но связанных элементов (или операций). Качественный анализ проводится на разных уровнях детализации, абстракции и систематизации. В начале исследовательского проекта, когда ученый читает предложение или наблюдает за действием, вероятен более или менее имплицитный анализ, но это все же анализ, поскольку восприятие избирательно, будучи опосредовано языком и опытом. При последующем изучении либо даже в первые дни, когда наблюдаемая обстановка, интервью или внимательно прочитанный документ ставят под вопрос аналитическое чутье ученого, выводы будут более эксплицитными и, вероятно, систематичными. В зависимости от целей исследователя конечные выводы, полученные в процессе его работы, могут сильно различаться по уровню абстрактности.

На самых низших уровнях они бывают “дескриптивными”, а на самых высших — допустимо стремление к наиболее общим теоретическим положениям. Однако не исключено, что само описание сделано на “низком уров-

не” — предположительно лишь воспроизводит слова информаторов или фиксирует их действия, либо же по комплексности, систематичности и интерпретативности оно представлено на значительно более высоком уровне. Если имеется в виду социальная теория, то допустима ее разработка с большей или меньшей систематичностью и степенью абстрактности. Кроме того, на любом уровне теория бывает шире или уже по масштабу, а также связанной с другой — более или менее разработанной.

Специалисты по социальным наукам, всецело или главным образом занятые качественным анализом, в общем согласятся, что количественные методы намного яснее представлены в стандартных учебниках и обучении. Некоторое время назад в “Открытии фундаментальной теории” [“The Discovery of Grounded Theory”, 1967] нами отмечено, что, начиная с 1920-х гг., количественные аналитики разработали относительно строгие методы сбора и обработки своих данных и много написали о них. Напротив, сторонники качественного исследования все еще очень сосредоточены на совершенствовании и прояснении своих приемов сбора данных, тогда как соображения аналитического плана, оставаясь в лучшем случае второстепенными, передаются в основном ученикам, да и то больше в невербализованном, чем в ясно выраженном виде.

Тем не менее ряд исследователей разработал эффективные методы качественного анализа материалов разного типа. Отличительный признак некоторых из этих методов подсказан их наименованиями — анализ разговора, сетевой (качественный) анализ, биографический анализ, социолингвистический анализ, драматургический анализ (или анализ социальной драмы), текстуальный анализ. Эволюция этих методов или набора приемов сопряжена с особыми направлениями исследования и теоретическими интересами либо убеждениями.

Фундаментальная теория

Методологический пафос фундаментальной теории в ее подходе к качественным данным направлен на концептуальное развитие, исключаящее всякое особое пристрастие к специфическим типам данных, направлениям исследования или теоретическим интересам. Так что это — фактически не специальный метод либо прием. Скорее это — стиль проведения анализа, который включает ряд отличительных признаков, таких, как теоретический отбор, определенные методологические принципы, в том числе постоянные сравнения и применение кодирующей парадигмы для того чтобы обеспечить экспликацию и компактность понятий.

Этот подход к качественному анализу разработан Глезером и Штраусом в начале 1960-х гг. во время изучения методом полевого наблюдения персонала, занятого уходом за умирающими пациентами больницы. Его развитие содействовали два направления в работе и мысли. Во-первых, общий

пафос американского прагматизма (в особенности, сочинений Джона Дьюи, а также Джорджа Г. Мида и Чарльза Пирса), в том числе его особое внимание к действию и проблематичной ситуации, а также необходимость думать о методе в контексте решения проблемы. Во-вторых, просуществовавшая в Чикагском университете с 1920-х до середины 1950-х гг. социологическая традиция, сторонники которой широко пользовались полевыми наблюдениями и глубинными интервью как методами сбора данных и сильно продвинули исследования в области социологии труда. Обеим традициям — философской и социологической — служило исходным допущение о том, что изменение есть постоянное свойство общественной жизни, но его особые направления нуждаются в объяснении. Ими также во главу угла ставились социальные взаимодействия и процессы. Кроме того, почти что с самого начала Чикагской социологической школой подчеркивалась необходимость постичь взгляды акторов для того, чтобы понять взаимодействие, процесс и социальное изменение. Исследование об умирающих, проведенное Глезером и Штраусом с внедрением аналитического стиля фундаментальной теории, вдохновляли как философская, так и социологическая традиции. (Для более полного в историческом смысле понимания происхождения фундаментальной теории может быть полезно прочитать книгу Джона Дьюи “Логика: Теория исследования” [“Logic: The Theory of Inquiry”], 1937, а также статьи Эверетта Хьюджа о профессиях и труде, о работе в поле в “Социологическом взгляде” [“The Sociological Eye”], 1971.

Разумеется, теория создается и проверяется даже теми учеными, чей аналитический метод остается относительно имплицитным, а в основе аналитического стиля фундаментальной теории лежит предпосылка о том, что теория с разными уровнями обобщения необходима для более глубокого познания социальных явлений. Мы также доказывали, что такая теория должна разрабатываться в глубокой связи с данными при полной осознанности исследователями их инструментальной роли в развитии фундаментальной теории. Это в одинаковой мере относится как к тем из них, кто сам производит данные, так и к тем, кто обосновывает свою теоретическую деятельность с помощью данных, собранных другими. Когда в 1967 г. мы отстаивали такую позицию, то, вероятно, тогда надобность напоминать специалистам по социальным наукам о необходимости обоснования их теории была актуальнее, чем сейчас.

Комплексная теория

Социальные явления сложны — таково одно из наших самых глубоких убеждений. Похоже, что совершенно противоположное допущение либо обосновывает многие социальные исследования, либо ученые, придерживающиеся разных традиций в своей работе, описывают или анализируют изучаемые явления в довольно несложных понятиях, не оставляя себе иной воз-

возможности упорядочить “шумную, расплывающуюся путаницу” опыта, кроме как “на некоторое время” не заметив его сложности. По-видимому, они исходят из того, что следующие поколения возьмут за основу сделанное теперь, т.е. исходят из некоей посылки о накоплении, которая кажется разумной, так как никому не дано одновременно изучить все. Однако со сложностью можно справиться куда чаще, чем это удастся вполне компетентным и даже даровитым исследователям. Вот почему методологии фундаментальной теории уделено особое внимание необходимости разработать много понятий и их взаимосвязей для того, чтобы уловить то большое количество изменений, которые свойственны главным явлениям, изучаемым в отдельном исследовательском проекте. Нам предстоит не раз высказываться о проблеме подобной сложности в этой книге.

Общие принципы и приближенные методы, а не правила

Под влиянием неверных представлений, согласно которым (как доказывает спекулятивная философия) результативному научному знанию свойственны точные, четкие, ясные приемы, люди, изучающие общественную жизнь, зачастую полагают, что пусть не сейчас, но позднее удастся установить правила для ведения социальных исследований. Мы не считаем правильным характеризовать любую работу таким образом, и, вероятно, эта характеристика совсем неверна в отношении тех исследователей, кто стремится создать новую или расширить существующую теорию. Даже в более точных физических или химических исследованиях неизбежна случайность, и поэтому для свода действий желательна и часто необходима. Более того, самые знающие из современных философов полагают, что в любом случае невозможна подобная кодификация исследования.

Мы не будем дальше обсуждать тему, лишь повторим, что несколько структурных условий ослабляют аргументы в пользу четкой кодификации методологических правил проведения социального исследования. К их числу относится разнообразие социальной среды и сопутствующие ему непредвиденные обстоятельства, которые влияют не только на сбор данных, но и на то, как можно и нужно их подвергнуть анализу, и это — вне всякой связи с частую по-разному поставленными перед ним целями. К тому же у исследователей совсем не одинаковые стили изучения, не говоря уже о различиях в таланте и одаренности, так что стандартизация методов (принятая на веру безоговорочно, всерьез) только бы сдерживала и даже подавляла их лучшие устремления.

Поэтому наша позиция в отношении предложенных нами же методов заключается в том, что их никак нельзя рассматривать в качестве твердо установленных, жестких правил преобразования данных в результативную

теорию. Они представляют собой общие принципы, способные помочь большинству исследователей в их деле. Для этого, как мы постараемся объяснить, им нужно ясно представлять себе не только ограничения и сложности контекста и целей исследования, но и свойства их данных. Они также должны проявлять чуткость и понимание в отношении временных параметров или стадий своих исследований, неокончательного характера “самой лучшей работы”, сделанной в любой дисциплине, в отношении огромного значения их собственного опыта как ученых, локальный контекст, в котором проводится их исследования.

Однако наши общие принципы разработки теории — не просто перечень предложений, но нечто большее, поскольку в них подчеркнута, что нужно провести определенные операции. Необходимо делать кодирование, причем, как правило, в начале и неоднократно. Аналитические заметки следует делать в начале и неоднократно вместе с кодированием. А немного понятий, слабо связанных между собой, не могут соответствовать требованиям, предъявляемым к выработке социальной теории. Кроме того, мы подчеркиваем, что игнорировать личный темп и опыт допустимо лишь в ущерб результативности и аналитическим качествам работы. Мы не считаем, что можно дать каждому такие строгие инструкции о конкретном обращении с любым видом материалов, которые пригодны для всякого исследования, на всех стадиях исследовательского проекта. Методы тоже разрабатываются и меняются с учетом разных контекстов. Тем не менее в этой книге мы везде разместили перечни приближенных методов. Их следует трактовать как операциональные приемы вспомогательного характера, показавшие свою пригодность в нашем исследовании. *Изучите их, воспользуйтесь ими, но видоизмените* их в соответствии с требованиями к вашему собственному исследованию. В конечном счете методы разрабатываются и подвергаются изменению в ответ на меняющийся контекст работы.

Наши общие принципы и приближенные методы будут, таким образом, полезны любому, кто разделяет наше стремление лучше понять общественные явления посредством разработки теории некоего уровня, независимо от реальных свойств материалов или от той конкретной дисциплины, которой он или она были обучены. Мы полагаем, что то же самое можно сказать о тех ученых, кто привержен разным традициям или теоретическим подходам хотя бы и в рамках одной и той же дисциплины. Это при условии, что такие традиции и подходы обретают новые достоинства, когда выдвигаются важные проблемы или рассматриваются актуальные либо упущенные прежде стороны общественной жизни, а не удерживают их приверженцев на догматических позициях, исключающих возможность своевременно подвергнуть сомнению кое-что в нынешнем состоянии их собственных традиций.

В основе некоторых современных точек зрения лежат противоположные послышки: либо социальная наука имеет перспективы, либо от нее следует отказаться в пользу более гуманных версий знания о человеческой деятельности. Наша же позиция находится где-то между этими крайностями, хотя

некоторые из тех, кто использует методологию фундаментальной теории, могут склоняться к той или иной позиции на этом континууме. Тем не менее мы считаем, что общие методологические принципы и процедуры пригодятся исследователям, какую бы позицию они ни занимали в долгом и сеющем очень глубокие разногласия споре между обществоведами.

Научно-исследовательская деятельность как работа

Исследование следует понимать и анализировать как работу — такова последняя исходная посылка подхода к фундаментальной теории. По существу, мы выступаем за совершенно осознанный подход к тому, как ведется и фактически может осуществляться исследование в разных обстоятельствах, на его отдельных стадиях специалистами, отличающимися своим отношением к работе по сбору, изучению и интерпретации информации, превращающейся в их данные. Соответственно содержание этой книги обосновывается не только с четко выраженных позиций социологии труда, но и предназначено помочь читателям в ее понятиях осмыслить их исследовательские устремления. Нам хотелось бы также отметить, что исследовательская работа не сводится лишь к ряду задач или четкой формулировке целей последних. Она подразумевает организацию труда — четко определенную последовательность непосредственных задач (отдельный вид работы), управление материальными, социальными и личностными ресурсами для того, чтобы завершить исследование, работая в одиночку, с кем-то еще или целой группой.

Вероятно, нужно еще отметить, что в ракурсе социологии труда особое значение придается временным параметрам как самого исследовательского процесса, так и изучаемых явлений. В этом, разумеется, проявляется наше пристрастное отношение к действительности. И все же мы полагаем, что ракурс социологии труда может быть полезен, даже если читатель, делая свое исследование, на ближайшее будущее решает пренебречь временными параметрами, преуменьшить или отрицать их значимость. Однако нельзя не признать, что наш подход к анализу, в котором уделено особое внимание сложности явлений и непредвиденным случаям, влияющим как на изучаемые явления, так и на сам ход исследования, ориентирован на то, чтобы подчеркнуть важность понятия времени для аналитика.

Нам остается прибавить к изложенному, что тогда как во многом исследовательская работа состоит из рутины и периодически может быть скучной, она вместе с тем, несомненно, и самая творческая, будучи захватывающей, развлекающей, требующей напряжения сил, хотя иногда и крайне тревожной и мучительной. Это значит, что исследователи в качестве работников могут и должны проявлять очень большую заботу о своей работе: не просто быть озабоченными ее результатами или ревностно относиться к их репутации как ученых, а найти в ней глубокий смысл и удовлетворение. Ис-

следователи и их работа оказывают огромное воздействие друг на друга именно в том смысле, какой имел ввиду Джон Дьюи, когда писал о художниках (он не проводил кардинальных различий между художественной и научной деятельностью): “самовыражение в материале и посредством него, представляя собой произведение искусства, *само по себе* есть продолжительное взаимодействие между «я» и объективными условиями, процесс, где *и то и другое* (курсив наш. — С.А.) обретает форму и порядок, которыми они сперва не обладали”. Словом, исследователь, если он не просто компетентен, то эмоционально и интеллектуально будет “весь в работе”, будет испытывать глубокое влияние опыта, возникшего из самого процесса исследования.

К. Кнор-Цетина

Наука как практическая рациональность

“Друг мой, факты — как коровы.
Если в них достаточно пристально
всматриваться, они, как правило,
разбегаются”

Дороти Л. Сейерс

Фабрикация фактов

В приведенном афоризме Дороти Сейерс двойной смысл — философский и методологический. С философской точки зрения факты — вовсе не скала, на которой строится наше знание. Они скорее проблематичны и обнаруживают тенденцию превращаться в ничто, если в них внимательно всматриваться. Методологический же смысл афоризма в том, что к фактам следует присматриваться поближе. Они, как домашние звери, входят в привычный круг нашего общения, и мы не очень-то их разглядываем. Взгляд же издалека, вообще говоря, не позволяет их опосрить.

Философия давно признала, что факты в самом деле проблематичны. Не случайно поиски природы фактического — как суть постижения природы познания — снова и снова служили стимулами дальнейшего развития эпистемологических теорий. При этом споры часто вращались вокруг вопроса о том, где находится проблема и как к ней подступиться. Как известно, Кант ответил на этот вопрос поиском условий существования чистого естествознания и дал его решение в категориях человеческого мышления. В последующих теориях позна-

Источник: Knorr-Cetina K. Die Fabrikation von Erkenntnis. Zur Anthropologie der Naturwissenschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1984. Пер. с нем. Е. Корепанова.

ния проблема конституирования фактического познающим субъектом смещается в другие сферы. Пожалуй, наибольшее влияние имело направление, обратившееся к логике науки и обозначаемое некоторыми как объективизм¹. Для него мир состоит из фактов, описание которых является целью науки. В соответствии с этим эмпирические закономерности и теоретические объяснительные гипотезы следует воспринимать в буквальном — а не только переносном — смысле как описания окружающего мира². Но если научное значение есть не что иное, как действительность, репрезентированная наукой, то поиск значения и отношений фактов превращается в вопрос о значении и отношениях научных суждений. А потому поиск природы фактического может быть сведен к вопросу о том, каким образом логика научного объяснения мира консервирует построенную по ее законам структуру действительности³.

Представление о том, что проблема фактичности сводится к вопросу о соответствии продуктов науки и фактов внешнего мира, нельзя признать непротиворечивым. Для антиобъективизма проблема имеет прямо противоположный характер⁴. Почему наши миры, знания, заданные интересами и инструментально созданные, должны отражать какие-либо структуры, присутствующие в природе? Проблема фактичности заключается не в отражении природы наукой, а в соотношении знания и социальной среды. Научное знание, по Фейерабенду, есть не что иное, как семейство религиозных истин, подобное любому другому семейству такого рода⁵. Системы вероучений раз-

¹ Материалы критических дискуссий об “объективизме” и “эмпирическом реализме” нужно искать в работах Роя Баскара и Юргена Хабермаса (Bhaskar R. A Realist Theory of Science. Sussex, England: Harvester Press, 1978; Habermas J. Erkenntnis und Interesse. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1971. S. 88 ff.).

² Это не более чем наивная версия эмпирического реализма. Наивной позиции соответствовала точка зрения, согласно которой картина действительности, даваемая нам наукой, истинна. В противоположность этому здесь акцент делается на эмпирическом направлении. О продолжении дискуссии см. ван Фраазена (Fraassen B. van. The Argument Concerning Scientific Realism. Los Angeles: University of Southern California; 1977. Kap. 2). Формулировка Зуппе гласит, что результаты научных исследований представляют собой генерализованные описания реальности, которые должны быть истинны, чтобы теория могла считаться адекватной (Suppe F. The Search for Philosophical Understanding of Scientific Theories // The Structure of Theories, Urbana, Ill.: University of Illinois Press, 1974. P. 211).

³ См. дискуссию в: Habermas J. Op. cit. P. 90.

⁴ Ср. определение антиреализма у Лакатоса в его критике Тулмина: (Kritik und Erkenntnisfortschritt / I. Lacatos, A. Musgrave (Hrsg.). Braunschweig: Vieweg, 1974).

⁵ Для ознакомления с позицией Фейерабенда см. эссе: Feysabend P. Explanation, Reduction and Empiricism // Scientific, Explanation, Space and Time: Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Vol. 3. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1962, а также: Feysabend P. Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge // Analyses of Theories and Methods of Physics and Psychology: Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Vol. 4. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1970. Сравните также материалы обстоятельной дискуссии в: Feysabend P. Against Method. L.: New left Books, 1975 (нем. var.: Wider den Methodenzwang. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1976).

виваются в историческом и социальном контексте. Поэтому изучение “фактического” аналогично изучению истории и социальной действительности.

Но если научное знание, как и магия, является “лишь” формой веры, не должны ли мы признать, что они взаимозаменяемы? Антиобъективизм упрекает в том, что он игнорирует такие рассуждения, а потому превращается в наивный скептицизм, сводящий “успех науки к чуду”¹. И наоборот, научно-теоретический объективизм можно упрекнуть в том, что он придает физическому миру в конечном счете исключительное значение в формировании содержания знания и при этом игнорирует *конституирующий* характер этого содержания. Именно его антиобъективисты анализировали в деталях. Кембел и др. суммировали основные ограничения, которым подчиняются человеческое наблюдение и человеческое мышление². В исторических трудах Бома, Хансона, Куна и Фейерабенда показана способность научного наблюдения к конституированию теорий. Исходя из тезиса о вариантности значений научных теорий они подвергают сомнению идею, что имеет место прогресс в области теорий, благодаря которому сами собой квазиавтоматически корректируются нефизические детерминанты научных результатов как временные искажения³.

Разумеется, антиобъективизм склоняется к тому, чтобы реконструировать конституируемость научного содержания продуктов знания. Тем самым событие с пристрастием поселяется в мире идей. Вызывающими интерес продуктами почти всегда являются теории и значимые факторы — часто это современные воззрения на мир, идеологические скрепы или теории предшественников. В тенденции можно воспринимать антиобъективизм как оборотную сторону объективизма: в то время как в объективизме мир фактов конституирует в конечном счете научное понимание мира (зеркальную картину реальности), в антиобъективизме научные концепции мира конституируют (организуют) мир таким, “каков он в действительности”. Обе эти позиции (рефлексивная и конститутивная) сопоставлены на рис. 1⁴.

Повторим: упомянутые ранее антиобъективистские позиции отражают исторически или социальное релятивизированное знание, для которого научные теории действительны как явления, несоизмеримые друг с другом и,

¹ См.: Putnam H. *Philosophy of Logic*. N.Y.: Harper and Row, 1971. P. 22.

² Ср.: Campbell D. *Descriptive Epistemology: Psychological, Sociological and Evolutionary*. Harvard, 1977. (William James Lectures).

³ О разнообразии толкований результатов наблюдения см., например, материалы симпозиума, изданные под редакцией Зуппе, в особенности вводную главу самого Зуппе (Suppe F. *Op. cit.* S. 3—241).

⁴ Рисунок является скорректированной модификацией схемы Вулгара, в которой, как мне кажется, конструктивистская позиция представлена в искаженном виде (Woolgar S. *Irony in the Social Study of Science // Science Observed. Perspectives of the Social Study of Science* / Ed. by K. Knorr-Cetina, M. Mulkay. L.: Sage, 1983).

быть может, неизбежно связанные с мировоззрением своего времени. Прагматизм добавляет к этому смещение акцентов в сторону контекста открытия (context of discovery). Цель работы Чарльза Пирса состояла в том, чтобы показать, что игнорируемый объективизмом процесс исследований сам по себе содержит логическую систему рекомендаций, которая делает возможной объективирование реальности¹. В известном примере Пирса с твердостью алмазов именно так конституируется научное понятие твердости — только благодаря возможности растереть другой камень с помощью алмазов. Тем самым проблема фактичности в равной мере преобразуется в проблему конституирования действительности посредством логики исследовательского процесса, как и в проблему логики и взаимозависимости научных теорий.

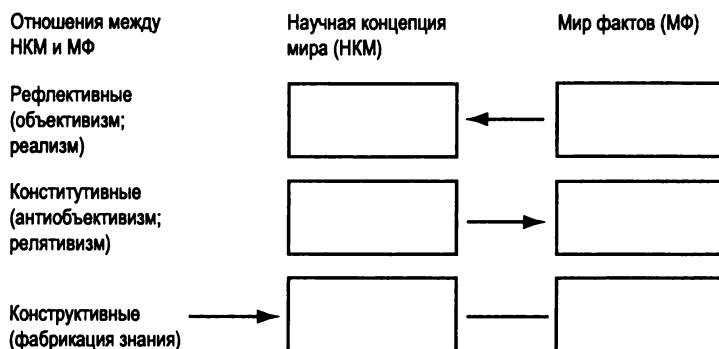


Рис. 1. Схема соотношений научной концепции мира и “мира фактов” (стрелки показывают направления влияния и находящийся на переднем плане исследовательский интерес)

Этому способствует критика объективизма внутри собственного лагеря за принятие фактического мира, закономерно определяемого благодаря постоянству соединений событий². Согласно этой критике постоянные последовательности события являются результатом исследовательского труда, создающего в лаборатории замкнутые системы, в которых становятся возможными и повторяемыми однозначные результаты, в то время как на практике такая устойчивая последовательность событий, как и успешность прогнозов, являются редкими исключениями. В соответствии с этим законо-

¹ Относительно формулирования программы Чарльза С. Пирса см., например его “Логику” 1873 г.

² Для ознакомления с этой критикой см.: Bhaskar R. Op. cit., в особенности гл. 2, с. 118 и далее.

мерности науки следует рассматривать скорее как правилоподобные и трансфактические, чем дескриптивно адекватные. А практический успех естествознания должен связываться более со способностью ученого анализировать ситуацию в целом, распознавать опорные точки и согласовывать различную информацию, чем с естественно-научными законами.

Можно добавить к этому, что сама наука часто оперирует моделями успеха, которые обходятся без описательного соответствия между действительностью и знанием. Так, например, психиатрия применяет успешные методы лечения ряда психических нарушений, не располагая их адекватными описательными объяснениями и не считая таковые необходимыми. Простейшим, может быть, является пример мыши, убегающей от кошки¹. Должны ли мы принять, что мышь убегает, поскольку носит в своей голове корректное отображение естественной враждебности кошки? Или достаточно признать, что виды, которые не убегают от своих естественных врагов, со временем прекратят существование? Как ход биологической эволюции, так и развитие науки позволяют предположительно истолковывать механизмы, предпосылкой которых не служит то, что знание копирует природу.

Критика “эмпирического” объективизма (реализма) указывает еще на одну грань конститутивной роли, приписываемой *производству* знания прагматизмом, а именно на то, что экспериментатор должен восприниматься как каузальная причина полученной последовательности событий и что связи событий следует рассматривать как созданные нами, а не просто данные. Цель данной работы состоит в том, чтобы рассмотреть различные суждения о конститутивной роли производства знания и исследовать, *как* осуществляется познание природы на месте научного исследования. Вместо того чтобы рассматривать научные результаты в качестве каких-либо отражений действительности, можно смотреть на них как на избирательно сфабрикованные из действительности. Вместо того чтобы воспринимать эмпирическое исследование как “вопросы к природе на языке, который она понимает”, можно анализировать научное наблюдение как процесс производства результатов исследования. Вместо того чтобы исследовать внешнее отношение между производством знания и действительностью в рамках модели корреспонденции, можно охарактеризовать внутреннюю генеалогию этих продуктов в научной организации.

Едва ли нужно упоминать о том, что на вопросы о соотношении между действительностью и научными результатами нельзя получить ответ опытным путем. Однако эмпирическим социальным наукам предоставляется возможность наблюдать научные факты в цехе, их производящем, и следить за их развитием. При этом нужно признать context of discovery, который долгое время отвергала философия науки² и которым пренебрегала социология на-

¹ Этот пример взят из: Fraasen B. von. Op. cit.

² Только в новейшее время появилась философская аргументация против пренебрежительного контекста открытия (context of discovery); см., например: Scientific Discovery, Logic and Rationality / Ed. by T. Nickles. Dordrecht, Holland: D. Reidel, 1980.

уки, считая его технико-когнитивным (а потому социологически неинтересным?) стержнем наук. При этом будет показано, не приближаются ли к вопросу о природе научных фактов быстрее, если изучают их изготовление и “закалку” в социальном и историческом контексте, чем если формулируют вопрос как проблему отношения между научными результатами и действительностью¹.

Этимологически слово “факт” означает (в согласии с латинским корнем *facere*) то, что сделано². В настоящей работе проблема фактичности формулируется как проблема фабрикации знания. Тем самым задана ориентация на такое понятие знания, которое видит естественно-научные результаты не только в историко-социальной упаковке, но и в качестве конкретно сконструированных в лаборатории. Конструирование знания — это в принципе анализируемый и специфицируемый процесс, значительную часть которого можно наблюдать в естественно-научной лаборатории. Для целей наблюдения напрашивается до сих пор необычный в научных исследованиях антропологический метод, с помощью которого можно описывать естествознание “на работе”. Настоящее исследование понимается в первую очередь именно как такая этнография естественно-научного познавательного производства. Конечная цель — разработка эмпирической эпистемологии³. Ниже я предвещаю некоторые результаты наблюдений, которые с большей ясностью разъясняют и подтверждают сказанное ранее.

¹ Так, “успех” естествознания можно было бы представить как комплексное явление, которое сопряжено скорее с институализированием отдельных критериев успеха и с методами “технизации” естествознания, чем с соотношением научных результатов и природы.

² Я благодарю Бруно Латурс [Bruno Latour] за это указание.

³ Критикуя Карнапа [Carnap] за неудачную попытку представить физический дискурс в терминах чувственного опыта, логики и количественных теорий, Квайн утверждает, что лучше было бы разобраться, как наука в действительности развивается и обогащается, вместо того чтобы “фабриковать” “фиктивные” рациональные реконструкции (см.: Quine W. *Ontological Relativity and Other Essays*. N.Y.: Columbia University Press, 1969). Квайн снова и снова выступает за защиту “эмпирической эпистемологии”, никогда не примыкая, однако, к антропологическим наблюдателям и считая таковых видениями (см.: Quine W. *Word and Object*. Cambridge, Mas.: MIT Press, 1960). Другие философы науки, такие, как Тулмин (см.: Toulmin S. *Human Understanding*. Oxford: Clarendon Press, 1972) и Фейерабенд (1975), фактически пришли к тому, что науку следует изучать не эпистемологическими, а историческими методами. Новые призывы к “эмпирической эпистемологии” исходят от Кэмпбелла (см.: Campbell D. *Descriptive Epistemology: Psychological, Sociological and Evolutionary*. Harvard, 1977), а также от Апостела и др. (см.: Apostel L. et al. *An Empirical Investigation of Scientific Observation // Communication and Cognition, Special Issue on Theorie of Knowledge and Science Policy*. 1979. P. 3—36). Сравните также Бёме, ван ден Дейла и Крона (см.: Böhme G., Daele W. van den, Krohn W. *Experimentelle Philosophie. Ursprünge autonomer Wissenschaftsentwicklung*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1977). Разумеется, действительные исследования наблюдения как метода появляются только в последнее время.

Конструктивная интерпретация знания: природа и исследовательская лаборатория

Что подразумевается под утверждением: производство знания следует воспринимать как конструктивный, а не как дескриптивный процесс? Начнем прежде всего с работы в лаборатории. Уже краткое пребывание в научной лаборатории покажет, что дескриптивная модель исследования и сопутствующие ей разговоры об “истине”, “тестах-гипотезах” и т.п. едва ли пригодны для понимания процесса исследования. Мы, например, нигде в лаборатории не обнаружили “природы” и “реальности”, которые критически значимы для дескриптивной модели. В большинстве случаев ученые в лаборатории занимаются тем, что уже предварительно в высшей степени структурировано, если не целиком искусственно. Из чего состоит научная лаборатория? Из скопления инструментов и аппаратов со столами и стульями, стеллажей с химикалиями и стеклянными сосудами, холодильников и установок глубокого охлаждения, заполненных тщательно помеченными пробами и исходными материалами вроде буферных растворов и альфа-альфа-листок тонкого помола, протеина одноклеточных, проб крови подопытных крыс и лизосом. Все исходные материалы изготовлены и выращены специально для лаборатории. Большинство веществ и химикалиев предварительно обработаны, изолированы и очищены; они получены из промышленности, работающей специально на науку, и из других лабораторий. Куплены ли они или обработаны самими учеными, в любом случае эти вещества в такой же степени продукт человеческого труда, как измерительные инструменты или научные статьи на письменных столах. Природа в научной лаборатории не показывается — будь это так, ее с самого начала определили бы как продукт научного труда.

Столь же мало, как и природа, обнаруживаются в лаборатории поиски истины, обычно приписываемые науке. Правда, в разговорах ученых обычно присутствуют понятия “истинно” и “ложно”. Однако их использование не отличается от нашего повседневного употребления таких слов в ряду прагматических и риторических функций, которые едва ли имеют какое-то отношение к эпистемологической концепции истины. Если и существует принцип, регулирующий исследовательскую деятельность, то скорее всего он находит выражение в цели науки приводить вещи в движение, заставить их “работать” (to make things work). Озабоченность тем, “бежит”, “идет” или “не идет” опыт и как его можно запустить, указывает скорее на успех, чем на истинность руководящего принципа исследовательского труда. Нет нужды особо подчеркивать, что “заставить нечто идти или бежать” не равнозначно тому, чтобы проверить и при этом по возможности фальсифицировать гипотезу. Это может быть равнозначно лишь некритичной верификации.

Ученые в собственных интересах избегают дальнейших нападков тем, что они предупреждают возможную критику и противостоят ей своей работой еще до ее публикации. Речи ученых о том, как и при каких обстоятельствах “что-то бежит” и бежит ли вообще, свидетельствуют не о наивном верификационизме, а о том, что знание в цехе, представленном лабораторией, должно продуцироваться инструментально. Успешно “дополучить” что-либо — гораздо более повседневное стремление, чем жажда истины, но и оно, вдобавок, может превращаться посредством публикации в признание и кредит. Поэтому успех при “удачном исходе” опыта служит конкретной и постоянно подстегиваемой целью “работы”, но никак не далекий, недостижимый идеал истины.

Однако не только понятия вроде “истины” и “природы” оказываются вдруг неверными, когда речь идет о том, чтобы охарактеризовать лабораторию. Аналогичные трудности возникают при попытках отыскать в лаборатории “теории”, которые мы обычно ассоциируем с наукой. Научные теории приобретают в лаборатории собственный атеоретический характер: они остаются скрытыми в параллельных интерпретациях того, “что происходит” и “что это значит”, и не отделены от процесса инструментальных манипуляций, а скорее вплетены в него. Вместо известного отчуждения между теорией и практикой мы находим в лаборатории такое смешение действия и познания, по отношению к которому уже нельзя адекватно применить традиционное понятие теории. Согласно высказываниям самих ученых, теории в исследовательском процессе ближе к политическим стратегиям, чем к мыслимому содержанию¹. Политические стратегии связаны с интересами в той же мере, как одержимость ученых со стремлением пустить опыт “в ход”. Исследование в цехе, производящем знания, проявляется как ручная работа, зависящая от мастерства актеров, но не в качестве умственного труда в сфере идей.

Отягощенность фабрикации знания решениями

То обстоятельство, что понятия, связанные с декриптивной моделью исследований, оказываются неадекватными ситуации в лаборатории, не воспринимается как неожиданность, если вспомнить о месте модели в абстрактном представлении науки. Столь же мало должно поражать воображение то обстоятельство, что непосредственное наблюдение за работой исследовате-

¹ В 1907 г. физик Джозеф Джон Томсон сказал: “С точки зрения физиков теория материи (a theory of matter) — скорее установка (policy), чем убеждение. Ее задача — связать или скоординировать бесспорно различные явления, а затем предложить эксперимент, стимулировать его и непосредственно руководить им” (см.: Thomson J.J. *The Corpuscular Theory of Matter*. L.: Archibald Constabl, 1907. P. 10).

лей приводит к новой концепции. Мы определили рассматриваемый процесс как конструктивный (в отличие от дескриптивного) и прежде всего связали конструктивность с отсутствием природы на рабочей площадке науки. Теперь сделаем еще один шаг вперед. Утверждается, что продукты науки представляют собой контекстуально-специфические конструкции, несущие на себе печать ситуационной специфики и интересов, их породивших. Это означает, что процесс фабрикации знания не иррелевантен продуктам, получаемым нами. Это означает также, что продукты знания должны рассматриваться в контексте процесса их производства как в высшей степени внутренне структурированные — независимо от вопроса об их внутренней структуризации посредством установления соответствия или несоответствия с природой.

Можно ли более точно охарактеризовать эту внутреннюю структуризацию? Научные результаты, включая эмпирические данные, есть результат процесса производства. Процессы производства включают в себя цепь решений и переговоров, посредством которых достигаются соответствующие результаты. Иначе говоря, они требуют отбора. Со своей стороны, селекция может осуществляться только на базе другой селекции: она основывается на передаче на новый уровень отбора¹.

Представьте себе ученого, который сидит за настольной ЭВМ и обчисляет статистические результаты своих структурных измерений². Машина выбирает некую математическую функцию, с помощью которой эти данные должны аппроксимироваться. Чтобы выбрать из восьми имеющихся в распоряжении функций, машина нуждается в критерии. Такие критерии есть не что иное как инструменты селекции второго порядка: они представляют собой результат выбора среди других возможных критериев, в которые может преобразовываться селекция первого порядка. Наш ученый выбрал в качестве критерия комбинацию максимума R^2 и его минимума при максимальных абсолютных остатках. Однако экспоненциальная функция, которую он получил, ему “не нравится”. Он еще раз запускает программу и использует линейную функцию, результаты которой он находит “не намного худшими”. Основная идея, как он говорит, сводится к получению *одного* уравнения и соответственно *одного* бета-коэффициента для всех этапов эксперимента, поскольку было бы “слишком запутанно” выявлять для каждого отдельного случая особые функции.

Чтобы прийти к решению, программа отбора функции преобразуется в выбор между двумя формами статистически приемлемых кривых. Наш уче-

¹ Об использованном здесь понятии преобразования см. Мишеля Сёреса (Serres M. Hermes III. La traduction. Paris: Minuit, 1974), а также иллюстрации Майкла Кэллона (Callon M. L'operation de traduction comme relation symbolique // Les incidentes des rapports sociaux sur la science / M. Roqueplo (ed.). Paris: CORDES, 1975).

² Этот пример, как и все последующие, не придуман, а взят из моих лабораторных протоколов. Однако из соображений анонимности фамилии опускаются или (в последующих примерах) изменяются.

ный дополнил это пошаговым переходом к другим критериям вроде сходства отношений между различными контрольными данными или линейности. Такие преобразования проблемы могут в целом характеризоваться как неотъемлемая составная часть решений или, используя выражение Лумана, как *селективность*¹. Они позволяют рассматривать научные продукты как внутренне сконструированные, принимая во внимание не только лабораторные виды селекции, посредством которых такие продукты создаются, но также и преобразования, реализованные в этих видах селекции.

Таким образом, научные продукты структурированы на многих уровнях селекции. Эта комплексность научных продуктов интересна сама по себе, поскольку она означает, что в неравных условиях ученые едва ли должны были получать одинаковые результаты: повторение определенной конъюнктуры селективного отбора тем невероятнее, чем менее эти способы селекции фиксированы и чем менее однообразно они осуществляются. Однако, поскольку работающие в некоторой области ученые (благодаря коммуникации, кооперации и конкуренции) находятся в определенных отношениях друг с другом и, кроме того, часто используют одинаковые инструменты и исходные материалы, аналогичные результаты не исключены. Феномен преобразования одних видов селекциями в другие не только указывает на комплексную внутреннюю структур продуктов знания, но также выявляет нам те связующие точки, посредством которых лабораторная селекция вписана в контекст последующих исследований; ниже мы к этому еще вернемся.

Чтобы найти решение, первоначальные виды селекции должны преобразоваться в способы селекции второго порядка. А чтобы поставить под сомнение результат действий, используемые виды отбора критикуются. Селекция может подвергаться критике именно потому, что она селекция: это значит — именно потому, что она включает возможность существования альтернативных видов селекции. Если научные результаты “вырезаны” из реальности с помощью отбора, то посредством переоценки самих способов селекции, о вещественных в этих результатах, они могут также деконструироваться. Если научные результаты сфабрикованы в том смысле, что они производны от определенных решений, то они могут деквалифицироваться посредством альтернативных решений. Поэтому в научной деятельности сама селективность способов отбора, запечатленных в результатах предшествующих научных работ, является темой для дальнейших исследований. В то же время способы отбора, использованные в предшествующих работах, представляют собой те самые ресурсы, которые делают возможным продолжение исследований. Они предоставляют в распоряжение ученых методы, приборы

¹ Для получения полного представления о понятии селективности, данного Никласом Луманом в рамках его системно-теоретических построений, см. подборку работ: Luhmann N. Soziologische Aufklärung. Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1971; Luhmann N. Soziologische Aufklärung. 2. 1975.

и способы интерпретации, на которые исследователи должны опираться в своей работе. “Искусственный” характер важнейших научных приборов и лабораторий выражается именно в том, что они представляют собой не что иное, как локальное скопление материализованных прежних способов селекции. Разумеется, эти виды отбора способствуют разнообразию условий принятия дальнейших решений. Научные продукты не только *пропитаны решениями*, но и *чреват* ими, поскольку они структурируют новые проблемы и предопределяют их решения.

Таким образом, научная деятельность состоит в реализации селективности в пространстве, конституированном предшествующим отбором, которое зачастую выглядит сверхдетерминированным, благодаря чему и появляется возможность возникновения “корректно” полученных и противоречащих друг другу результатов. На языке экономики это означает, что научная работа требует реинвестирования предшествующих результатов в цикле, где способы селекции, сохраняемые в продуктах знания, сами являются темой будущей работы и капиталом. То, что репродуцируется, есть сам селективный цикл. Эта форма автокапитализации применительно к селективности является предпосылкой аккумуляции научных результатов. Она может усиливаться благодаря росту финансовых ресурсов науки или числа ученых. Превращение научных продуктов в деньги для исследований, как оно описывается в новейших квазиэкономических моделях системы науки¹, относится к этой стороне проблемы. Мы можем также сказать, что оно относится скорее к научной продуктивности, чем к производству знания.

Лаборатория: контекст открытия или контекст обоснования

Представление научного исследования как конструктивного, а не дескриптивного процесса означает, что продукты знания понимаются как в высшей степени структурирование посредством селекции. Согласно этому анализ производства знания есть анализ процесса, в ходе которого осуществляются соответствующие процедуры отбора. Но должны ли мы в связи с этим пренебречь контекстом оправдания (*context of justification*) философов науки исключительно в пользу анализа контекста открытия (*context of discovery*)? И не должны ли мы поэтому покинуть изучаемый социологами ареал консенсуса формирования (*consensus formation*), чтобы посвятить себя исключительно вопросам научного творчества и научной продуктивности?

¹ Я опираюсь здесь на квазиэкономическую модель Пьера Бурдьё (Bourdieu P. *The Specificity of the Scientific Field and the Social Condition of the Progress of Reason // Social Science Information*. 1975. Vol. 14. N 6. P. 19–47), а также на ее скорректированную версию Латура и Вулгара (Latour B., Woolgar S. *Laboratory Life. The Social Construction of Scientific Facts*. Beverly Hills: Sage, 1979).

Ответом на такие вопросы является простое “нет”. Начнем с научно-философского утверждения о том, что обоснование на практике есть процесс рационального формирования консенсуса в рамках сообщества ученых¹. Поскольку обосновывающие ученые, по предположению, независимы от продуцентов знания, их критические суждения образуют объективный базис легитимации. Разумеется, если мы рассмотрим процесс производства знания достаточно детально, то среди прочего обнаружится, что ученые лаборатории постоянно соотносят свои решения и способы селекции с предположительной реакцией членов сообщества ученых, принимаемых в расчет в качестве “обнователей”, равно как и с политикой журнала, в котором они намереваются публиковаться. Решения относятся к тому, что находится в (*in*) и что вовне (*out*), что “можно” делать и чего нельзя, с кем войти в “клинч” и с кем посредством этих решений войти в коалицию. Короче говоря, открытия делаются в лаборатории с учетом рискованных нападков и альянсов, как и ожидаемого признания и кооперации.

Одновременно в научном предприятии обнаруживается, что взгляд со стороны изначально присутствует в оценке результатов. Признается ли результат исследований приемлемым или неприемлемым, интересным, недоверенным или даже абсурдным, не зависит в конечном счете от того, *кто* считается автором, *где* и *почему* проведены исследования. Ученые говорят о мотивах и интересах², объясняющих “найденные” результаты, об инструментальных и финансовых возможностях тех, кто проводил исследования, или о том, кто скрывается “позади” результатов. Они практически *индентифицируют* результаты с *обстоятельствами* их “открытия”. Таким образом, сообщество ученых придает решающее значение контексту открытия, если речь идет об оценке претензий на истину.

Вообще же нужно иметь в виду, что и продуценты, и критики претензий на истину, и сторонники разграничения контекстов открытия и оценки являются частью одного и того же сообщества ученых. Тем самым утверждается, что они *делят* между собой основные знания и многие оценочные стандарты, профессиональные предпочтения и способы оценки. Кроме того, критики продукта знания являются одновременно теми самыми потребителями, *нуждающимися*, может быть, в этом продукте для проведения собственных исследований. Как говорилось, способы селекции, использованные в предыдущих исследованиях, представляют собой ресурсы для дальнейшего проведения научной работы и равным образом — тему последую-

¹ См., например: Popper K. *Conjectures and Refutations*. L.: Routledge & Kegan Paul, 1963. P. 216 ff.

² См. также: Phillips D. *Epistemology and the Sociology of Knowledge: The Contributions of Mannheim, Mills, and Merton* // *Theory and Society*. 1. P. 82 ff. Возражая Ц. Райт Миллс [C. Wright Mills] и Роберту К. Мертону [Robert K. Merton], Филип указывает на то, что мотивы и социальная позиция ученых на деле релевантны оценке, которую они получают.

щих изысканий. В конце концов при наличии компетентнейших критиков результатов исследований речь зачастую идет именно об опаснейших конкурентах в борьбе за исследовательские деньги и научную репутацию. Коротко говоря, нельзя понять, почему продуценты и критики, делающие запасы знания и методов исследований, продуценты и потребители, *нуждающиеся* во взаимных услугах, и *конкуренты* в борьбе за научные кредиты и финансовые средства, подвизающиеся в одной и той же специальной области, должны в то же время считаться *независимыми* друг от друга и в этом смысле претендовать на объективность.

Однако есть еще одна сторона проблемы разделения контекстов происхождения и оценки, которую необходимо здесь рассмотреть. Мы слышали, что оценка или признание на практике рассматриваются как процесс формирования консенсуса, причем этот процесс квалифицируется как “рациональный” или “социальный” в соответствии с дисциплинарной принадлежностью интерпретаторов. Но будучи рациональным или социальным, он понимается как процесс *возникновения мнений* и в качестве такового изымается из процесса самого производства знаний. С этим связан известный тезис, что исследование происхождения знания не имеет никакого отношения к вопросам признания знания и равным образом не может способствовать их объяснению.

Но где же мы отыщем процесс оценки претензий на истину, как не в *самой лаборатории*, причем процесс весьма масштабный! Как не в сфере принятия исследовательских решений, посредством которых *выбираются* прежний результат, метод или предложенная интерпретация и встраиваются в новых результат? Что представляет собой процесс признания знания, как не процесс *селективного инкорпорирования* прежних результатов в динамичное исследовательское производство? Восприятие его как процесса формирования мнений чревато появлением ряда ложных представлений. Предположим для примера, что у нас нет доступа к ученым, придерживающимся общего или среднего мнения независимо от их исследовательских решений, однако у нас есть научные судебные палаты, где такие процессы формирования мнений могут рассматриваться квазиобъективно. Поскольку соотношение между мнениями и фактическими действиями неясно, не следовало бы также воздержаться от операций с мнениями, агрегированными соответствующим образом. Поэтому предсказания предпочтений в дальнейшем процессе исследований могут быть весьма зыбкими. То, с чем мы конфронтируем на практике, есть не процесс формирования мнения, а консервация определенных претензий на истину через непрерывность их включения в текущие исследования?

¹ Другие релевантные области — это журналы, издательства или решения об опубликовании работы. Однако следует учитывать, что публикация работы не означает, что ее результаты признаны и потому “законсервированы”.

² Уместно процитировать здесь Людвиг Витгенштейна: “Так ты говоришь, что согласие людей определяет, что истинно или ложно? — Истинно или ложно то, что люди говорят; а в ходе беседы люди приходят к согласию. Но это не согласование мнений, а форма жизни”, — см. параграф 241 его “Философских исследований”.

Но это значит, что в качестве формы этой консервации связей происхождения (context of discovery) знания служит или, в ранее принятых терминах, генерируется *селекция* (посредством продуктов знания в лаборатории).

Х.-Г. Зёфнер

Интерпретация повседневности — повседневность интерпретации

Считается, что о методах и методологии нельзя писать ничего теоретического. Их применимость и теоретическое признание следуют скорее из того, что они ясно описываются в контексте их практического использования, в практической исследовательской работе и обосновываются материалом. То, что я тем не менее высказываюсь для Центра опросов, методов и анализа по проблематике “стандартизированных” и “нестандартизированных” методов, оправдывается надеждой, что последующие замечания могут устранить некоторые недоразумения и, возможно, даже оказать сдерживающее влияние на бесполезную, как я считаю, дискуссию о методах. При этом я не избегаю того заведомого мнения, что говорить о методах и методологии — это сухое и скучное предприятие. Я это, напротив, подтверждаю.

Человеческое поведение и действие — речевого или неречевого рода — для человека и человеком всегда интерпретируемы, поскольку наряду с другими качествами они *всегда* обнаруживают знаковую. От жеста до “знаменательного” символа, от признака и симптома до сконструированного и однозначно определенного математического знака, от положения тела и выражения лица до одежды, от природных впечатлений до продукта человеческой деятельности — мы устанавливаем связь между нами и окружающим нас миром через знаковое качество и конструируем тем самым горизонт человеческой интерпретации¹. При этом с различными видами знаков и их соответственно различающимися семантикой и формой сочетания корреспондируют также различные процедуры истолкования.

Человеческая знаковая конституция и применение знаков происходят из свойственного виду “человек” отделению побуждения от преформированной моторики и связанного с этим ослабления биологической одно-

Источник: Soeffner H.G. Auslegung des Alltags — der Alltag der Auslegung: zur wissenssoziologischen Konzeption einer sozialwissenschaftlichen Hermeneutik. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1989. Пер. с нем. В. Ионина.

¹ Ср. например: Wundt W. Volkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos und Sitte. Stuttgart, 1921; Mead G.H. Geist, Identitaet und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. Frankfurt a. M., 1969; Buehler K. Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Stuttgart, 1965.

значности поведения (“управления инстинктом”). Они формируют специфичные для рода формы обращения людей друг с другом и с “миром”. Из-за его открытой структуры побуждений и его “подходящего” к тому и “ответчающего” на это языка человек характеризуется биологической многозначностью¹. Иначе говоря, биологическая многозначность поведения принуждает нас всегда и заведомо к толкованию окружающих нас людей и нашей среды. Наше восприятие, поведение и действие всегда сопровождаются толкованием. Отсутствие однозначности человеческого поведения принуждает нас, сверх того, к выбору между различными возможностями толкования воспринятого нами.

Структурная связь человеческого действия, реагирования и толкования скрепляет со своей стороны конструкцию действия и конструкцию понимания: она соединяет направленность на понимание в действии, непосредственную, имплицитно истолковывающую реакцию воспринимающего и сдвинутую во времени, выделенную из момента действия, *возможную* конструкцию понимания и действия — эксплицитное толкование. Интересы или противоречия интересов не только ученых, но также и “человека обыденности” ориентируются прежде всего по *толкованию воспринятого действия* — по результату толкования. Они пропускают однако, как правило, часто сознательно невоспринимаемое и нерегистрируемое *действие толкования*, с помощью которого вырабатывается результат толкования.

Именно для истолковывающих, интерпретирующих наук — чем более эмпирическим является их подход, тем более — речь идет о том, чтобы выработать различие между толкованием действия и других “данных”, с одной стороны, и действиями толкования и их специфическими формами и способами работы — с другой стороны, но прежде всего сделать выводы из этого различия при работе по интерпретации. Здесь действует принцип: тот, кто ничего не знает о действии толкования и не считает нужным дать себе отчет о его посылках и структуре протекания, интерпретирует, с точки зрения обязательной для науки проверки, ограниченно — т.е. на основе имплицитных обыденных навыков толкования и критериев понимания. Иначе говоря, кто не знает структуры и способов работы обыденного толкования, тот не в состоянии ни контролировать обыденные “наивные” толкования, ни оспорить их.

К осознанию того, что к научному “пониманию чего-либо” принадлежат *описание* и *понимание* самого *понимания*, привели не “претензия герменевтики на универсальность”² и почти ритуально связанное с этим подзрение ее в идеализме, но, напротив, неизбежность, с которой мы принуждены в обыденности к толкованию, а в науке к теоретическому пони-

¹ Plessner H. Die Stufen des Organischen und der Mensch. Berlin, 1965.

² Habermas J. Zur Logik der Sozialwissenschaften. Materialien. Frankfurt a. M., 1970. S. 264 ff.

манию работы по толкованию¹. Согласно этому надо констатировать, что любая форма исследования — и тем самым наряду и вместе с общественными науками и социальное исследование — базируется на действиях толкования², поскольку любая форма социального исследования в очень общем смысле “интерпретативна”.

Также очевидно, что различные производство, виды и качества социально-научных данных не только организуются самими учеными с ориентацией на понимание, но уже заранее конституированы в целом “соответственно пониманию”. Короче, социальное исследование базируется на действиях толкования, вырабатывает конституированные соответственно пониманию данные и получает свои объяснения через интерпретацию данных. Из *этой* перспективы не возникает никакой основы для конфронтации между “количественными” и “качественными” социальными исследованиями. Если взять за условие этот общий уровень рефлексии, то они хотя и различаются по своим методам, но не по предпосылкам и целям. И те, и другие распространяются на исторически-социальное человеческое действие, на его организацию и ориентацию, на документы и продукты действия, как и на толкование действий в текстах и т.д. Контролируемое, т.е. проверяющее собственные посылки, методы и критерии вариации истолкование данных, которые, будь они даже очень близки во времени к настоящему, *принципиально* относятся к прошлому планированию, событиям и действиям, результатами и документами которых они служат и которые представляют, — такой тип истолкования не является специфичным для социологии. Напротив, это общая форма научного понимания. К выводам из этого факта, часто упускаемым эмпирическими социальными науками, работающими как с “качеством”, так и с “количеством”, относится то, что именно социолог по отношению к собственному или чужому обществу должен принимать структурно позицию историка и этнолога.

На этом теоретическом фоне надо еще раз подчеркнуть, что хотя обыденные действие и толкование, с одной стороны, и научное интерпретирование, с другой стороны, распространяются на различные “области сознания”³ и исходят как из различных позиций, так и из различных стилей познания, они основываются, однако, на общем репертуаре опыта, навыков и методов. При этом научные методы понимания структурированы во многом подобно обыденным, из которых они берут начало, и методы и критерии которых они заимствуют более бессознательно или имплицитно, чем сознательно и контролируя.

¹ Ср.: Popper K. *Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge*. L., 1963. P. 186 ff.; Whitehead A.N. *Verstehen // Seminar: Die Hermeneutik und die Wissenschaften / H.-G. Gadamer, G. Boehm (Hrsg.)*. Frankfurt a. M., 1978. S. 63 ff. и др.

² Koenig R. *Die Beobachtung // Handbuch der empirischen Sozialforschung / R. Koenig (Hrsg.)*. Bd. 2. Stuttgart, 1962. S. 109.

³ Ср.: Schütz A. *Gesammelte Aufsätze*. 3 Bde. Den Haag, 1971—1972. Bd. 1. S. 3 ff.; Schütz A., Luckmann Th. *Strukturen der Lebenswelt*. Frankfurt a. M., 1979, 1984. Bd. 1. S. 42 ff.

Эти обыденные человеческие методы и навыки понимания интерсубъективно развиваются с самого раннего детства. Это означает, что толкование и понимание есть навыки, одновременно заложенные генетически и социально опосредованные в их конкретном формировании. Они, очевидно, довольно сложно структурированы и расслоены, имеют филогенез, родовую, социальную и культурную историю, они актуализируются в историческом, а точнее во встроеном в социоисторическую априорность, онтогенезе.

Эти преднаучные методы и навыки понимания, а также условия их возникновения и способы функционирования обычно не рассматриваются как научная проблема. Они становятся “привычными” и практикуются в обыденности как само собой разумеющееся, как таковые они не попадают в поле зрения сознания: они поглощаются проблемой толкования и предметом толкования. Но господствующее в обыденности давление действия и “бодствующее”¹, ориентированное на действие напряжение сознания не позволяют превратиться в предмет сознания самим методам понимания — как навыкам и инструментам.

Результаты инэмплицитного научного и преднаучного понимания обнаруживают ряд сходных черт: и то, и другое заканчивается артикуляцией объяснений чего-либо, при этом объяснения основаны в основном на стандартах приемлемости [Plausibilitaetsstandards]. Последние, в свою очередь, выводятся из неосознанных или более не осознаваемых навыков типизирования, соединения стандартного опыта и процессов “толкования как всегда”. Сходным образом применительно к этим объяснениям речь идет о типизированных и классифицированных объяснениях, исчислениях и соотношениях уже конституированных по смыслу данных, также и “данных обыденности”. Обыденный “common sense” ставит, конечно, этот род объяснения в контекст парадигмы, так как в обыденности объяснение принципиально руководствуется прагматическим интересом, покрыто и переформировано всевозможными космологиями, мифологиями и образцами толкования.

Научное объяснение по своей основной структуре предположительно аналогично обыденному объяснению, но формализовано и институционализировано. К предшествующим действиям толкования и понимания оба типа объяснения — обыденный и научный — относятся в основном одинаково, в целом не размышляя. Хотя, в особенности представители социальных наук, охотно снова и снова занимаются “мифами повседневности”, но лишь изредка в своих практических исследованиях они трезво и систематично подходят к тому, чтобы исследовать структурные условия конституирования этих мифов: типизацию, объяснения [Plausibilisierungen], навыки, конструкции перспектив, ожиданий и согласия. Систематическое описание этих структурных условий² неизбежно приводит к выводам также и относительно научной работы. Там оно ведет к демифологизации навыков объяснения, опыта и ожиданий.

¹ Schütz A. Op. cit. Bd. I. S. 8.

² Schütz A., Luckmann Th. Op. cit.

На этом теоретическом фоне становится ясно, что дискуссии о “социально-научной герменевтике”, а точнее о герменевтических основах социальных наук и негодны для того, и не предлагают основу для научно-теоретических и риторических сражений между “количественным” и “качественным”. Напротив, в этих дискуссиях речь идет об общем фундаменте социаль-научных методов толкования и анализа.

Конечно, и это должно быть ясно, герменевтическая аргументация является принципиально антикартезианской. Она не принимает ни *формально-методологический* субъективизм Декарта, ни следующее из него разделение мира и противостоящего ему субъекта познания на внешние вещи (расширенная материя — “*res extensa*”), с одной стороны, и истолковывающее сознание (думающая субстанция — “*res cogitans*”), с другой стороны, а также выведенную отсюда гипотезу о “математизируемости” мира и опять же следующим отсюда понятиям “объекта” и “объективности”. Она, напротив, всерьез принимает проблемы бессубъектной эволюции и связанные с тем явления. Герменевтическая аргументация исходит из историко-общественных конструкций действительности (действительностей). Она видит взаимодействующих индивидов и их априорную интересубъективность в социальном истолкованном мире, а не *в противоопоставлении* ему. Она ориентирована не только на наблюдение, описание, понимание и объяснение социального, но и вместе с тем на социальное в специфических для вида, исторически изменяющихся образцах восприятия и артикуляции и целях наблюдения, описания, понимания и объяснения¹.

Главная линия борьбы проходит, следовательно, не между “количественным” и “качественным” *как таковыми*, а между количественным и качественным, включающими в себя картезианское понятие науки, с одной стороны, и теми количественным и качественным, которые связаны развивающейся герменевтической наукой, с другой стороны. Иначе говоря, речь идет собственно не о “количественном” или “качественном” как таковых, но о соответствующем научно-теоретическом качестве количественного или качественного.

Описание и истолковывающее понимание социальной ориентации, социального действия, социальных продуктов действия и исторического “субъективного” или “коллективного” самопонимания человеческих индивидов, групп или обществ принципиально связано соответственно с обнаружением, описанием и истолкованием “практики”, “правил”, “образцов”, которые мы используем, когда ориентируемся, осмысливаем [*vergewissern*], артикулируем, объясняем, когда мы действуем, производим и интерпретируем. Наряду с тем, о чем мы объясняем, вслед за чем мы действуем, что мы объясняем и понимаем, в исследование социального с необходимостью вовлекаются таким образом процессы нахождения договоренности, имплицитные правила кон-

¹ Cp.: Durkheim E. Die elementaren Formen des religioesen Lebens. Frankfurt a. M., 1981. S. 557 ff.

ституирования согласия [Konsenskonstitution] и его достижения, жесты, изображения и речь как инструменты артикуляции, исторически изменяющаяся взаимосвязь их применения и значения, система правил и знаний, исторически расцениваемая в соответствующий момент как надежная.

Эта область исследования начинается с нахождения и описания правил прохождения (“определение последовательности”), процедур ориентирования, признания и соответственно процедур понимания в действии (и речи). Она продолжается в исторической семантике зрительного и речевого материала, в анализе “коммуникативных категорий” (практика воспроизведения и образцы действительности и для действительности (действительностей) и реконструкция прошлого), навыков действия и “ритуалов взаимодействия”, через те или иные исторические периоды идентичности [Idenditaetsformationen] и структуры менталитета вплоть до конкретных исторических форм обобществления и соответствующих им космологий, их толкования мира, действительности и самих себя.

Предпосылкой тому, что может что-то стать “данным” социально-научного анализа, служит то, что оно “дискурсивно” наличествует как “документ” действия или жизненного проявления. Это означает, что оно фиксировано, и в одной и той же “форме” [“Gestalt”] может быть снова и снова рассмотрено, развернуто и туда и сюда и, тем самым, контролировано интерпретировано любым интерпретатором, и что, наконец, на основе этой документальной дискурсивности предмета интерпретации сама интерпретация, а также ее методы могут быть, со своей стороны, проверены, верифицированы или фальсифицированы.

“Естественно” наличествующие или обнаруженные данные и документы надо отличать, это уже всем известно, от таких, которые собраны представителями социальных наук методично и с помощью специфических методов, поскольку методы являются частью данных и их содержания. (Так же, как “естественные”, но менее известные методы конституирования действия, в этом случае структура данных, служат частью “естественно” возникших документов и их содержания — см. выше.) Так же и так называемые качественные методы сбора данных воздействуют, конечно, в различной степени, на производимые при их посредстве данные. Шансы на контроль этого воздействия убывают, притом в той мере, в какой представитель социальных наук — будь то участвующий наблюдатель или “открытый” интервьюер “открытого” интервью — впадает в иллюзию, что “близость к полю” или уменьшающаяся стандартизация методов сбора данных уже сами по себе производят естественные данные. Так же и “открытое” интервью остается интервью — т.е. специальной техникой, создающей особую ситуацию взаимодействия. Участвующий наблюдатель концентрируется на наблюдении, не на собственном участии в событиях взаимодействия, он действует не в том смысле, как это делают наблюдаемые им.

Итак, где же лежат действительные различия между стандартизированными и нестандартизированными методами? — Существенно прежде всего, что в первом случае стандарты выработаны “искусственно” и основанные на них данные, а также их оценка приводятся в проверяемые соотношения с этими стандартами. Нестандартизированные методы распространяются, напротив, на *естественные стандарты и навыки* коммуникации, которые должны быть осознаны и должен быть известен их способ функционирования, прежде чем основанные на них данные могут быть подконтрольно интерпретированы. Большое количество “качественных” исследований проваливается уже на этом первом уровне. Их сомнительное качество либо состоит в наивном интуитивизме и эмпатии, а также в неконтролируемом использовании обыденных навыков толкования и максим приемлемости, либо основано на более чем проблематичном переносе заимствованных и неприменимых к конкретному случаю образцов интерпретации и заведомого толкования (в основном психоаналитического происхождения). Оба метода есть попытки исхитриться проскочить мимо проблем имплицитных “стандартов” обыденного взаимодействия.

На основе этого первого разграничения можно провести и некоторые последующие: опросу и управляемому воспроизведению в стандартизированных методах противостоит самоизображение информатора в нестандартизированных методах; структурированию опроса и наблюдения — структурирование взаимодействия, изображения и речи через “обыденные навыки”. В стандартизированных методах определение и ограничение темы задается и учитывается через дизайн исследования, в нестандартизированных методах через ситуативные, интеракционно-структурные и биографические факторы. С другой стороны, стандартизированные методы достигают расширения темы через разнообразие вопросов и контрольные вопросы, тогда как нестандартизированные методы — через мотивацию ассоциативной открытости или через побуждение к рассказу и собственную динамику коммуникативных понятий.

Короче говоря, оба метода основываются в принципе на контролируемом сборе и интерпретации данных. Первый опирается на разработку и взаимоувязывание “искусственных” методов сбора и оценки данных. Второй же опирается на заранее получаемое знание методов “обыденной”, “относительно естественной” структуризации взаимодействия, изображения, речи и толкования и на их контролируемое использование в интерпретации. Слабость второго состоит в том, что во всем относящемся к известности предшествующих обыденных навыков ученый двигается по целине и, интерпретируя, должен быть подготовлен к работе в неисследованной области. Слабость же первого в том, что использующие его ученые в подавляющем большинстве не отдают себе отчета, насколько сильно их инструменты сбора и измерения данных зависят от обыденного знания и обыденных навыков, которые они хотя и формализовали, но не признали таковыми и поэтому не могут и контролировать.

Все прошлые, “современные” и будущие явления социального мира являются потенциально — настолько, насколько они документированы или документируемы [diskursiv] — социально-научными данными. Но документирование в принципе отстает от множественности явлений настолько же, насколько интерпретирование от множественности документов и предметов интерпретации. Уже отсюда следует, что социально-научное истолкование по необходимости работает с примерами. Оно является анализом случаев *per se* и ориентировано на типичное, поддающееся обобщению в “отдельных” исторических явлениях. Это означает, что оно никогда не может достичь интерсубъективности и обобщаемости своих результатов посредством обращения всего в данные и обработки. Отсюда опять же следует, что качество его высказываний и интерпретаций зависит в принципе не от количества его данных, но от замысла (*intention*), направленности вопроса и принципов и методов осознания [*Sinnzumessung*] ученым, поскольку они опять-таки предопределяют при *принципиально открытом горизонте постановки вопроса* то, что за данные и “сколько” данных считаются необходимыми для интерпретации “отдельного явления”.

Социально-научное истолкование — это соответственно работа на случае. Она проходит на двух уровнях: первый — поиск, проверка и отграничение его правил интерпретации и его методов; второй — реконструкция структуры случая, когда она выявляет условия и правила конституирования социальных явлений и структур в их взаимосвязи, их конкретном действии и изменемости. При этом должны быть выявлены специфика случая и условия его индивидуализации. С другой стороны, эти типологизация и сравнимость должны быть развиты и “объяснены” из анализа форм и структур формирования типов.

Интерпретация случая претендует на объективность в двух планах: первый — открытость методов истолкования и входящего в них предварительного знания, а также и в связи с этим обязанность перепроверять, которую интерпретатор налагает на себя и на других научных интерпретаторов; второй — направленность и цель процесса, анализ “объективно” социально действенного — общественных институтов, как и их исторически объективного смысла как детерминантов действия и объективной смысловой структуры действия.

Целью анализа служит реконструкция объективного типа социального действия (Вебер) в его конкретных, определяемых случаем проявлениях. Этот объективный тип является “идеальным типом” постольку, поскольку он конструируется с целью, с одной стороны, систематически не соответствовать эмпиризму настолько, насколько он недостаточно воспроизводит особенное в отдельном случае, с другой стороны, именно таким путем выявить исторически особенное в отдельном случае на фоне структурной общности.

Реконструкция объективного типа общественного действия основывается на экстенсивном анализе отдельного случая, переходящем через срав-

нение случаев, описание и реконструкцию выходящих за пределы случая образцов в описание и реконструкцию выходящих за пределы случая и одновременно генерирующих случай структур. Реконструированный таким образом тип содержит в себе и наглядно показывает структурное различие эволюционно и исторически изменяющихся структурных формаций, с одной стороны, и, с другой стороны, их конкретно-историческое и культурно-специфическое расчленение. Таким образом анализ отдельных случаев служит постепенному открытию общих структур социального действия, тогда как сам отдельный случай интерпретируется как исторически конкретный ответ на конкретно-историческую ситуацию в конкретно-исторической структуре. Отдельные явления продолжают исторически структурное развитие, анализ отдельных случаев — развитие теории.

Развитая Штраусом концепция “trajectory” представляет собой встроенный в эти общие теоретические рамки тип объяснения “ограниченной” или “средней” значимости. Теоретические возможности этой концепции еще не исчерпаны. Она описывает и анализирует формирование индивидуального действия и индивидуального планирования действия, а также формирование и изменения ограниченных парцелл и сетей взаимодействия и встраивание того и другого в большие кооперационные и организационные взаимосвязи, непрозрачные ни для индивида, ни для группы. Она работает с такой концепцией сознания, которая проявляет и интерпретирует практику, содержание и изменения ограниченного интерсубъективного метода осознания [Sinnzumessung] в пределах имплицитно допускаемой или известной кооперационной связи. Она анализирует одновременно — совершенно в традиции мидовского мышления — изменения кооперационной связи и действующих в ней идеологий через воздействие только частично с нею связанных индивидов или групп.

Тем самым концепция “trajectory” распространяется аналитически на различные уровни действия, знания и “сознания”. На уровне индивидуального действия она касается соотношения между планом и образцами толкования и поведения, на уровне групповой кооперации — соотношения между проектами и трудовыми навыками, наконец, на уровне коллективной ментальности — соотношения между формулируемыми нормами действия и латентно разделенным знанием. Применительно к целому ряду прагматично ограниченных вопросов эта концепция предлагает полезную методологию, соединяющую в качественном социальном исследовании анализ случая или поля с контролируемым описанием методического подхода.

В конце этого моего краткого произведения о методах социально-научных исследований должны быть еще некоторые краткие замечания относительно структуры языка и обработки социально-научных данных.

Далеко не все явления социального мира, и даже не большая их часть, имеют языковую природу или охвачены языком. И мы можем сказать применительно к нашей обыденной жизни, что к счастью, это так. Конечный

продукт социально-научного анализа, как и научного анализа вообще, имеет, как правило, языковую форму — форму текста. В целом этому конечному тексту предшествуют не только другие тексты, но наблюдения и их элементы, вначале не имеющие языковую форму, уже на очень ранней ступени анализа переводятся на язык — т.е. переходят из неязыковой в языковую знаковую систему. Более того, неязыковые принципы и процессы систематизации переводятся в языковую и понятийную систематизацию. Единые и одновременные восприятие, ощущение и опыт превращаются в охваченные языком шифры воспоминаний, индивидуальные единицы опыта — в коллективные семантические типы.

Социально-научный анализ, и не только он один, — это производство текстов и производство текстов о текстах. Достаточно часто он исходит из наивной посылки, что все важное — не только важное в научном плане — может быть выражено языком. Так срастаются язык и опыт, и один наивно принимается за другой: передача и накопление опыта принимается за сам опыт. Конечно, между языком и опытом имеется тесная связь, и, конечно, при помощи книги и фантазии можно путешествовать по Сахаре, но при этом не получишь солнечный ожог. В этом смысле, конечно, и представитель социальной науки может путешествовать с книжкой по социальным мирам, но он будет знакомиться с ними и приобретать знания из “магазина секунд хэнд” научного анализа.

Для самого научного анализа еще по ту сторону от недостатка первичного опыта такая наивность становится губительной тогда, когда “искусственно” произведенные данные смешиваются с реальностью, а языковая систематизация с “систематизацией вещей”.

Выраженные в языковой форме данные и документы вводят интерпретатора в искушение считать представленное в языковой форме “упорядоченным” а поэтому и “понятое” — “собственно” действительным. Он склоняется к той точке зрения, что наблюдаемый феномен узаконивается лишь языковым выражением, тогда как социально-научная работа состоит, как раз наоборот, в том, чтобы найти узаконенное социальным феноменом в его специфике языковое выражение для описания. Выразим это иначе: социально-научный анализ лишь тогда контролирует подход к различению наблюдаемого явления и языковому выражению этого явления, когда он может выделить потери и изменения, возникающие из-за языкового или математического перевода феномена.

Когда, напротив, имеющий из-за конкретного или возможного, но не документированного языкового контекста тенденцию к открытости потенциал значимости переведенного на язык социального феномена наивно и бесконтрольно увязывается с формальными системными структурами языка (синтаксическими, семантическими, морфологическими, прагматическими, разговорными, статистическими и т.д. системами правил), то для интерпретатора открывается как минимум два ложных пути. На одном очень

сильно сужается потенциальная значимость документа, на другом “самостоятельно” и согласно формальным правилам производится в двойном смысле “постоянные” [fixe] значения. Структурно такие интерпретации напоминают гадание на картах: в обоих случаях на явления, события и лица накладывается координатная сетка, построенная исключительно согласно собственным правилам.

Таким образом в неупорядоченный и многозначный мир приносится удивительный в любом смысле порядок, никто и ничто не может его фальсифицировать. Да и кто будет раскладывать пасьянс, когда его интересуют сами явления.

Р. Хицлер

Понимание: повседневная практика и научная программа

“Понимание — это вид бессилия”

Р. Шекли

Проблема “постижения”, феномен понимающего ученого имеет давние традиции. Именно оно, это “постижение”, превращает обычные занятия, требующие совершенно обычных человеческих способностей, в научную деятельность¹. Для понимающих социологов эта проблема, по-видимому, без ущерба для философских попыток постижения, была и останется особенно вирулентной [лат. *virulentus* — ядовитый. — *Ред.*], хотя у них и без того хватает чисто практических трудностей с “объяснением” не только не-социологам, но и другим социологам того, что за этим скрывается, что они делают и для чего нужно то, что они делают². Последующее изложение пре-

Источники: Hitzler R. Verstehen: Alltagspraxis und wissenschaftliches Programm // “Wirklichkeit” im Deutungsprozess: Verstehen und Methoden in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1993. S. 223—232. Пер. с нем. Е. Корепанова.

¹ Новые обзоры в этой области см.: Hermeneutische Positionen / H. Birus (Hrsg.). Göttingen: Vadenhoeck und Ruprecht, 1982; Seminar: Philosophische Hermeneutik / H.G. Gadamer, G. Boehm (Hrsg.). Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1976 и др.

² См.: Hermeneutik und Ideologiekritik / Apel K.-O. u.a. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1971; Baumann Z. Hermeneutics and Sozial Science. N.Y.: Colombia University Press, 1978; Verstehende Soziologie / Bühl W.L. (Hrsg.). München: Nymphenburger, 1972 и др. “Классический”, так сказать, пример попытки понимающих социологов уяснить проблему для себя и объяснить коллегам их “проблему” представляет собой переписка 1940—1941 гг. между Альфредом Шюцем и Тэлкотом Парсонсом, изданная Шпронделем (см.: Schütz A., Parsons T. Zur Theorie sozialen Handelns. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1977).

следует целью доказательство значимости понимания как *научной* деятельности. Главный предмет наших исследований — соотношение повседневного и социологического понимания. Такой подход свойствен дискуссии в рамках феноменологически ориентированной социологии в Германии¹. Мы называем *пониманием* процесс, который придает смысл опыту. *Непониманием* мы называем процесс, который придает смысл опыту, относящемуся к событию в мире, которому *alter ego* уже придало другой смысл².

Понимание и знание в повседневности

Повседневное понимание — это довольно банальная деятельность сознания: понимать для человека обычно столь нормально, что это даже не становится объектом его интереса. Иначе говоря: в повседневной жизни человек настолько интенсивно занимается тем, чтобы непрерывно понимать, что он не может заниматься пониманием самого себя. Таким образом, понимание как “экзистенциальность” — не изобретение социальных наук и не порождение особой теоретической установки, но простая повседневная рутина человеческой жизни³. Можно было бы также сказать, что обыденный

¹ Ср.: Schütz A. Wissenschaftliche Interpretation und Alltagsverständnis menschlichen Handelns // *Gesammelte Aufsätze*. Bd. 1. Den Haag: Nijhoff, 1971; Luckmann Th. Einige Überlegungen zu Alltagswissen und Wissenschaft // *Pädagogische Rundschau*. 1981. N 35 и др. Я снова частично использовал в этой работе аргументацию из: Hitzler R., Keller R. On Sociological and Commonsense Verstehen // *Current Sociologie*. 1989. Vol. 31. N 1.

² Сознание *alter ego* представляет для *ego*, согласно Шюцу и Лукману, так называемую “среднюю трансцендентность” (см.: Schütz A., Luckmann Th. *Strukturen der Lebenswelt*. Bd. 2. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1984). Это означает, что оно по природе своей *не* представлено непосредственно, но *представляется* через признаки (связь которых с воспринятым конституируется в сознании *ego*) и через знаки (которые как элемент знаковой системы имеют интересубъективное наперед заданное значение и представляют означенное). Итак, если *ego* хочет понять другого, то *ego* должно прежде всего реконструировать смысл его “обозначений” и истолковать его согласно собственным субъективным мотивам. Благодаря этому могло бы стать понятным, что понимания чужого сознания можно достичь лишь путем приближения и что масштаб этого понимания зависит от знания *ego* о конкретном другом, от его знания об объективном, т.е. социально действительном смысле изъясления, и от его ситуативных значений [Relevanzen] (т.е. от того, насколько корректной должна быть интерпретация согласно интересам *ego*). Непонимание означает, что признаки и знаки воспринимаются как репрезентации другого сознания, а потому, естественно, *de facto* теряют собственное значение. Фактически предполагаемое сознание [gemeinte Sinn] действующего лица и то, что обозначается другим как “предполагаемое” сознание, в принципе *не* идентичны. Последнее есть лишь величина, приближающаяся к первой. (Ср.: Schütz A. *Symbol, Wirklichkeit und Gesellshaft* // *Gesammelte Aufsätze*. Bd. 1. Den Haag: Nijhoff, 1971.)

³ Эту “экзистенциальность” интерпретируемого, сегодня постоянно подчеркиваемую, прежде всего, Зёфнером, философски в особенности обособил, конечно, Мартин Хайдеггер (Heidegger M. *Sein und Zeit*. Tübingen: Niemeyer, 1972). (Ср. также: Figal G. *Sebstverstehen in instabiler Freiheit. Die Hermeneutische Position Martin Heideggers* // *Hermeneutische Positionem*. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1982 и др.).

рассудок есть определенная установка, а именно такая установка, которая исходит из того, что многое можно делать и многое отставлять в сторону; что всегда налицо нечто важное, менее важное и относительно неважное и что это может быть иногда *этим*, а порою *тем*; что некоторые вещи происходят сами собой, а другие — только если что-то делают или отставляют в сторону; что существует разница между верхом и низом, между правильным и ложным, между хорошим и плохим; что другие люди видят вещи примерно так же, как мы сами — или, к сожалению, тоже не видят. Короче: обыденный рассудок есть прагматическая установка, в русле которой протекает наша практическая жизнь и которую мы, очевидно, так или иначе разделяем с другими людьми.

Обыденный рассудок — это такое состояние ума, в котором мы принимаем, что другие нормальные, здравомыслящие взрослые люди в общем и целом таковы, как мы сами. А обыденное знание, следующее в главном обыденному рассудку, представляет собой, прежде всего, социально дифференцированное скопление достоверных сведений о том, что это и то так и так, но не иначе, что лучше вести себя так-то и так-то, но не иначе в этих или тех обстоятельствах, чтобы справиться с этими или теми проблемами¹. В то же время очевидно, что мы в принципе вполне способны рефлексировать и подвергать сомнению обыденное знание. Однако для того чтобы *практически* овладеть жизнью, эти возможности сомневаться должны быть по крайней мере преходящими, должны снова и снова подавляться, исключаться и выноситься за скобки. И как раз ту установку, которая исключает возможность сомневаться в реальности, мы и называем обыденной.

Большая часть нашего обыденного знания стала для нас настолько привычной, что мы его в норме совсем не замечаем, по крайней мере пока оно функционирует “как обычно”. Например, мы знаем, что надо предпринять, чтобы выполнить то, что мы обозначаем словом “идти”. Но в норме мы не думаем о том, что мы это знаем. Чаще всего мы даже не думаем о ходьбе до нее или во время нее. Мы просто ходим. Пока, например, не споткнемся или не должны будем носить гипс, не начнем страдать от множественного склероза или афазии. Мы знаем также, что маленькие дети должны учиться ходить и что пьяные явно испытывают известные трудности в выполнении того, что они “в сущности” знают, как делать: например, при опьянении, когда ноги не хотят делать того, что должны, нужно сконцентрироваться на том, как протекает процесс ходьбы. Но в норме мы, само собой, настолько хорошо знаем это, что совершенно не озабочены тем, чтобы назвать это знанием. Таким образом, в обыденной жизни знание, например, о ходьбе в норме не представляет собой проблемы. Несмотря на это оно

¹ Ср. прежде всего разд. III и IV из: Schütz A., Luckman Th. *Strukturen des Lebenswelt*. Bd. 1. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1979; Honer A. *Lebensweltliche Ethnographie*. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 1993. S. 8 ff.

имеется в наличии. Но, само собой разумеется, мы имеем также в распоряжении знание, о котором мы *знаем*, что мы им владеем (например, знание о том, как работает выключатель). Мы также имеем в распоряжении знание, о котором мы *знаем*, что мы им владеем и что оно нуждается в сравнительно регулярном (или нерегулярном) употреблении, чтобы мы его не забыли (например, знание о том, как играть на инструменте, или же знание о том, как более или менее правильно вести автомобиль или играть в шахматы).

Если мы все же случайно задумаемся о том, что мы знаем, то в норме нам прежде всего придет на ум то, что мы не только знаем, но знаем *определенно*. Это знание обычно относится к тому, что для нас особенно интересно, особенно важно или особенно связано с напряжением. Зачастую мы знаем определенно и о том, что мы знаем нечто, когда другие этого не знают, если именно мы располагаем особым, специальным знанием. Кто, например, знает не только о том, как обращаться с выключателем, но и о том, как заменить люминесцентную лампу, знает уже несколько больше, чем “любой другой”. Тот, кто знает, как подсоединить держатель люминесцентной лампы к электрическим проводам, знает во всяком случае, что он знает “*кое-что*”. Тот, кто знает, как проложить провода, подсоединить их к главному кабелю и сделать отвод, знает, пожалуй, еще больше. Кроме того, существуют люди, которые знают, *как* ток “транспортируется” по кабелю. Есть люди, которые знают, как ток “делается”. Есть люди, которые знают, на основе каких общих физических законов “делается” ток. Есть люди, которые знают, как можно узнать кое-что о физических законах. Есть люди, которые знают, богоугодно или нет знание о физических законах, либо о том, богоугодно или нет знание о том, как обращаться с выключателем. И существуют люди, которые знают, *как* другие люди узнают, что угодно Богу, а что нет. И есть люди, которые знают, что те, которые полагают, что будто бы знают ответ, на самом деле не имеют об этом никакого понятия; и т.д.

Таким образом, “все” мы, обыкновенные люди, знаем, что мы многое знаем, а многого другого, увы, не знаем. Что мы многое знаем наверное и многое не столь точно, а многое приблизительно и многое вовсе схематично. Короче: при такой установке мы повседневно сталкиваемся с относительно несистемными решениями в знакомых и менее знакомых ситуациях. При этом мы оперируем отнюдь не всегда взаимосогласованными толкованиями, объяснениями и следствиями. Мы обыкновенно воспринимаем мир в весьма ограниченной перспективе. Это значит, что мы в общем или целом оперируем представлением, что наше видение вещей если уже не единственное, то все же *правильное* видение вещей. Наш обыденный рассудок привязан к традициям. Это значит, что мы зачастую необдуманно и без сомнений используем унаследованные толкования, объяснения и приемы. Мы интересуемся взаимозависимостями главным образом только в той мере, в какой это необходимо в практической жизни; это значит, что мы в норме довольствуемся про-

стыми толкованиями и объяснениями. Наш обыденный рассудок ориентирован на то, что для нас, смотря по обстоятельствам, полезно. Значения и объяснения в рамках обыденной установки служат личным интересам, либо интересам группировки или общества, которым мы принадлежим.

Короче говоря: мы, обыкновенные люди, несомненно предполагаем наличие взаимных перспектив, т.е. “взаимозаменяемость точек зрения” и “согласование систем значений”¹. В результате принудительно отклоняемый жизненный опыт попадает в немилость, а соответствующие системы значений действующих лиц становятся по существу конгруэнтными. В любой повседневной ситуации у нас наготове предрассудок: мы предполагаем, что образцы поведения, которые уже однажды или много раз оправдали себя, могут с успехом использоваться и сегодня, и в будущем. Но типичная достоверность приписывается не только отложениям собственного опыта, но и — по аналогии — повседневному знанию в целом, а также социально опосредованным элементам знания, а именно таким, о которых мы применительно к социализации просто *думаем*, что они оправдали себя. Эти схемы объяснения, эти типизации модифицируются только ситуационно-специфически, и обычно столь незначительно, насколько это возможно. Итак, обыденное решение проблемы в принципе таково: редукция нового, неизвестного к известному, типичному. Только уверенность в благосклонности перспектив делает возможными успехи в повседневной жизни².

Проблемы социально-научного понимания

Такого рода феноменами и конкретными формами подобных феноменов занимаются теперь и социологи. Вообще говоря, социологи часто занимаются вещами, которыми люди обычно и без того занимаются. Но социологи занимаются этими вещами несколько иначе, чем это делается нормальным образом в повседневности. Это значит, что социально-научный способ видения обладает перспективой мировосприятия, хотя и опирающейся на повседневный опыт, но сильно от него отличающейся. Социология — это *одна из форм теоретического* отношения к действительности. Однако это не означает, что практическое приложение социологии как науки не может иметь места и в повседневности. Но институциональное повседневное применение социологии служит — или должно было бы по крайней мере служить — тому, чтобы давать социологам возможность “отступить” на особые позиции. Эта особая теоретическая установка со временем освобождается от прагматических интересов обыденного рассудка и замещает их чисто познавательным

¹ Cp.: Schütz A., Luckmann Th. Op. cit. S. 87 ff.; Schütz A. Op. cit. S. 364 ff.

² Cp.: Berger P.L., Luckmann Th. Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Frankfurt a. M.: Fischer, S. 49 ff.

интересом, т.е. интересом, преследующим цель не практического овладения положением вещей, а его рационального анализа “sine ira et studio” [без гнева и пристрастия (лат.) — *Ред.*]. Практическая общественная полезность социологии состоит в том, чтобы обращать внимание людей на игнорируемые обыденным рассудком обстоятельства, зависимости и правила, в рамках которых проходит их жизнь. Полезность социально-научного понимания заключается также в том, чтобы обращать внимание на “самоочевидные” *структуры и функции* обыденного знания и обыденного рассудка.

Вместе с тем социология — это особое, профессионализированное знание, которое более или менее годится для того, чтобы более или менее детально реконструировать реальные общественные конструкции. Социолог дистанцируется от прагматизма обыденного рассудка. Он, так сказать, скептически относится к тому, чтобы освещать повседневную практическую жизнь людей. Очевидно, это не эмпирическое, а нормативное, описывающее некий “идеал” понимание социологии. Потому что практически незаинтересованный социолог является не только социологом, но и обычным человеком. Он многими нитями связан с социальным бытием. Он, так сказать, перманентно пребывает в дилемме, как *одновременно* быть участником, наблюдателем и репортером-интерпретатором реконструкции действительности. Его исследовательская работа делается в социальном мире и при этом неизбежно воздействует на него. Его научная “продукция” по большей части просачивается в обыденное знание, хотя зачастую и обходными путями.

Коротко: знание социолога опирается на обыденный рассудок, который в свою очередь изменяется благодаря особенному знанию социолога. Или, иными словами: любой элемент социологического знания не имеет значения, если он не соотносится — также всегда опосредованно — с обыденным знанием людей. Однако социологическое видение мира — более ясная, логичная и систематизированная точка зрения, чем обыденный рассудок. В социологии мы выбираем свои объекты на основе ясных критериев познавательной ценности и систематически их классифицируем. В социологии мы также строго эмпирически определяем релевантную нам действительность, тогда как обыденный рассудок делает это далеко не всегда и уж совсем не делает определенных различий между эмпирически проверяемыми и эмпирически непроверяемыми суждениями.

Социально-научное понимание в такой интерпретации является искусствоведением, искусственным методом, предназначенным служить тому, чтобы реконструировать общественную среду — соразмерными и созвучными ей, внушающими доверие, законными и ревизуемыми методами. Социально-научное понимание, в отличие от других искусственных форм понимания (вроде интуитивных, мистических, экзистенциалистских), имеет целью познание *типичного*, а именно как типичного *поведения*, так и сопряженного с ним типичного обыденного понимания. Только на основе “понимания понимания” обнаруживаются — также *систематически* — по-

добия и различия между повседневным и научным пониманием. Фактически они включены не в процесс понимания, а скорее касаются степени рефлексии, организационных форм и целеполагания: достижения в интерпретации социально-научного понимания основываются не на обращении к обыденному рассудку, а на привлечении ресурсов профессионального специального знания; не на обращении к прагматическим потребностям жизнедеятельности, а на системе значений прагматически неангажированного наблюдателя. Кроме того, с этим связано то обстоятельство, что понимание социолога относится не к актуальному, полному жизни окружающему миру, а к воображаемому миру предков и современников¹.

Понимание социолога реализуется в рамках особой, вовсе не обыденной, а теоретической установки, установки на принципиальное сомнение в социальной самооправданности, установки, которую можно было бы обозначить как “методический скептицизм” или — в несколько гротесковой форме — как “искусственную глупость”. Эта установка в идеальном плане характерна тем, что забота о собственном существовании вынесена за скобки, а интерес направляется лишь на то, чтобы видеть действительность насквозь и познавать ее истину. В этой установке нет места ни социальной наличности, ни существованию внутри ситуации, ни живым близким людям, но присутствуют только идеализирующая модель социальных явлений и сконструированные социологом творения. Благодаря этому становится ясно, что социально-научное понимание представляет собой в меньшей мере исследовательскую проблему, чем проблему рефлексии. Говоря конкретно: особенность понимания как научного метода лежит не в плоскости *собираания* данных, а в сфере их интерпретации².

Когда мы проводим социально-научное исследование, мы понимаем общественно сконструированную реальность на основе нашей *обыденной* компетенции, результирующей из взаимности перспектив. Таким образом, научное понимание реализуется в ходе отступления в теоретическую установку, в то время как практика исследований, как и нормальная практика научных обсуждений, пребывает в рамках обыденного понимания. Иначе говоря, социально-научное понимание ориентируется на снятие чар с общественных конструкций действительности. Социально-научное понимание служит в конце концов объяснению того, как из субъективных достижений сознания образуются объективные смысловые связи. Такое познание есть познание посредством системы типовых конструкций, которые должны быть логически связными, субъективно интерпретируемыми по смыслу, а также адекватными как повседневному, так и научному опыту. Конструкции социологов — это конструкции конструкций, соотносящиеся с реальной жиз-

¹ Cp.: Schütz A. Op. cit. S. 3—54, 55—76; Schütz A., Parsons T. Op. cit. S. 72 ff.

² Cp.: Honer A. Op. cit.; Schütz A. Das Problem der Rationalität in der sozialen Welt // Gesammelte Aufsätze. Bd. 2. S. 22—52.

нью в том смысле, что “деятель в жизненном мире выполнял бы эти типизированные действия в случае, если бы он имел полностью ясное и определенное знание обо всех элементах и только о тех элементах, которые социолог предусмотрел как релевантные своим действиям, и если он имел постоянную склонность к тому, чтобы использовать самые подходящие из имеющихся в распоряжении средств для достижения своих целей, дифинированных посредством конструкций”¹.

Таким образом, методическая и методологическая проблема понимающего представителя социальных наук заключается в том, как он может гарантировать то, что он действительно постиг перспективу другого². Наивное и широко распространенное в социологии “решение” таково: тем, кто я опрошу другого. Но такой “ура-эмпиризм” игнорирует по крайней мере две возможности впасть в заблуждение. Во-первых, он ничтоже сумняшеся воспринял сомнительное основное положение обыденной установки о том, что другой живет в таком же мире, как и я, и что мы в самом главном одинаково узнаем мир, что наши значения совпадают или что мы, по крайней мере, можем “бесп проблемно” объясняться. Во-вторых, он отождествляет уровень коммуникативных значений с уровнем понятийного опыта (то есть: кто-то говорит, что он видит нечто так, как он действительно это видит) или пренебрегает различием между памятью и опытом³. Но как раз субъективно подразумеваемый разум другого совершенно не очевиден, и “собственно говоря” мы вообще не понимаем “субъективно подразумеваемого разума” другого. То, что мы понимаем, есть всегда нечто типичное. Это типичное может быть совершенно анонимным, в высшей степени индивидуальным или чем-то промежуточным⁴. Даже совершенно неповторимую информацию мы воспринимаем в форме типичного: она выражается в языковых штампах, должна выражаться в таких штампах. Мы осваиваем нашу повседневность только посредством типизации. Это, так сказать, первая лекция, которую должны прослушать социологи, чтобы понимать и чтобы понимать понимание.

¹ Schütz A. Op. cit. S. 51.

² Эта проблема реконструкции других жизненных миров занимает нас как с теоретико-методологической, так и с эмпирической стороны уже многие годы (ср. с принципиальных точек зрения, например: Honer A. Op. cit.; Hitzler R. Sinnwelten. Opladen: Westdeutsche Verlag, 1988 и др.).

³ Ср. также: Luckman Th. Handlung und Handlungsdeutung in den Sozialwissenschaften // Verstehen und Erklären / P. Rusterholz, M. Svilar (Hrsg.). S. 65–76.

⁴ Cp.: Natanson M. Anonymity. Bloomington: Indiana University Press, 1986; Becker H. Typologisches Verstehen // Verstehende Soziologie / W.L. Bühl (Hrsg.). München: Nymphenburger, 1972.

К. Кнор-Цетина

Микросоциология бросает вызов макросоциологии

В последние два десятилетия наблюдается активное развитие социальных теорий и методологий, для которых характерно изучение микропроцессов социальной жизни, таких, как непосредственное (face-to-face) взаимодействие, повседневные порядки и классификации, фрагменты языковых взаимодействий, определения личностей и ситуаций. Я имею в виду, в частности, такие подходы, как символический интеракционизм, когнитивная социология, этнометодология, социальная феноменология, этогенез в социологии, а также этнография речи и этнонаука в антропологии¹. Очевидно, что эти подходы существенно различаются по своим теоретическим основам и устремлениям. Например, символический интеракционизм считается развитием переосмысленных Гербертом Блумером теорий Мида и Кули, этнометодологи связывают свои теории с Виттгенштейном и Хайдеггером, в самое последнее время — с Мерло-Понти, а корни социальной феноменологии прослеживаются в работах Шюца и Гуссерля². В то время как когнитивная социология подчеркивает роль языка и памяти в процессе когнитивной обработки информации в повседневной жизни, этнометодология фокусирует внимание на организационных чертах практического мышления, а

Источник: Knorr-Cetina K.D. The Micro-sociological Challenge to Macro-sociology: towards a Reconstruction of Social Theory and Methodology // *Advances in Social Theory and Methodology. Toward an Integration of Micro- and Macro-sociologies* / Ed. by K. Knorr-Cetina, A.V. Cicourel. Boston; L.: Routledge and Kegan Paul, 1981. P. 1—15. Пер. с англ. В. Мальгина.

¹ Определение символического интеракционизма, ставшее к настоящему времени классическим. См.: Blumer H. *Symbolic Interactionism*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1969. Анализ когнитивной социологии см.: Cicourel A. *Cognitive Sociology: Language and Meaning in Social Interaction*. Harmondsworth: Penguin, 1973; этнометодологии — см.: Garfinkel H. *Studies in Ethnomethodology*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1967. Наиболее удачное описание современной социальной феноменологии см.: Berger P., Luckman T. *The Social Construction of Reality*. L.: Allen Lane, 1967. Этогенез предложен в работе: Harre R., Secord P. *The Explanation of Social Behavior*. Oxford: Basil Blackwell, 1972. Кодификация этнографии речи рассмотрена в: Hymes D. *Foundations in Sociolinguistics. An Ethnographic Approach*. University of Pennsylvania Press, 1974; об этнонауке см.: Sturtevant W. *Studies in Ethnoscience* // *American Anthropologist*. Transcultural Studies in Cognition. 1964. Vol. 66. N 3. Part 2. P. 99—131.

² Одним из наиболее часто цитируемых этнометодологами авторов является, конечно, А. Шюц. См. прежде всего т. 1 его избранных трудов (1962).

этногенез и символический интеракционизм, — хотя также интересуются символическим общением, — описывают нормы и средства, лежащие в основе социальных оценок, с одной стороны, а также переговоры и управление значением в процессе взаимодействия, — с другой.

Одним из результатов этих разнообразных исследований (которые я буду называть *микросоциологией*), стал вызов признанным социологическим теориям и методам, в особенности макросоциологическому направлению. Обычно под макросоциологией принято понимать изучение общества, социальных институтов и социокультурной динамики на макроуровне¹. Макросоциологический подход предполагает использование для характеристики социальных общностей как теоретических концепций системной природы на макроуровне, так и агрегированных данных, полученных на основе индивидуальных реакций, на микроуровне. Вызов со стороны микросоциологии можно наилучшим образом проиллюстрировать на примере двух различных, но взаимосвязанных процессов: перехода от нормативного к *когнитивному* пониманию *социальной системы*, и отказа от таких методологических концепций, как коллективизм и индивидуализм, в пользу *методологического ситуационизма*. Оба процесса сделали актуальным вопрос о формах, в которых традиционно ставилась проблема соотношения микро- и макроподходов, в частности, сопоставление личности и коллектива, индивидуального действия и социальной структуры. Оба процесса указывают в конечном счете на необходимость реконструкции макросоциальной теории и методологии на основе микросоциологии или, по крайней мере, на базе интеграции результатов микросоциологических исследований. Сначала я представлю *когнитивный сдвиг*, происходящий в социологии (и других общественных науках) с 1950-х гг., затем перейду к анализу методологического ситуационизма и тех последствий, которые имели микросоциологические исследования для нового понимания микро- и макропроблематики и для реконструкции социальной теории и методологии в рамках макроподхода.

От нормативного к когнитивному пониманию социальной системы

Согласно известной мысли Дарендорфа, в западной социальной философии с момента ее возникновения господствовали две концепции социальной системы. Одна — *интеграционная теория общества* — трактует социальный строй как функционально интегрированную систему, регулируе-

¹ Марксизм, структурный функционализм и теория систем — примеры теоретико-методологических подходов, считающихся макросоциологическими. Макросоциология в обобщающем виде представлена в: *Macrosociology: Research and Theory* / Ed. by A. Etzioni, J. Porter. Boston: Allen and Bacon, 1970.

мую нормативным консенсусом. Согласно другой — он называет ее *конфликтной* или *принудительной теорией общества*, — общественная система считается формой организации, целостность которой обеспечивается силой и принуждением в бесконечном процессе изменений¹. Источник конфликтной модели общественной системы обычно находят в трудах Маркса, а создателями нормативно-функциональной интеграционной модели считаются, конечно, Дюркгейм и Парсонс². Нет нужды говорить, что в американской школе социологической мысли, в рамках которой возникло большинство современных макросоциологических подходов, господствовала нормативно-функциональная модель социальной системы. Поэтому недавний всплеск микросоциологических исследований следует рассматривать по контрасту с нормативной моделью социальной системы, а не по контрасту с конфликтной моделью Маркса.

Споры о достоинствах и особенно о недостатках нормативного функционализма сопровождают теоретические исследования в социологии на протяжении столь длительного периода, что нет нужды о них здесь особо распространяться. Достаточно вспомнить ту роль, которую играют в этих моделях моральные нормы, а также то, как в них трактуется человеческий фактор. Дюркгейм, как известно, был склонен понимать социальные факты главным образом как моральные нормы³. Он считал, что разнообразие моральных установок сопутствует разделению труда и естественной солидарности, которые, по его мнению, характерны для современного общества. Он также полагал, что социальная жизнь индивида зависит от интернализованных норм, которые обычно считаются условием свободы действий. Однако его акцент на “внешней” природе социальных институтов, которые “навязывают” себя индивиду как данность, “независимая от его личной воли”, и его крестовый поход против методологического индивидуализма не оставляли места для сознательных социальных действий.

С другой стороны, у Парсонса индивидуальное поведение эксплицитно интегрируется в общество через посредство интернализованных потребностей-установок, которые создают гармонию индивидуальных мотиваций и социального целого. Парсонс брал в качестве исходного пункта “гоббсову проблему” социальной системы, а именно: проблему того, как может общество существовать стабильно при наличии расходящихся индивидуальных

¹ Dahrendorf R. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press, 1959. P. 159.

² См.: Giddens A. *Studies in Social and Political Theory*. L.: Hutchinson, 1979, где рассмотрены некоторые исторические корни, а также теоретические аспекты нормативной концепции (гл. 6 и 8).

³ Анализ социальных фактов Дюркгейма, а также его критика методологического индивидуализма содержится в его “*The Rules of Sociological Method*” (N.Y.: Free Press, 1962). Анализ органической солидарности и моральной интеграции в коллективе можно найти в его “*The Division of Labor in Society*” (N.Y.: Free Press, 1956).

интересов, в условиях войны всех против всех¹. Решение он нашел в понятии общих ценностей, которые — если они интернализированы отдельными акторами как потребности-установки, — гарантируют, что индивид хочет то, что должно хотеть, и действует так, как должно действовать². Однако как отмечают критики³, несмотря на наличие тщательно разработанной аналитической модели социального действия, само социальное действие у Парсонса остается остаточной категорией: оно понимается всего лишь как реализация нормативно предустановленной гармонии посредством отдельных личностей, которые — в противоположность мнению Дюркгейма — рассматриваются как контролируемые обществом скорее изнутри, чем извне.

Нормативная концепция общественной системы является концепцией макроуровня. Общество интегрируется в целое посредством общих ценностей и норм. Являясь связующим звеном между отдельными индивидами и группой (Дюркгейм), между наборами взаимных ожиданий, структурированных как роли (Парсонс), ценности и нормы определяют индивидуальное поведение.

По сравнению с нормативной трактовкой общественной системы, когнитивный поворот, предполагаемый микросоциологическим подходом, делает упор на использование языка и на когнитивные процессы, в которых проявляется и интерпретируется значимость ценностей и норм. Согласно этому подходу, важнее всего практическое мышление самих субъектов, а не силы, действующие за их спиной. Это подход, в основе которого — *активный, знающий* субъект как источник и первопричина социального поведения. В зависимости от того, делается ли акцент здесь на “знающем” или на “активном”, формируются разные исследовательские подходы. В первом случае оказывается, что приписываемые субъекту знания объясняют его поведение: участники действуют в соответствии с подразумеваемыми знаниями и нормами, которые они умеют применять в конкретных ситуациях, но которые, возможно, не в состоянии эксплицировать. Задача социолога — определить содержание и способы применения этих норм.

Разница между постулируемыми этой моделью когнитивными правилами и пониманием действия норм, предполагаемым интегративными макро-моделями, станет очевидной, если провести используемую многими авто-

¹ Концептуальное представление Т. Парсонса о проблеме общественного устройства см. в его “The Structure of Social Action” (Glencoe: Free Press, 1949).

² Парсонс говорит о взаимных наборах ожиданий в терминах “двойной случайности” социального взаимодействия: конкретные реакции каждой стороны в процессе взаимодействия зависят от случайных реакций других, которые таким образом потенциально санкционируют конкретные действия первого и наоборот. См.: Parsons T. An Outline of the Social System // Theories of Society. N.Y.: Free Press, 1965.

³ См., например: Giddens A. Central Problems in Social Theory. University of California Press, 1979. Ch. 2.

рами аналогию с лингвистикой. Подобно правилам синтаксиса, как они понимаются в трансформационной грамматике, нормы поведения, с точки зрения ряда микросоциологических подходов, представляют собой глубинные структуры человеческого поведения, формируемые в конкретном индивиде в процессе социализации. В отличие от юридических норм или общепризнанных культурно-ценностных ориентаций, они не являются социально кодифицированными, и их игнорирование скорее может поставить под сомнение компетентность личности, дисквалифицировать ее как полноценного, “знающего” члена общества, чем вести к правовой или моральной санкции. Для микросоциологии теория социального действия — это теория *компетентности*. Ее эксплицитная версия представлена антропологической этнонаукой.

Этнонаука имеет дело с тем, что Гудэнаф однажды назвал социальной системой, способной к формированию и восприятию идей: она стремится эксплицитно определить, что должны знать (имплицитно) носители языка о своей культуре, чтобы действовать адекватно (компетентно)¹: “Культура общества состоит из того, что необходимо знать, или во что следует верить для того, чтобы действовать приемлемо для членов этого общества; данное требование обязательно для любой роли, которую выполняет любой из них. Это формы вещей, содержащиеся в человеческих умах, модели понимания вещей. Поэтому этнографическое описание требует таких методов обработки наблюдаемых явлений, которые позволяют нам индуктивно построить теорию того, как наши информанты организуют эти самые явления”².

Этнонаука изучает в основном терминологические системы туземных обществ, стремясь отличать “то, как люди истолковывают свой практический мир от того, как они говорят о нем”³. Ее конечная цель попеременно описывалась как “культурологическая грамматика”, “этнология знаний” или “дис-

¹ Спорный вопрос о том, следует ли объяснять социальное действие посредством доводов, которыми руководствуются агенты, или же с помощью других (социальных и проч.) причин, — выходит за рамки многочисленных различий между микро- и макроподходами к анализу социальной жизни. Два основных труда, в которых рассматривается данный вопрос, см.: Wright G.H. von. *Explanation and Understanding*. Cornell University Press, 1971; Apel K.-O. *Die Erklären: Verstehen Kontroverse in transzendental-pragmatischer Sicht*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1979.

² Goodenough W.H. *Cultural Anthropology and Linguistics // Report of the 7th Annual Round Table Meeting on Linguistics and Language Study / Ed. by P. Garvin*. Georgetown University, Institute of Language and Linguistics. P. 167—168. (Monograph Series on Language and Linguistics. N 9).

³ Cp.: Frake C. *The Ethnographic Study of Cognitive System // Anthropology and Human Behavior / Ed. by T. Gladwin, W.C. Sturtevant*. Washington: Anthropological Society of Washington, 1962. P. 74.

криптивная эпистемология¹. Хотя некоторые микросоциологи, возможно, согласились бы со столь широким определением цели, практические микросоциологические исследования радикально отличаются от практических исследований этнонауки. Так, например, символический интеракционизм характеризуется как направление, ищущее решения проблемы социального устройства на основе допущения, согласно которому общество возможно потому, что взаимодействующие субъекты разделяют одинаковый базовый символический порядок значений и определений ситуаций². Задача ученого — выяснить, как представления членов общества организуются, создавая упорядоченные структуры поведения, которые и наблюдает исследователь.

Исследования в рамках символического интеракционизма показали, как значения, ситуации, объекты, личности и события, находящиеся в процессе постоянного определения и обсуждения, представляются публике и демонстративно реализуются³. Иными словами, было показано, что при когнитивном подходе общественная система является эмерджентным порядком, характеризующимся собственной специфической динамикой. На практике это *затемнило* различие между уровнями компетентности и исполнения, столь существенное в теории языка Хомского, и мало способствовало решению задачи систематического описания норм и правил, которые, предположительно, управляют символическим взаимодействием.

Многообещающие шаги по выработке теории социального поведения, базирующейся на понятии компетентности, были сделаны в рамках когнитивной социологии и этногенеза; Лидз предложил реконструировать нормативный функционализм на основе модели трансформационной грамматики. Однако эта амбициозная программа вряд ли столкнется с меньшими трудностями в социологии или антропологии, чем те, с которыми она уже столкнулась в лингвистике⁴. Согласно этой программе, микросоциологи должны изучать скорее смысл, нежели формальную (синтаксическую) структуру, а системы знаний, в отношении которых считается, что они генерируют социальное поведение, представляются гораздо более изменчивыми и менее укоренившимися, чем правила грамматики.

¹ Ср.: Werner O., Fenton J. *Method and Theory in Ethnoscience and Ethnoepistemology // A Handbook of Methods in Cultural Anthropology*. Garden City: Doubleday, 1970. Ch. 29.

² См.: Denzin N.K. *Symbolic Interactionism and Ethnomethodology: A Proposed Synthesis // American Sociological Review*. 1969. Vol. 34. P. 922—934.

³ Примеры парадигмы результатов подобного рода содержатся в работах Гоффмана. Например, см.: Goffman E. *The Presentation of Self in Everyday Life*. Garden City: Doubleday, 1959; Goffman E. *Relations in Public*. N.Y.: Harper and Row, 1971.

⁴ Я прежде всего сослалась бы здесь на недавнюю работу Дж. Лэкоффа и П. Филмора, в которой ставится под серьезное сомнение предположение о том, что лингвистические структуры могут анализироваться на автономном (отдельном) уровне. См., например: Lakoff G. *The Arbitrary Basis of Transformational Grammar // Language*. 1972. Vol. 48. P. 76—87; или статьи из: *Berkeley Studies in Syntax and Semantics*. Vol. 1 (University of California: Dept of Linguistics and Institute of Human Learning, 1974).

Очевидно, поиск соответствующих когнитивных структур продолжится в разных направлениях с разными исходными посылками, наилучшими примерами чего могут служить исследование механизмов памяти Сикурела¹, анализ фреймов Гофмана² или теория структуризации Гидденса. В то же время можно признать, что не только в интеракционизме, но и в других микросоциологических подходах успешнее всего развиваются исследования, где на первом плане — незавершенный, постоянно выстраиваемый и обсуждаемый характер символической системы. Главная предпосылка этих исследований — не просто знающий, но знающий и *активный* субъект. Социальная структура здесь становится скорее когнитивным (в том числе лингвистическим), чем нормативным феноменом, более того, она скорее созданный человеком, чем навязанный ему “извне” объект; она непрерывно создается, оспаривается, исправляется, организуется и проявляется в конкретных ситуациях, определение которых — предмет постоянной когнитивной деятельности членов общества.

Микросоциологи как бы “разрываются” между утвердившейся в рамках профессии теорией действия, согласно которой поведение контролируется единообразными когнитивными процессами, и видением человеческих субъектов как активно вырабатывающих значения, нормы и определения ситуаций, которые они, предположительно, разделяют. Этот конфликт наиболее очевиден в этнометодологии, не проявляющей никакого интереса к *объяснению* социальных явлений через общую когнитивную ориентацию акторов и соблюдение ими общих норм и правил.

Упорядоченность и слаженность социальной деятельности рассматривается этнометодологией не как предпосылка объяснения, а как подлежащий объяснению факт, как явление, возникающее и существующее, например, “на основе таких процедур, как анализ какого-либо события в качестве примера подчинения (неподчинения) некому правилу”³. Отсюда следует, что анализ взаимодействия ориентируется на поиск методов, используемых членами общества для того, чтобы представить собственную деятельность как самим себе, так и партнерам по взаимодействию, в качестве рациональной, понятной, приемлемой, создавая тем самым *атмосферу* упорядоченности, слаженности и четкой структурированности взаимодействий⁴.

¹ Cicourel A. Interviewing and Memory // Pragmatic Aspects of Human Communication / Ed. by C. Cherry. Dordrecht: D. Reidel, 1974.

² Goffman E. Frame Analysis, An Essay on the Organization of Experience. N.Y.: Harper and Row, 1974.

³ См.: Zimmerman D., Wieder L. Ethnomethodology and the Problem of Order: Comment on Denzin // Understanding Everyday Life / Ed. by J. Douglas. Chicago: Aldin, 1970. P. 289 (особенно).

⁴ Пример анализа разговора приводится в: Sacks H., Schegloff E., Jefferson G. A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Talking in Conversation // Language. 1974. P. 696—735.

Сикурел полагает, что эти методы можно трактовать как трансформационные методики, способствующие сохранению тождественности социальной структуры в бесконечном разнообразии ситуаций, с которыми сталкиваются акторы в повседневной жизни¹. Однако этнометодологи не пытаются привести анализ методов и практик повседневности к объяснению оснований стабильности социальной структуры. Наоборот, они совершенно абстрагировались от предпосылки о стабильном социальном поведении в пользу изучения практических действий, посредством которых люди видят, описывают и ведут себя таким образом, *как если бы* социальное действие было стабильным.

Таким образом, изучение проблемы социальной организации далеко ушло от своего первоначального этапа, когда она рассматривалась как практическая задача социальной интеграции, и решение искали в сфере общих норм и ценностей. В результате изучения социальной жизни “под микроскопом” вместо общества, интегрируемого общими ценностями и моральными предписаниями, в поле зрения появляется *когнитивный порядок создания и описания сущности*. Вместо того, чтобы воспринимать общественное устройство как однородную систему, регулирующую действия индивида, его начинают понимать как результат конкретного коммуникативного взаимодействия. Проблема социального устройства переопределена так, что традиционный подход к социальному порядку поставлен с ног на голову. Социальный порядок уже не то, что объединяет общество путем контроля воли индивидов, а нечто, осуществляющееся в ходе обыденных земных, но неумолимых преобразований этой воли. Проблема социального устройства не только превратилась в проблему когнитивного порядка, но из проблемы макроуровня стала *микророблемой* социального действия.

От методологического индивидуализма и коллективизма к методологическому ситуационизму

Этот когнитивный поворот не ограничивается рассмотренным выше “микроскопическим” подходом. Испытавший влияние лингвистики логической структурализм (Леви Строс), психоанализ в трактовке Лакана, даже марксизм (Альтусер) — также проявления этого сдвига². Отличительная черта

¹ Ср.: Cicourel A. Op. cit. — см. гл. 3 и 4 (особенно).

² Одно из свидетельств этого поворота — активное развитие “когнитивных наук”, в число которых входит ряд дисциплин (изучение проблемы искусственного интеллекта, психология, лингвистика, компьютерная наука, образование, философия и т.д.), изучающих человеческое сознание. Ряд этих проблем и направлений в когнитивной науке представлены в обобщенном виде в работе: Representation and Understanding: Studies in Cognitive Science / Ed. by D. Borow, A. Collins. N.Y.: Academic Press, 1975.

подходов в рамках микросоциологического направления — не только поглощенность когнитивными процессами, значениями и процедурами анализа деятельности, но также тот привилегированный статус, который придается анализу мелкомасштабных социальных ситуаций. Большинство микросоциологических подходов исходят из предположения о том, что “единственно действительное и надежное (или прочное, научное) доказательство в отношении социально значимых явлений, которое мы, по-видимому, можем получить, это то, которое в конечном счете основано на систематическом наблюдении и анализе повседневной жизни”. Детальное наблюдение того, что люди делают и говорят *in situ*, является предварительным условием любого социологически значимого понимания общественной жизни. Более того, конкретные социальные взаимодействия могут рассматриваться как строительные блоки для создания *макросоциологических* концепций.

Это методологическое требование микросоциологии представляет собой вызов макросоциологическому пониманию процесса формирования теории, а также макросоциологическим исследованиям, базирующимся на агрегированных данных. Отсюда можно прийти к следующему достаточно радикальному выводу: макросоциальные явления остаются *неизвестными и непознаваемыми* до тех пор, пока их основой не становится знание, полученное в результате анализа микросоциальных ситуаций.

У этого методологического тезиса, разделяемого большинством сторонников микросоциологического подхода, имеется предшественник — идея *методологического индивидуализма*, выдвинутая Поппером, Хайеком и Уоткинсом еще в 1960-е гг. Важно, однако, понимать, что микросоциологическая методология отвергает принцип методологического индивидуализма, *равно как и* доктрину методологического коллективизма, которую принято ему противопоставлять в качестве единственной альтернативы.

Чтобы прояснить ситуацию, позвольте процитировать отрывок из описания Уоткинсом методологического индивидуализма¹:

“Если такие социальные явления как инфляция, политическая революция, «исчезновение среднего класса» и т.д. вызываются людьми, тогда и объяснять их следует в связи с людьми: через конкретные ситуации, с которыми люди сталкиваются, через те амбиции, страхи и идеи, которые заставляют их действовать. Короче говоря, *масштабные социальные явления должны быть объяснены конкретными ситуациями, склонностями и убеждениями отдельных личностей*. Именно это я называю методологическим индиви-

¹ Watkins W.J.N. Methodological Individualism: A Replay // Philosophy of Science. 1955. Vol. 22. P. 58—62. Вся дискуссия между представителями методологического индивидуализма и коллективизма представлена в: Modes of Individualism and Collectivism / Ed. by J. O'Neill. L.: Heinemann, 1973.

дуализмом. Можно сказать, что это — рассуждение на уровне здравого смысла и вряд ли стоит на этом останавливаться. Беда, однако, в том, что ряд филологов-историков придерживается противоположного мнения... Согласно изложенной доступным языком версии (их) теории, именно общество как целое и определяет положение дел для индивида таким образом, что он не может уклониться (или для него было бы глупо пытаться это делать, если детерминизм не такой жесткий) от выполнения своих функций, отведенных ему в системе в целом. С этой точки зрения социальное поведение индивидов следует объяснять положением, либо функциями этих индивидов в системе, а также законами, управляющими данным обществом. Эти законы должны рассматриваться как феномены *sue generis*, присущие конкретному целому как таковому, а не как производные индивидуалистических принципов. Это я называю методологическим холизмом”.

Методологический индивидуализм, следовательно, требует, чтобы все используемые в социальной теории концепции строились исходя из интересов, склонностей и т.д. конкретных индивидов, поскольку именно индивиды являются ответственными и активными социальными акторами. Микросоциология же, наоборот, принимает в качестве методологической “единицы” не индивида, а *взаимодействие в социальной ситуации*. Как отмечал Гофман в статье “Ситуация, которой пренебрегают”, невыявляемая предпосылка большинства социологических исследований состоит в том, что социальные ситуации не имеют собственных свойств и структуры, а представляют собой “геометрическое” пересечение интересов акторов, ведущих диалог, и акторов, обладающих определенными социальными характеристиками¹. Большинство исследований исходит из предпосылки, согласно которой человеческое поведение может быть описано и предсказано на основе переменных, характеризующих отдельных акторов. Напротив, в микросоциологических подходах социальные ситуации понимаются как реальность *sui generis*, характеризующаяся собственной динамикой и организацией, которую мы *не можем* предсказать на основе знания характеристик отдельных акторов.

Утверждение о реальности *sui generis* социальных ситуаций исходит из двух отличительных черт социального действия. Действие всегда конкретно, представляет собой особенный *случай*, и оно всегда предполагает *других действующих участников* данной конкретной ситуации. Второй аспект может быть назван “интеракционизмом” в противоположность индивидуализму, он обусловлен тем фактом, что социальное поведение зависит от поведения других. Поэтому, хотя и верно, что лишь отдельные личности являются целенаправленно действующими акторами, социальное действие возникает

¹ Goffman E. The Neglected Situation // Language and Social Context / Ed. by P.P. Giglioli. Harmondsworth: Penguin, 1972. P. 63.

скорее из конкретной взаимозависимости целей и намерений, чем из их отдельного существования. Именно эту интерактивную природу социального действия убедительно описывал Зиммель¹:

“Общество существует там, где ряд индивидов вступает во взаимодействие. Это взаимодействие всегда возникает на основе определенных мотивов или ради определенных целей. Эротические, религиозные, либо просто ассоциативные импульсы, а также задачи защиты, нападения, игры, выгоды или обучения — эти и бесчисленные другие причины заставляют человека жить в обществе других людей, действовать для них, с ними, против них и таким образом коррелировать свои условия с условиями других. Короче говоря, он оказывает влияние на них и находится под их влиянием. Важность этих взаимодействий между людьми состоит в том факте, что именно благодаря им отдельные личности, которым присущи эти активные импульсы, создают некое единство, то есть общество”.

Человеческое поведение оказывается взаимосвязанным не только благодаря формированию межличностных связей, но и вследствие того, что индивиды *принимают во внимание* интересы других. Следовательно, конкретная личность рассматривается как часть *интерактивного процесса*, в котором перспективы других являются частью совокупности свойств личности. Зиммель, в частности, утверждает:

“Все мы состоим из фрагментов не только человека вообще, но также и того, что мы рассматриваем в качестве самих себя. Мы — не только отражения таких понятий, как «человек», «хороший», «плохой» и т.п., но также — проявления нашей собственной индивидуальности и уникальности. Хотя эта индивидуальность не имеет в принципе названия, она проявляется в постигаемой нами реальности, словно очерченная воображаемыми линиями. Картина дополняется тем, как нас воспринимают другие; в результате возникает нечто, чем мы никогда не являемся в чистом виде и в полной мере. С этой точки зрения невозможно увидеть ничего, кроме сопредельных частей, которые тем не менее только и суть то, что реально существует. Однако как только мы компенсируем слепое пятно в сфере нашего зрения так, что перестаем его замечать, *фрагментарное видение трансформируется в другую точку зрения, выявляющую отдельную личность во всей ее полноте*”².

Данный подход имплицитно содержит понятие конкретной личности как типизированной дискурсивной конструкции, имеющее некоторое сходство с более поздним рассмотрением личности как непроблематичной единицы деятельности у Джорджа Герберта Мида. Его концепция индивидуума как “парламента личностей” и его понятие внутренних аудиторий предпо-

¹ Simmel G. On Individuality and Social Forms: Selected Writings. University of Chicago Press, 1971. P. 23.

² Ibid. P. 11.

лагают, что люди приписывают мотивы друг другу с точки зрения интернализированных референтных групп¹. Поэтому, хотя индивидуальные намерения и свойственны, безусловно, отдельным людям, в принципе в них всегда налицо учет интересов других, и их следует трактовать скорее как интерактивное, нежели как индивидуальное явление. Более того, до определенной степени “индивидуальные мотивы” проявляются буквально в завершенном виде в коммуникативных столкновениях с другими, в процессе формирования интерпретаций и определений конкретной ситуации².

Концепция социального поведения как внешне и внутренне зависимо от других, таким образом, предполагает скорее понятие *взаимодействия*, чем действия, в качестве ключевой наблюдаемой единицы человеческого поведения. Именно эта концепция реализовалась во многих областях социологической теории, в частности, в теории групп подсказала понятие триады как базовой группы, предполагающей наличие “обобщенного другого” (им может быть и “внутренняя аудитория”), что имело важнейшее значение для понимания социального действия³.

Для микросоциологических подходов важен именно этот конкретный *контекст*, в который “встроено” взаимодействие. Как отмечал Гофман, “исследователь, интересующийся особенностями речи, может захотеть взглянуть на физическую среду, в которой конкретный оратор совершает жестикуляцию, по той простой причине, что невозможно полностью описать жест без учета окружающей среды, в которой он возникает. А у того, кто интересуется лингвистическими корреляциями социальных структур, может возникнуть потребность присутствия при таком социальном событии, во время которого некий индивид с определенными характеристиками появляется перед другими людьми. Оба типа исследователей должны поэтому изучать то, что мы неопределенно называем социальной ситуацией”⁴.

Социальная ситуация в микросоциологии часто определяется как наличие непосредственного взаимодействия в определенной среде. Однако, как показывает Сикурел, понятие контекста само по себе является проблематичным, поскольку по-разному определяется в разных методологических подходах микросоциологии. Социальные ситуации могут не иметь естественного “начала” и “конца”, вынуждая поэтому исследователя ограничивать их произвольно. Кроме того, всегда выглядит проблематичной полнота контекста. Когда для “микроскопического” анализа выбирается короткий фрагмент

¹ Mead G.H. *Mind, Self and Society*. University of Chicago Press, 1967. P. 78 f.

² Ср.: Brittan A. *Meaning and Situations*. L.: Routledge and Kegan Paul, 1973. P. 96 ff. (особенно).

³ Так, например, Вейк настаивает на том, что скорее взаимодействие, чем действие — единица организационного анализа — см.: Weick K. *The Social Psychology of Organizing*. Reading, Mass.: Addison-Westley, 1969. P. 33 f., 98 e.g.

⁴ Goffman E. *The Neglect Situation*. P. 63.

беседы во время случайной встречи двух или более людей, многие характеристики и организационные особенности данной беседы, а следовательно, и конкретный смысл высказываний, могут быть утрачены. Более того, очевидно, что сами действующие лица избирательно организуют и “используют” окружающую их среду.

Хотя многие физические параметры случайной встречи могут *потенциально заслуживать* внимания, большинство из них останутся незамеченными. Кроме того, социальные акторы постоянно обращаются к обстоятельствам действия, *выходящим за рамки* данной конкретной ситуации. Например, хотя в недавних микросоциологических исследованиях научной работы последовательно утверждается, что конкретные условия лабораторной деятельности имеют важнейшее значение в процессе производства знаний, эти же исследования показывают, что имеется в виду не их (этих условий) физическое наличие, а их релевантность относительно решаемой проблемы, что делает их контекстуально значимыми. К тому же акторы могут рассматриваться как сознательно манипулирующие контекстуальными ограничениями и увеличивающие свое контекстуальное знание или внимание в случае необходимости¹.

Организованная контекстуальность социального действия обстоятельно проанализирована Шюцем: конкретная среда, конкретный контекст, конкретная окружающая обстановка социального действия существует не как нечто, “по отношению к чему” формируется действие, а скорее как то, “внутри чего” живут и размышляют, т.е. не как нечто “внешнее” по отношению к социальному действию². Принципиально важно, что эти конкретные обстоятельства и события, которые играют важнейшую роль в микросоциологическом анализе, не рассматриваются как “внешняя среда”, а сами оказываются (ре)конструируемым моментом социального действия.

Однако вопрос о контекстуальности социального действия заставляет поставить другую проблему, также имеющую прямое отношение к микросоциологической трактовке методологического коллективизма. Индивиды не только привычно выходят за рамки конкретных обстоятельств, обращаясь к событиям и явлениям различного времени и места, но и постоянно пользуются понятиями и вовлекаются в действия, доступность которых представляется основанной на допущении о знании более широкого круга социальных институций. Поскольку в микросоциологических подходах социальное поведение, как правило, трактуется как процесс интерпретации, в них также приходится полагаться на представление эксперта о социетальных институциях и на его обращение к ним, чтобы сделать наблюдаемый поток поведения понятным и объяснимым.

¹ Иллюстрация этих результатов приводится в: Knorr-Cetina K. The Manufacture of Knowledge: An Essay on the Constructivist and Contextual Nature of Science. Oxford: Pergamon Press, 1981 — прежде всего в гл. 2.

² Schutz A. The Phenomenology of Social World. Northwestern University Press, 1967 — особенно гл. “Meaningful Living Experience”.

Как заметил Мандельбаум, в случае необходимости объяснить туземцу с Тробриандовых островов процедуру обналичивания банковского чека, можно было бы начать с того, что заполнение отрывной части бланка есть действие, позволяющее банковскому кассиру выдать нам денежные купюры и монеты¹. Далее для разъяснения той роли, которую играют денежные купюры и монеты, можно было бы показать, как передача нами денег другим людям ведет к тому что они дают нам товары. Однако нам пришлось бы также рассказать туземцу, что банковскую квитанцию бессмысленно передавать любому встречному и что для получения со счета наличных в обмен на отрывную часть бланка необходимо прежде деньги на этот банковский счет положить. Короче говоря, пришлось бы объяснить тробриандцу по крайней мере элементарнейшие основы банковской системы. Чтобы понять поведение банковских служащих, необходимо рассмотреть его с точки зрения их роли и статуса, а эти понятия, в свою очередь, должны быть объяснены с точки зрения организационных характеристик нашего общества. Если же мы попытаемся объяснить эти роли исключительно с точки зрения поведенческих ожиданий других по отношению к конкретным людям, выполняющим эти роли, то конкретное поведение этих людей останется необъясненным.

Проблема заключается в том, что в микросоциологических подходах при описании социальных взаимодействий и объяснении поведения их участников приходится ссылаться на институциональные концепции, которые совершенно невозможно объяснить посредством понятий взаимодействия. Насколько я могу судить, у наиболее известных авторов-микросоциологов этому факту либо не уделяется достаточно внимания, либо он сознательно игнорируется. Поэтому методологический ситуационизм в микросоциологии не является эксплицитно редукционистским в том смысле, в каком является редукционистским методологический индивидуализм; ситуационизм не требует, чтобы все используемые концепции и даваемые объяснения были в конечном счете выражены в терминах взаимодействия. Такой редукционизм, по-видимому, возникает лишь в связи с одной из последних попыток в рамках радикальных микросоциологических течений *воссоздать* макросоциологию на микросоциологической основе.

В каком же смысле тогда следует понимать высказанное выше суждение о том, что микросоциология является противником методологического коллективизма? Прежде всего методологический коллективизм (или “холизм”) не является унифицированной доктриной. Он включает в себя суждения о том, что общество — это нечто целое, которое больше суммы частей, из которых оно состоит; что общество “формирует” индивидов в процессе социализации так, что их следует рассматривать скорее как зависящих от общественных институтов, нежели как активных самостоятельных субъектов;

¹ Mandelbaum M. Societal Facts // Modes of Individualism and Collectivism / Ed. by J. O'Neill. P. 223 ff.

что “социальные факты” ограничивают индивидуальное поведение и оказывают на него принудительное воздействие. Первые атаки со стороны микросоциологии не имели в виду подобного рода постулаты. Скорее они подразумевали, что явления на социетальном уровне нами не познаваемы, особенно если принимать во внимание (игнорируемые большинством макро-социологов) проблемы измерения в социальной науке.

Если считать краеугольным камнем методологического вызова микросоциологии важное исследование Сикурела “Метод и измерение в социологии”, можно обнаружить, что в основе этого вызова лежат по крайней мере два положения¹. Первое — критика существующих количественных методов измерения в социологии, которые развиваются исходя не из требований измеряемого содержания, а из требований математических методов, в результате чего применяются, например, системы исчисления, которые не могут выполняться с переменными того типа, который налицо в традиционной социологии. Второе — продолжение и развитие критики модели социального действия, основывающейся на использовании доминантных социологических методов. Эти методы подразумевают, что данные, которые, к примеру, собраны в ходе интервью, могут считаться надежными, — за исключением случаев ошибки измерения и отклонения, которая, однако, может быть элиминирована статистическими методами или, по крайней мере, оценена ими. С другой стороны, в микросоциологических исследованиях такие данные рассматриваются в качестве не поддающихся точной оценке предварительных результатов, полученных в ходе ряда конкретных интервью в соответствии с практическими методами и основополагающими посылами конкретных акторов.

Например, любой пример классификации наблюдения или встречи между интервьюером и респондентом следует рассматривать как продукт взаимодействия рабочих перспектив участников, в ходе которого принимается решение об игнорировании фактов и суждений одного рода, в то время как факты и суждения другого рода будут переформулированы заново на обыденном языке. Нет оснований считать, что конкретные перспективы, вокабуляры и т.д. окажутся до такой степени совпадающими, что обеспечат сравнимость результатов интервьюирования различных респондентов. Анализ организационных документов, составляемых в психоневрологических клиниках, больницах, полицейских участках, судах по делам несовершеннолетних — на эту статистику опирается микросоциология помимо данных интервью — показал, что члены любой социальной организации разрабатывают перспективные планы обслуживания клиентов, столь существенно отличающиеся от планов всех других аналогичных организаций, что любое сравнение оказывается проблематичным².

¹ Cicourel A. Method and Measurement in Sociology. N.Y.: Free Press, 1964.

² Как пример см.: Cicourel A. The Social Organization of Juvenile Justice. N.Y.: Wiley, 1968.

Согласно Дензину, эти исследования показывают что: 1) организации самосохраняются во времени посредством составления фиктивной отчетности; 2) сравнимые организации отличаются по тому, какое значение они придают одним и тем же событиям (рождение, смерть, психическое заболевание, лечение и т.д.); 3) составление организационных отчетов — это, по существу, процесс взаимодействия, базирующийся на слухах, сплетнях, подслушанных разговорах, противоречивой информации и несовершенной в биографическом отношении отчетности; 4) организации в установленном порядке документально свидетельствуют, что некое событие произошло/не произошло на основе обсуждений между сторонами, имеющими отношение к этому событию, и, сопоставляя организационные отчеты, опираются на классификации случаев, не поддающихся классификации и допускающих двойное толкование, на неопределенные категории значения и интерпретации¹.

Вывод, который можно извлечь из этих исследований, прост, но имеет серьезные последствия. Он состоит в следующем: конкретное значение социальных явлений — подобно аномалии — не может быть непосредственно “считано” с социальных актов; оно должно отслеживаться через посредство конкретных определений, рабочих перспектив, переговоров, и интерпретаций, возникающих в процессе взаимодействия и характеризующих бюрократические процедуры. Поскольку сравнимость конкретных результатов таких ситуативных процедур, перспектив и переговоров крайне проблематична, то конкретное значение агрегированных данных и отчетности, получаемых на таком сомнительном основании, также будет крайне сомнительным. Иными словами, в условиях нехватки знаний о том, *как* интеракционно и организационно получены данные, составлена отчетность и подготовлены доклады, у нас отсутствует база для однозначной оценки конкретного значения этих результатов, не говоря уже об оценке их достоверности.

Методологическим императивом развития макросоциологии, базирующейся на эмпирических наблюдениях, является поэтому изучение ситуативного социального производства баз данных и отчетности “под микроскопом” в разнотипных организациях. Из того факта, что микросоциологией брошен вызов макросоциологии, не вытекает необходимости отказа от “макроскопических” исследований. Из него, однако, вытекает положение, согласно которому процесс создания баз данных и отчетности крайне важен для получаемых в итоге конкретных результатов — и этот вывод нельзя просто игнорировать либо считать несущественным на том основании, что существуют методики очистки статистических данных.

Подводя итог данному разделу, следует вновь подчеркнуть, что, содержащийся в микросоциологических исследованиях методологический ситуа-

¹ Denzin N. Symbolic Interactionism and Ethnomethodology: A Proposed Synthesis. P. 272. Автором приводятся дополнительные ссылки для тех, кто интересуется этими исследованиями.

ционизм бросает вызов методологическому индивидуализму потому, что тот зиждется на упрощенной предпосылке, согласно которой ключевой точкой социального действия является отдельный человек, и методологическому коллективизму — по причине его опять-таки упрощенного представления о том, что ответы на интервью, либо данные в виде докладов и организационной отчетности представляют собой прямой и надежный источник “макроскопических” сведений. Модель индивидуального актора как конечной единицы социального поведения методологический ситуационизм заменяет концепцией взаимности и ситуативного характера социального действия. И разумеется, именно эта модель одновременно ставит под сомнение обоснованность опоры макроисследователя на данные и отчетность, о контексте и процессе выполнения которых исследователь ничего не знает.

Однако методологический ситуационизм связан не только с критикой традиционной практики социологических исследований. Как показано в первом параграфе, его корни лежат в сдвиге интереса, посредством которого язык и познание частично заменили нормативную социальную интеграцию в качестве объекта научного интереса. Для одних этот сдвиг интереса означает исследование строя, правил и норм, а также средств, которые предположительно лежат в основе социального поведения (и создают это поведение), и которые должны быть идентифицированы в процессе микросоциологических исследований. Для других он сводится к изучению практик, посредством которых члены общества (вос)производят и приобретают ощущение упорядоченности. В обоих случаях результатом являются новая форма теоретически “подкованного” эмпиризма и создание базы данных о каждодневной практической деятельности, что опять же ведет к углублению критики методологических основ макросоциологии. Для такого эмпиризма “вескими”, вне всякого сомнения, являются только количественные данные. А они могут быть результатом сенситивной, тонкой “микроскопической” методологии, которая успешно регистрирует и сохраняет характерные черты конкретной области исследований.

Ионин Л.Г.

И 75 Философия и методология эмпирической социологии:
Учебное пособие. — М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. —
367 с. — (История эмпирической социологии).
ISBN 5-7598-0265-8

Главный вопрос эмпирической социологии — над ним и сами социологи-эмпирики часто не задумываются, — каковы природа и специфика их “эмпирии”, т.е. опыта, составляющего основу и материал исследовательской деятельности. В учебном пособии рассмотрены социологические концепции опыта и познания. Проанализированы три основных этапа их развития. На первом из них — в конце XIX — начале XX вв. — складывались основные направления философии и методологии социологической науки, каждое из которых располагало собственной концепцией научного опыта. Второй этап — середина XX в. — эпоха господства позитивизма в социологии. Третий, пришедший на конец прошлого столетия и связанный с идеями постмодерна, можно назвать периодом “фрагментации” социологического опыта. Анализ философско-методологических подходов ведется на фоне более масштабных и широких интеллектуальных и духовных процессов соответствующего исторического периода. Учебное пособие содержит хрестоматию, в которой представлены фрагменты из работ выдающихся исследователей в области философии и методологии социальных наук.

Для студентов, аспирантов и преподавателей в области социологии и других наук о человеке и обществе, для всех интересующихся указанными проблемами.

УДК 101.1:316

ББК 87.6

Учебное издание

Серия “История эмпирической социологии”

Ионин Леонид Григорьевич
Философия и методология
эмпирической социологии

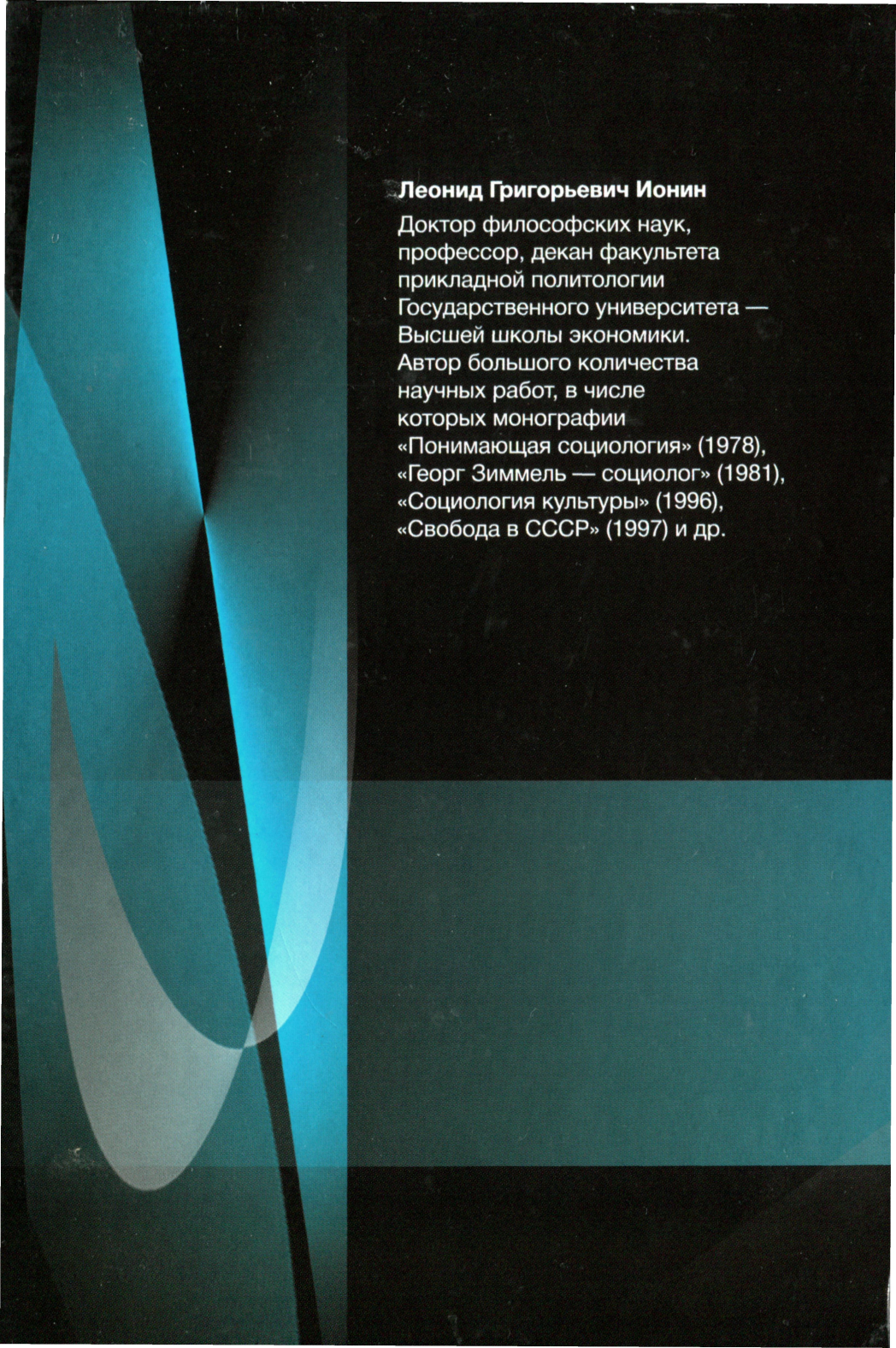
Зав. редакцией *Е.А. Рязанцева*
Редакторы *А.С. Жулева, Е.Н. Ростиславская*
Художественный редактор *А.М. Павлов*
Корректор *Е.Е. Андреева*
Компьютерная верстка *О.А. Корытько*
Графика *Ю.Н. Петрина*

ЛР № 020832 от 15 октября 1993 г.

Подписано в печать 05.01.04. Формат 60x88 1/16. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Бумага офсетная № 1. Усл. печ. л. 22,31. Уч.-изд. л. 25,10.
Тираж 1000 экз. Заказ 39. Изд. № 335.

ГУ ВШЭ. 125319, Москва, Кочновский проезд, 3
Тел.: (095) 772-95-71
Факс: (095) 772-95-71

Изд. лиц. ИД № 00510 от 01.12.99 г.
Отпечатано в ООО «МАКС Пресс».
105066, г. Москва, Елоховский пр., д. 3. стр. 2.
Тел. 939-38-90, 939-38-91, 928-10-42. Тел./факс 939-38-91.



Леонид Григорьевич Ионин

Доктор философских наук,
профессор, декан факультета
прикладной политологии
Государственного университета —
Высшей школы экономики.

Автор большого количества
научных работ, в числе
которых монографии

«Понимающая социология» (1978),
«Георг Зиммель — социолог» (1981),
«Социология культуры» (1996),
«Свобода в СССР» (1997) и др.